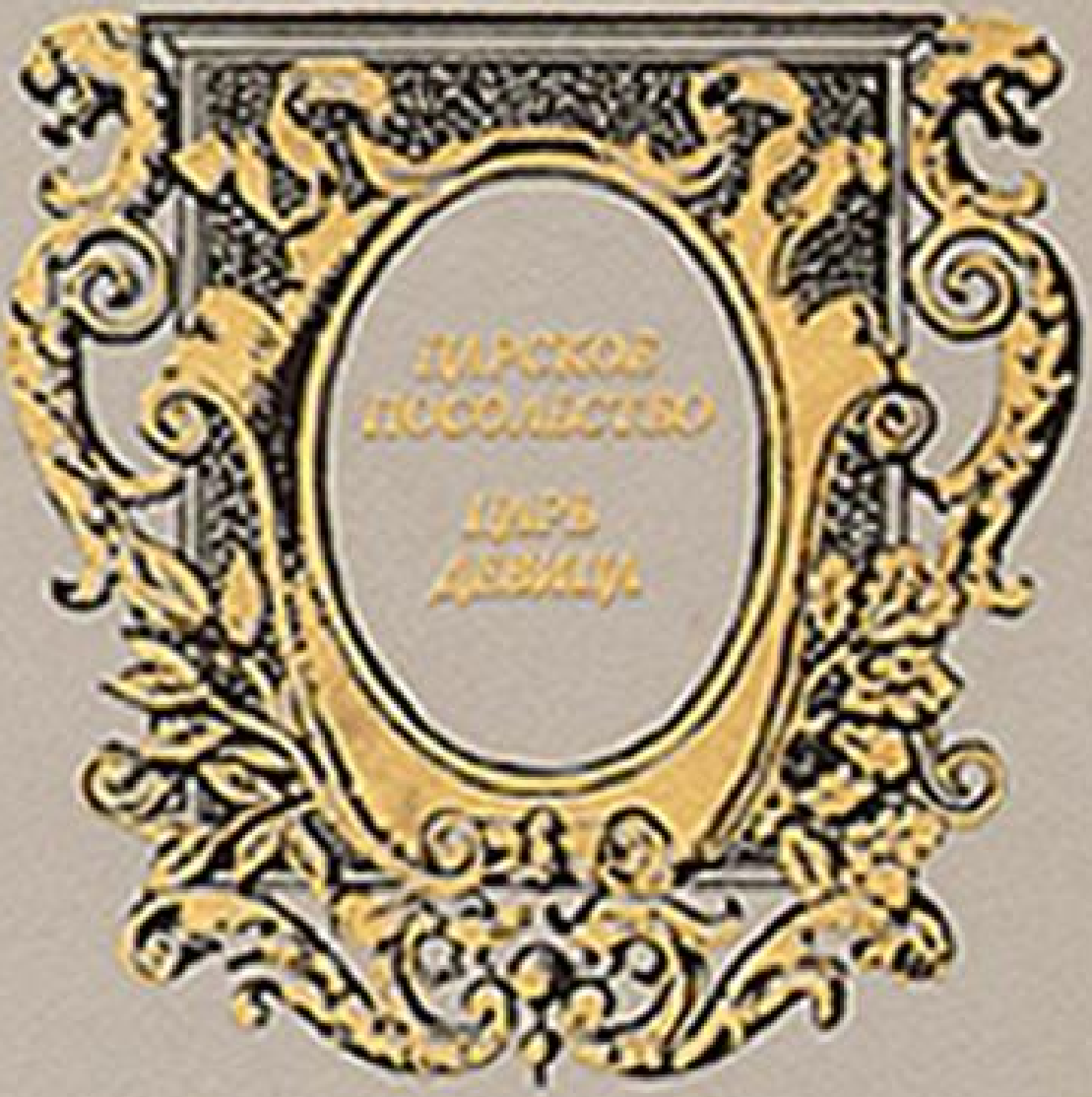
# Всеволод СОЛОВЬЕВ



Царское посольство. Царь-девица //Дружба народов, М.,, 1994
ISBN: 5-285-00194-3
FB2: “rvvg ”, 17 August 2012, version 1.0
UUID: C206B0A8-D2D1-4F6D-98C3-056E983107BC
PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024

Всеволод Сергеевич Соловьев

# Царское посольство

Всеволод Соловьев (1849–1903), сын известного русского историка С.М. Соловьева и старший брат поэта и философа Владимира Соловьева, — автор ряда замечательных исторических романов, в которых описываются события XVII–XIX веков.

Вторая книга исторических романов Всеволода Соловьева продолжает начатую издательством «Дружба народов» серию исторических бестселлеров.

Тайны, сокрытые мраком времени; исторические эпизоды, замешанные на приключениях и детективных

сюжетах, и их участники, среди которых — императоры и полководцы, авантюристы и злодеи, прекрасные дамы и галантные кавалеры. Но так или иначе, предмет изучения серии — это отечественная история и история ближайших наших соседей.

# Содержание

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ . . . . . 0009
I . . . . . 0009
II . . . . . 0019
III . . . . . 0026
IV . . . . . 0033
V . . . . . 0039
VI . . . . . 0042
VII . . . . . 0051
VIII . . . . . 0055
IX . . . . . 0061
X . . . . . 0070
XI . . . . . 0074
XII . . . . . 0081
XIII . . . . . 0086
XIV . . . . . 0093
XV . . . . . 0100
XVI . . . . . 0104
XVII . . . . . 0110
XVIII . . . . . 0117
XIX . . . . . 0121
XX . . . . . 0126
XXI . . . . . 0135
XXII . . . . . 0142
XXIII . . . . . 0150
XXIV . . . . . 0157

XXV . . . . . 0163
XXVI . . . . . 0169
XXVII . . . . . 0178
XXVIII . . . . . 0185
XXIX . . . . . 0192
ЧАСТЬ ВТОРАЯ . . . . . 0199
I . . . . . 0199
II . . . . . 0208
III . . . . . 0214
IV . . . . . 0223
V . . . . . 0231
VI . . . . . 0238
VII . . . . . 0248
VIII . . . . . 0255
IX . . . . . 0262
X . . . . . 0269
XI . . . . . 0274
XII . . . . . 0279
XIII . . . . . 0285
XIV . . . . . 0292
XV . . . . . 0300
XVI . . . . . 0310
XVII . . . . . 0320
XVIII . . . . . 0326
XIX . . . . . 0338
XX . . . . . 0345
XXI . . . . . 0350
XXII . . . . . 0354

XXIII . . . . . 0361
XXIV . . . . . 0365
XXV . . . . . 0372
XXVI . . . . . 0377
XXVII . . . . . 0386
XXVIII . . . . . 0393
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ . . . . . 0401
I . . . . . 0401
II . . . . . 0408
III . . . . . 0415
IV . . . . . 0422
V . . . . . 0429
VI . . . . . 0438
VII . . . . . 0445
VIII . . . . . 0453
IX . . . . . 0456
X . . . . . 0462
XI . . . . . 0471
XII . . . . . 0476
XIII . . . . . 0482
XIV . . . . . 0488
XV . . . . . 0494
XVI . . . . . 0502
XVII . . . . . 0509
XVIII . . . . . 0514
XIX . . . . . 0525
XX . . . . . 0533
XXI . . . . . 0540

XXII . . . . . 0547
XXIII . . . . . 0555
XXIV . . . . . 0562
XXV . . . . . 0568
XXVI . . . . . 0574
XXVII . . . . . 0581
XXVIII . . . . . 0587

# Вс. Соловьев
# Царское посольство

# ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

## I

— Так оно и есть... последние времена настали! Дух антихристов путем пространным погибельным возмущает истинный корабль Христов! Близится час — и в невдолге настанет... Ныне который у нас год? — тысяча шестьсот пятьдесят шестой... Ну так звериного числа ждать недолго — почитай ровно десяток лет осталось...

Слова эти грозным тоном и с подобающим движением указательного перста произнес тощий седенький священник.

Поп Савва, от преподобного Феодосия, что на Лубянке, на первый взгляд не представлял из себя ничего выдающегося: маленькое, желтое, все изрытое оспой лицо его, жидкие космы длинных, почти никогда не причесанных волос, клинообразная борода, угловатые движения и привычка то и дело сплевывать в сторону — не говорили в его пользу.

Но стоило ему оживиться — серые слезя-

щиеся его глазки загорались, борода начинала прыгать, и из уст его лились речи, имевшие свойство всегда задевать слушателя за живое и поднимать в его душе невольную тревогу.

Поп Савва, человек непоседливый, чувствовавший постоянную потребность двигаться и говорить, волноваться и волновать других, соваться всюду, куда ему только был доступ, кончил тем, что, и не занимая видного положения, пользовался на Москве большой известностью. Он был вхож во многие знатные и богатые дома и вообще имел немалое значение в это время всевозможных как гражданских, так и церковных новшеств.

Теперь он сидел в горнице у богатого дворянина Никиты Матвеевича Залесского и по своему обычаю, то и дело вскакивая с лавки и снова порывисто садясь на нее, так что стеганый, покрытый плотной шелковой материей матрасик съезжал все больше и больше на сторону, — ораторствовал.

Перед ним, опершись локтями о резной дубовый стол, помещался хозяин, тучный, рослый человек лет пятидесяти. Крутой упря-

мый лоб, седеющие волосы, черные глаза навыкате, крупный, покрытый сизыми жилками нос — такова была наружность дворянина Залесского.

Никита Матвеевич, очевидно, находился под впечатлением красноречивых доводов своего собеседника. В лице его, все более и более разгоравшемся, и в том, как он время от времени теребил свою густую длинную бороду, сказывалось волнение. Широкая грудь его, которой, казалось, тесно было и в домашнем расстегнутом кафтане, то поднималась, то опускалась...

В той же горнице, несколько поодаль, за другим, меньшим столом сидела пригорюнясь супруга Никиты Матвеевича — Антонида Галактионовна. Была она женщина еще далеко не старая и довольно красивая, однако имевшая в лице своем нечто скорбное, как-то особенно бросавшееся в глаза при густом слое румян, покрывавших ее щеки, и при выведенных в струнку, насурьмленных ее бровях. Она слушала своего духовника Савву, впившись в него немигающими глазами, слушала с напряженным вниманием, видимо изо всех сил

стараясь вникнуть в смысл его слов, который часто ускользал от ее понимания.

— Да, — повторил священник, возвышая голос и снова вскакивая с лавки, — ровнехонько десяток лет остается, и уже наступило третье время антихристовское...

— Как ты говоришь? — переспросил Никита Матвеевич.

— Во исполнение писания! — еще более подняв голос и затем внезапно понижая его до торжественного шепота, продолжал Савва. — Первое время было — отпадение от православия Рима папского; второе время — отпадение от православия в уныние; третье время — наше отпадение от православия во всякое басурманство и чернокнижие, оное же отпадение, как тебе ведомо, совершается невозбранно!

Никита Матвеевич тяжко вздохнул.

— Это точно! — угрюмо произнес он. — Конечно, отпадение!..

— Еще бы не конечно! — воскликнул священник. — Искони была сугубая аллилуйя и внесено учение об оной в Стоглав... так же и о двуперстном сложении для крестного знаме-

ния, и все сие подтверждено исправителями церковных книг при патриархе Иосифе. Святые отцы так молились — и угодили Господу, и спаслись, и чудесами великими прославились! Ныне же антиохский патриарх Макарий и прочие восточные архиереи к нам наехали, да сговорясь с патриархом Никоном в Успенском соборе, при всем народе православном объявили, что тремя перстами креститься подобает, и тех, кто двумя перстами крестится, всенародной предали анафеме!.. Тебя-то вот, Никита Матвеич, там не было, а ведь я был, сам был в соборе, своими ушами вот услышал, как Макарий возгласил анафему двуперстному знамению! Как возгласил он — уж и не знаю, что со мною сталось: душа загорелась, сердце кровью облилось... Пал я наземь, рыдая. Кого проклинают? Не нас, грешных, — святых отцов проклинают, чудотворцев, угодников Божиих! Они ведь двумя перстами себя осеняли... Анафема святым угодникам? А?..

Савва весь дрожал. Глаза его метали искры. Руки он вздел к потолку, да так и остался на несколько мгновений.

Антонида Галактионовна не выдержала: она слабо вскрикнула, закрыла лицо руками и растерянно, в ужасе шептала:

— Ахти нам!.. Святые угодники!.. Анафема!.. Ахти нам!..

Залесский поднялся со своего места и зашагал, потрясая половицы.

— Так разве это не антихристовы деяния? — забегая перед ним и подступая к нему почти с пеной у рта, твердил Савва.

— А вот ты антихристу и поклоняешься! — внезапно остановясь и подняв сжатые кулаки к самому лицу Саввы, прохрипел Никита Матвеевич.

Савва совсем растерялся от неожиданности такого обращения.

— Как поклоняюсь антихристу? — смущенно прошептал он, пятясь назад от хозяина.

— Да кто антихрист-то? Кто он по-твоему? — наступал на него Залесский.

Священник растерялся еще более.

— Что ж ты молчишь. Ведь сам его назвал, и другого нету… антихрист — патриарх Никон, патриарх! А ты вот ему и поклоняешься!

Поп Савва опустил голову.

— Не поклоняюсь ему и не поклонюсь вовеки, — наконец произнес он. — Не служил и не служу ему, борюсь по мере сил моих и от сетей его кого могу отвлекаю... Как же ты это мне, Никита Матвеич, такое слово сказал? Грех тебе обижать понапрасну... Я вот к тебе зачем пришел — за добром пришел, а не за тем, чтобы слушать такие напраслины. Ты же мне и договорить не дал...

— Ну, не сердитуй, поп, не сердитуй! — ласково сказал Залесский. — Прости, обижать тебя не хотел... Сердце только вот не на месте от твоих же речей... Что ж у тебя такое, с чем пришел?

Священник успокоился, снова сел на лавку и заговорил:

— А вот что я хотел сказать вам, Никита Матвеич да Антонида Галактионовна: сынок-то у вас, Александр Никитич, единственное детище ваше... так заместо того, чтобы меня попрекать служением антихристу, вы бы детище сие ваше единственное от такого служения оберегали... Молодой он, неразумный еще, и среди дьявольской прелести долго ли ему погубить свою душу? Так ваше дело

родительское не допускать его до погибели.

Залесский нахмурился.

Антонида Галактионовна тревожно задвигалась на своем месте.

— Батюшка! — воскликнула она, обращаясь к священнику. — Что же такое ты про Лексашу-то слышал, что? Скажи, родимый! И так уж все сердце перепугано, а ты вдруг такое слово... Что там еще?..

— А то, — с расстановкою произнес Савва, — что не след из благочестивой семьи юноше пребывать в совете нечестивых. Где он у вас время свое провождает?

— Неведомо где, неведомо, батюшка! — простонала Антонида Галактионовна. — Все говорит: учусь, мол, учусь. А какая такая наука — про то ничего я не ведаю... и к чему ему эта наука... Мое дело только молиться за него да плакать...

— Да, Лександр совсем от рук отбиваться начал, — проговорил Залесский. — Это ты верное слово сказал, отец. Только душе его погибели я все-таки еще не вижу, в чем она? Али ты и взаправду что знаешь? Так говори!

— Да тут и знать-то нечего, — отвечал Сав-

ва, — всем ведомо, что сынок твой в ртищевских молодцах обретается, латинству всякому обучается, прямо в ангелы антихристовы приуготовляется, ибо сам ведаешь, что Никон, что Ртищев — все то едино. Еще Никонова духу тут не было, а уже Ртищев мудрил, приуготовлял ему путь... А ты вот, Никита Матвеич, свое единственное детище взял да и отдал на погибель. Так нечего тебе попрекать меня служением антихристу. Я ли ему служу, денно и нощно благовествуя об его деяниях, тщася соблюсти души христианские, али ты — служа ему своим детищем? Пораздумай-ка об этом, да коли еще не ушло время, вырви из геенны огненной свое чадо!

Савва развел руками, отплюнулся и замолчал.

Антонида Галактионовна тихо и горько плакала. Никита Матвеевич стоял молча, запустив пальцы в бороду и беспощадно теребя ее. Брови его сдвинулись, глаза выкатились еще больше. На упрямом лбу выступили капли пота.

Некоторое время продолжалось молчание. Наконец Савва стал прощаться.

Он вдруг засуетился, заторопился.

— Эк ведь я засиделся у вас, — говорил он, — а время-то не терпит, время горячее, не след не токмо дню, не токмо часу, а и минуте пропадать...

Благословляя хозяйку, он шепнул ей:

— А ты все же, матушка, не плачь; слезами-то не поможешь... Господу молись, молитва матери великое дело!

— Да уж молюсь я, молюсь сколько сил хватает, извожусь молитвой! — прорыдала Антонида Галактионовна.

Но она тут же утерла слезы и вышла провожать священника.

Никита Матвеич долго еще стоял, не трогаясь с места, погруженный в свои мысли.

Все был тихо. В слюдяные маленькие окна врывались лучи вечернего солнца.

— Да где же это Лексашка! — наконец крикнул Залесский и бешено ударил кулаком по столу.

Затем он стал громко хлопать в ладоши.

На этот зов появился молодой парень, один из дворовых, и на строгий вопрос хозяина о сыне робко ответил, что Лександра Ники-

тич еще не возвращался.

## II

Никита Матвеич принадлежал хотя и не к весьма знатному, но старому и честному дворянскому роду, издавна владевшему изрядными вотчинами Ярославской губернии.

Многие из Залесских храбро боролись еще и с татарами, многие костьми легли на поле брани. Один из них, при Иване Грозном, неведомо за что был пытан и казнен в Александровской слободе.

Мало-помалу старый род, насчитывавший десятками своих членов, к концу смутного времени свелся на единственного представителя, Матвея Ивановича Залесского. Этот Залесский, в начале царствования Михаила Федоровича, проживал в своей ярославской вотчине, с каждым годом все более страдая от ран, полученных им в жаркой стычке со сбродом Тушинского вора.

У Матвея Ивановича было трое детей: старший сын Илья, затем Никита да дочь Ирина.

Сын Илья, здоровенный малый, в котором

кровь ходуном ходила, был страстный охотник. Во время одной из любимых потех своих попал он на такого медведя, который обманул его опытность и во мгновение ока смял его под себя. Поломал его медведь, поломал, повалял, повалял, порычал над ним, да и ушел к себе подобру-поздорову в лесную чащобу.

Бедного Илью принесли в родительский дом совсем изуродованного и уже бездыханного. Мать, старуха добрая, души не чаявшая в своем первенце, обезумела от горя, протомилась несколько месяцев, да и отдала Богу душу.

В это время дочь Матвея Ивановича, Ирина, была уже выдана в замужество; в доме остался один Никита.

Когда старик отец несколько поуспокоился после тяжких утрат своих, то призвал к себе сына и сказал ему:

— Слушай, Никита. Господь посетил нас, такова Его святая воля, и нам не след роптать. Но вот тяжко и пусто у нас в доме, нет хозяйки, чтобы присмотреть за добром нашим, да и за мною, старым и недужным. Никак нам

нельзя без хозяйки, а посему решил я твердо, что должен ты жениться.

Никита еще не помышлял о женитьбе. Его тянуло в Москву, ему хотелось всяких веселостей, о каких и помышлять нельзя было в глухой деревне, под строгим родительским присмотром.

Но, несмотря на то что в его характере нередко сказывалось врожденное упрямство, он был воспитан в безусловном подчинении родительской воле. Поэтому, услыша отцовское решение, он только печально, едва слышно вздохнул и проговорил:

— Как изволишь, батюшка, коли приказываешь жениться — я в твоей воле. Только на ком же жениться-то?

— Ну, уж это мое дело, — ответил отец. На том и вся их беседа покончилась.

Через месяц старик повез сына в Ярославль. Побывал он с ним в доме у своего старого товарища и соратника, Галактиона Михайловича Милославского.

Милославский, которого Никита видел и прежде, встретил их с особым радушием, приласкал молодого человека, и в тот же день

Никита уже знал, что он женится на дочери этого самого Галактиона Михайлович Милославского, Антониде.

Невесты своей он никогда не видал; но отец сказал ему, что она девица добрая и из себя пригожая.

Свадьба была сыграна в скором времени. Никита, уже после венца оставшись наедине с женою, позволил себе наконец освободить ее лицо от густой, закутывавшей его фаты. Он совершал это не без некоторой внутренней дрожи, задавая себе тревожный вопрос о том: чем-то Бог наградил его? Ну что, коли отец либо сам недоглядел, либо Милославский обманул... ну что, коли она... Антонида-то... как есть та «харя», что вот московские «рожечники» продают для святочной забавы? А? Что тогда?..

К его великой радости, старые отцовские глаза не обманулись: Богом данная подруга жизни оказалась девицей юной и миловидной, безо всяких телесных недостатков и повреждений...

Молодые переехали на житье в ярославскую вотчину. В доме оказалась хозяйка ко

всякому домашнему обиходу приученная, нрава кроткого и послушливого. За больным стариком она ходила исправно; не только днем, но и по ночам часто возилась с его ранами. Молодому мужу ни в чем не перечила, улыбалась ему ласково, когда он был в духе, а если серчал, то становилась тише воды, ниже травы. Даже когда изредка он, по обычаю и для порядка, приступал к супружескому учению, то есть давал волю рукам своим и награждал ее неведомо за что подзатыльниками, она никогда не поднимала криков и воплей, а упорно молчала и только, если уж становилось совсем невмоготу, позволяла себе всплакнуть тихонько.

И нужно отдать справедливость Никите — он «учил» жену крайне редко, всего раза три-четыре в год, да и то под пьяную руку...

Так прошло несколько лет, и вот старик Залесский умер. Никита Матвеевич к этому времени стал уже совсем человеком остепенившимся. Его уже не тянули веселости. Он растолстел, оброс густой длинной бородою. Много ел, много пил, много спал, одним словом, жил — и только.

Дети у него с Антонидой Галактионовной рождались чуть не ежегодно, но все эти дети, как мальчики, так и девочки, поживут-поживут немного — кто несколько месяцев, кто год-другой, — да и прибирает их Господь. В живых остался один только сын Алексаша.

Антонида Галактионовна изводилась, оплакивая своих крошек, и ума не могла приложить, отчего это они не жильцы на свете.

Положимте других семьях, кругом по соседству, происходило то же. Детей всюду рождалось много, да немногие вырастали, и большая взрослая семья была в редкость. Знать, такова воля Божия.

И уж, конечно, невдомек Антониде Галактионовне, что на Бога легко ссылаться, а свою людскую дурость разглядеть трудно.

Станут у ребенка первые зубки резаться, пищит он, делается неспокойным — и вот, со всех сторон появляются мамушки да кумушки с советами да объяснениями, как и что в таком разе необходимо для ребенка. Мамушки и кумушки — женщины опытные и знающие, не послушаться их совета, не прибегнуть к их средствам — Боже упаси!

Начинают несчастного ребенка поить какими-то отварами, каких и взрослый желудок вряд ли безнаказанно переварить может. Вспрыскивают ребенка с уголька, пугают его этим до судорог, кладут его в горячую печку.

Несчастное дитя, не имеющее в себе никакой смертельной болезни и при мало-мальски сносном и разумном уходе готовое легко вынести неизбежные недуги первого возраста, оказывается все же слишком слабым для той пытки, какой его подвергают...

И вот лежит это дитя в гробике, среди бабьих воплей и причитаний, и не спрашивает, за что его измучили, за что уморили...

Но уж если дитя пройдет всю такую школу бабьей премудрости, то выйдет оно крепким и здоровым на удивление.

## III

Так случилось и с Алексашей. Все он выдержал: и в снегу его вываляли, и в печке жарили, и обкуривали его, и опрыскивали, и неведомо чем кормили и поили.

Случалось — лежал он без движения, посинелый, готовый последовать за своими братьями и сестрами в иной мир, о котором младенческая душа его, быть может, еще сохраняла неясное воспоминание. Но сила жизни сидела в нем так крепко, что он каждый раз отлеживался. Лет в тринадцать окончательно распростился он со всеми детскими недугами и вышел самым крепким, рослым и румяным мальчиком, какого только можно себе представить.

Теперь ему уже не страшна была никакая бабья премудрость. Мамушкам и кумушкам не приходилось уже изощрять над ним свои познания. Он был всегда здоров.

Он мог безнаказанно объедаться самыми жирными яствами, лакомиться сколько душе угодно незрелыми яблоками и грушами, опиваться медами и квасами. Он не боялся ника-

кой погоды; ни зимний холод, ни летний зной не оказывали на него вредного действия — словом, совсем закалился Алексаша.

Катался он как сыр в масле в деревенском доме, и вся жизнь его была вечным праздником. Ученьем его не мучили, об ученье его еще и не думали, да и кому было учить? Отец едва умел какими-то каракулями подписывать свое имя, по складам и безбожно коверкая слова, читал святцы — и только. Мать совсем была безграмотна. О челяди домашней и говорить нечего...

Но вот в жизни Алексаши, так же как и в жизни его родителей, совершилась большая перемена: покинули они ярославскую вотчину и перебрались на житье в Москву, где Никита Матвеевич выстроил себе на Лубянке хоромы.

Чтобы заставить такого разленившегося и зажиревшего, как он, человека решиться на подобный шаг, нужно было слишком важное обстоятельство. Обстоятельство оказывалось действительно важным и совсем неожиданным.

Три года тому назад, после тридцатилетне-

го достославного царствования, отошел в вечность царь Михаил Федорович, оставив престол русский своему семнадцатилетнему сыну Алексею.

С первых же дней нового царствования бояре и во главе их знаменитый государев дядька Морозов решили, что пора молодому государю жениться. Собрали красивейших девиц русских на Москву для царского выбора.

Выбор царский пал на бедную дворянку, Евфимию Всеволодскую. Но боярину Морозову не того хотелось, он наметил для царя Марью Ильинишну Милославскую, а для себя сестру ее Анну.

Красавицу Всеволодскую, уже «провозглашенную» царскую невесту, «испортили» и сослали вместе с семьей в Сибирь. Царь обвенчался с Милославской, а боярин Морозов с ее сестрою.

Род Милославских, незнатный и небогатый, тотчас же пошел в гору. Царский тесть, Илья Данилович, человек ума невеликого, но хитрый, пронырливый и корыстолюбивый до крайности, стал обделывать свои дела и на подмогу себе, для пущей крепости, созвал

всех своих родичей и свойственников.

Всем им в Москве готово было пристанище, хлебное место на службе царской, возможность достигать всяких почестей, наживать добра сколько кто сумеет. И все это с одним только уговором: не забывать благодетеля Илью Даниловича, делиться с ним как подобает и стоять за него крепко, оберегать его от врагов и злоумышленников.

Собирая свою родственную рать, царский тесть вспомнил о свойственнике своем, Залесском. Насулил он ему всяких благ земных в Москве, внушил, что и для подраставшего сына его открывается широкая дорога. Лень Никиты Матвеевича была сломлена: в нем вдруг заговорило честолюбие.

«Чем же я, в самом деле, хуже других!» — подумал он и решил переселение в Москву.

Прошло немного времени. Илья Данилович доказал свойственнику, что сулил недаром. Залесский сделан думным дворянином, и вот уже несколько лет как заседает он в своем приказе и принимает по-своему участие в государственной и общественной московской жизни. Он свыкся с этой жизнью, ему хоро-

шо, и ни за что бы уж не вернулся он теперь в деревню.

Он является в свой приказ довольно аккуратно; с видом важным, с великим достоинством усаживается на свое место и, перемолвившись обычными приветствиями с товарищами, принимается «слушать» очередное дело.

Но думный дьяк Иван Васильевич Голубев так монотонно и заунывно читает, что это чтение действует на Залесского как снотворное зелье. К тому же и само-то дело, которое читает дьяк, ему совсем неведомо и неинтересно. Начинает он мало-помалу клевать носом и наконец громко схрапывать.

Иной раз сосед подтолкнет:

— Спи, Микита Матвеич, да тихохонько, храпеть-то на всю палату не указано.

Очнется думный дворянин, поводит глазами, оправдывается:

— Ишь ведь, духота в палате! От такой духоты, известно, на сон клонит...

Начинаются прения по делу. Добрая половина этих бород и лысин молчит, другая начинает говорить, и все говорят зараз, переби-

вая друг друга, не понимая друг друга. И говорят по большей части вещи, совсем даже к делу и не относящиеся. Дьяк, человек ловкий и привычный, да с ним два-три «дельца» из тех русских людей, которым всякое дело как на ладони видно и разумом которых крепко, нерушимо стоит земля русская, — успокаивают, уговаривают расходившуюся палату.

Мало-помалу порядок восстановлен, тишина водворяется, дело обсуждено и решено «дельцами», утверждено всеобщим молчаливым согласием. Приступают к рукоприкладству по очереди. Все, наморщив лбы и сопя носами в сознании своей важности, подписывают. Доходит очередь до Залесского. Иной раз он, ни слова не говоря, неловким, все еще непривычным движением берет огромное гусиное перо и начинает выводить на бумаге свои каракули. А то вдруг, ни с того ни с сего, упрется.

— Нет, — говорит, — мне к этому делу руки не прикладывать, я на то не согласен!

Он понятия не имеет о деле, он проспал его, но подписывать не хочет. Дьяк и так и этак:

— Да ведь ты, мол, Микита Матвеич, замечанья никакого не делал, не возражал, кивал головою, поддакивал... Все согласны, все подписали, чего же это ты упираешься? Да и в чем тут твоя выгода? Ну что тебе, подпиши, сделай милость, не задерживай...

— Нет, мне к этому делу руки не прикладывать! — упорно повторяет Залесский, както выпячивая вперед свой крутой лоб и уставляя глаза куда-то в угол.

И весь он, вся его фигура и посадка, лицо и звук голоса выражают такое непреоборимое упорство, что оно начинает кой на кого даже и действовать.

Смотришь, три-четыре человека, еще за минуту готовые подписать все что угодно, начинают упираться и тоже вслед за Никитой Матвеевичем кричать:

— Нам к такому делу руку не прикладывать!

Снова поднимается крик: даже самые смирные возвышают голос. Дело уже забыто, начинаются личные счеты. Наносятся друг другу чуть не кровные обиды. Иной раз оканчивается даже затрещиной или потасовкой...

А глядишь, в следующее заседание и Никита Матвеевич, и приставшие к нему молча и важно прикладывают свои каракули к этому же самому делу.

## IV

Милославские не совсем-то были довольны своим свойственником, которого они вывели в люди.

Никита Матвеевич по своему положению во многих случаях мог хорошо греть руки и делиться со своими благоприятелями. А между тем он этого не делал.

«Вот человек! — говорили они про него. — Жил себе в своей берлоге медведь медведем, лапу сосал. Его человеком сделали, к хлебному месту пристроили, а он как был дуралей, так дуралеем и остался — ни себе, ни другим... никакой в нем нет благодарности за добро — горланит себе невесть что — и только!..»

Так оно и было. Никита Матвеевич напускал на себя важность и чванство, любил при случае показать всю власть, но о мздоимстве даже и не помышлял — оно было не в его

природе. Правда, нельзя сказать, чтобы люди, нуждавшиеся в нем и приходившие к нему за помощью, ничего не оставляли в его московских хоромах. Иной раз и сам он примет дар, а супруга его, Антонида Галактионовна, та-то уж и всегда примет с большим любопытством и удовольствием. Примет она, разглядит и похвалит, поблагодарствует, а то так и еще чего-нибудь попросит, коли принесенного мало ей покажется.

Но такие добровольные даяния в те времена не считались мздою. За некоторыми блестящими исключениями все, власть имевшие, начиная с царского тестя и кончая последним подьячим, прямо требовали за каждое слово свое иной раз совсем ни с чем не сообразную плату. Они томили и терзали обращавшихся к ним, «волочили», часто доводили до полного разорения.

Всякий знал, что так оно есть и иначе быть не может, никто на такие порядки не смел жаловаться, и кончилось наконец тем, что люди, подобные Никите Матвеевичу, даже не пользовались уважением. К ним неохотно и обращались, полагая, что если они не дерут с

вола по семи шкур, то, значит, и сила у них не велика и в большом деле помочь они не могут.

Впрочем, такой взгляд был на руку Залесскому. Чем меньше к нему обращаются, тем больше у него досуга. Страх он не любил эти разговоры о делах, в которых почти ничего не смыслил.

Зато с каждым годом он начинал все больше и больше любить другие разговоры, разговоры о делах церковных, о всяких новшествах, вводимых царскими любимцами — Морозовым, Ртищевым и Никоном. В Никите Матвеевиче развилась, быть может, с помощью заседаний в приказе и тамошних периодических «мне к этому делу руки не прикладывать!» потребность в упорном стоянии на своем. А тут еще поп Савва со своими доводами...

И кончил Залесский тем, что глубоко убедился в великом зле от новшеств и в том, что истинной церкви Христовой грозит погибель. В последние два-три года у него только и разговору было что о новшествах, и он даже иной раз бывал крайне неосторожен, вредил

себе и ссорился с людьми очень нужными. Эти разговоры о новшествах и словесный протест против них составляли теперь всю суть его жизни. Эти разговоры и сопряженное с ними волнение доставляли ему даже наслаждение.

Антонида Галактионовна хотя благодаря духовнику и разделяла взгляды своего супруга, но ощущаемого им наслаждения и интереса не испытывала, а, напротив, испытывала глубокий ужас и отчаяние. С некоторого времени она убедилась в близком светопреставлении и каждый раз, после посещения попа Саввы, не спала по ночам, дрожа от страха и ожидая — вот-вот сейчас — всяких ужасов «Содома и Гоморры и соляного столба», как она говорила.

Все у нее из рук валилось, все бессознательно теряло прежний смысл и значение. Даже хозяйство не интересовало ее как прежде. Она иной день по целым часам сидела неподвижно на одном месте, устремив глаза на киот с образами и не замечая ничего окружающего.

Впрочем, хозяйство не особенно теряло от

такого ее настроения. Это хозяйство заведено было раз и навсегда и, как заведенная машина, шло само собою, то есть, собственно говоря, беспорядок был такой, что большего нечего было и опасаться. Ярославские вотчины давали в изобилии всякого продовольствия. Оттуда ежемесячно прибывали и запружали широкий двор бесчисленные подводы со всякой живностью, мукой, крупой, медом, маслом и овощами.

Глядя на эти верхом нагруженные подводы, можно было дивиться — куда это все исчезает с такой быстротою. Но дело в том, что у Залесских в строениях, окружавших хозяйские их хоромы, помещалось около сотни холопей, людей всякого возраста и пола, неизвестно зачем проживавших и неведомо что делавших.

Но иначе было невозможно. Человек восемьдесят, девяносто челяди — это еще очень мало. Вон У Милославского семьсот дворовых, да и у других всех бояр не меньше. Притом же не Бог знает как и дорого стоит эта челядь; продовольствие свое, не покупное, а больше ничего и не надо.

Живут эти люди в людских пристройках, в тесной куче, спят вповалку, одеваются почти что в лохмотья. Войти в их жилье, так свежий человек задохнуться может от смрада и грязи. Но где достать такого человека? Из чужих земель его придется выписывать, а у себя не найдется, ибо люди своей грязи не замечают, своего смрада не чувствуют.

Не очень-то уж больно чисто и просторно и в хозяйских хоромах. Хоромы эти маленькие-премаленькие, низенькие-пренизенькие. Проветрены они плохо, и от частых постов сохранился всюду такой промозглый рыбий запах, что его ничем не выкуришь, никак не выветришь.

Так живут все русские люди. Ну, конечно, во дворце царском иное, а особливо в последнее время, с тех пор, как дворец выстроен заново. Там палаты куда просторнее прежних, куда великолепнее. Там заморское убранство, там этой самой рыбкой только чуть-чуть попахивает. И у ближних людей царских завелись по домам новые порядки, да много ли таких домов: два-три и обчелся.

## V

С переездом семьи на Москву жизнь Алексаши изменилась. Деревенской воли, деревенского простору здесь уже не было. Но зато явилось много нового. Новые лица, новые впечатления, новые разговоры в доме. А тут вдруг отец, до последнего времени как-то не замечавший мальчика, обратил на него внимание и заметил, что он «ишь ведь вытянулся, отца скоро перерастать станет, пора за ученье приниматься».

Никита Матвеевич видел, что все теперь своих детей обучают не только грамоте, но и всяким наукам неведомо каким, каких он отродясь и названий не слыхал. Ну, до наук-то еще далеко, а грамоте малышку выучить надобно. И засадили Алексашу за букварь. Антонида Галактионовна по этому случаю призывала отца Савву, молебен служила и горько-прегорько плакала. В учителя был взят, по указанию того же Саввы, приходский дьякон.

В первые дни ученья Алексаша, несмотря на свои четырнадцать лет, ревел благим матом, так ему казалось дико сидеть на одном

месте и повторять за дьяконом неведомо что. А не повторишь, дьякон сейчас же ухо, да не в шутку, а взаправду так дернет, что инда искры из глаз посыплются.

Но это было только в первые дни. Мало-помалу Алексаша смирился, понял, не столько разумом, сколько ушами, что ученье это неизбежно, что хотя мать, слушая его жалобы, и причитает над ним, и слезы проливает, а все же поделать ничего не может, потому что отец каждый раз, как увидит дьякона, так и наказывает ему:

— А ты его не балуй! Коли что не так, за уши его хорошенько, за уши, да в затылок, без этого нельзя!..

Алексаша решил сделать так, чтобы не приходилось дьякону на него жаловаться и стыдить его неразумением. Стал он вслушиваться в то, что учитель говорил ему, и сам даже удивился, как вся эта премудрость, еще так недавно казавшаяся ему непостижимой, вдруг выходить стала и простой, и понятной.

Не прошло и месяца, дьякон расхваливал его Никите Матвеевичу:

— Разумник у тебя растет, батюшка Ники-

та Матвеич, все понимает, далеко может пойти в учении...

Через год времени Алексаша читал исправно и писал так, что отец, глядя на его писание, только головой качал, не понимая, откуда все это берется. Ведь вот он сам, хоть убей его, а таких премудрых закорючек ни за что не выведет!

Дьякона наградили всякою живностью в избытке, холста ярославского дали ему безо всякой скупости, денег целый рубль сверх положенного, и ученье Алексаши было, по-видимому, окончено. Но сам он уже приохотился к ученью. С помощью дьякона он раздобыл себе несколько книг, рукописных и печатных. Не только Никита Матвеевич, но и человек гораздо более его грамотный не понял бы сразу, о чем таком говорится в этих мудрых книгах, такое в них заключалось смешение предметов и таким изумительным языком они были написаны. Однако Алексаша, разбираясь в них по целым часам, мало-помалу понял их сокровенный смысл или, вернее, на основании темного текста сделал немало догадок.

Прежде весь его мир заключался в том, что он вокруг себя видел, теперь он знал многое множество такого, чего он не видит и не может видеть. И все это многое множество недавно еще для него не существовавших вещей, на которые в книгах были неясные указания, его глубоко заинтересовало. Неизвестно чем бы он кончил и какую бы пищу нашла его любознательность, если бы судьба не подготовила ему встречу, получившую первенствующее влияние на всю дальнейшую судьбу его.

## VI

Как-то раз, в отсутствие отца, Алексаша сидел за одной из своих любимых книг в приемной палате. Он так углубился в чтение, что не слышал, как к дому их подъехал кто-то, как громкий мужской голос в сенях спрашивал, у себя ли хозяин, как гостю отвечали, что Никиты Матвеевича нету, но что с минуты на минуту он должен вернуться.

Дверь в приемную скрипнула, и когда Алексаша поднял глаза, то увидал перед собою незнакомого человека. Он сразу понял,

что перед ним гость не простой, а, должно быть, важный, один из тех, какие теперь время от времени к отцу заглядывают и каких отец принимает с низкими поклонами и с великою честью.

Гость был человек еще молодой, среднего роста, крепкого сложения. Бархатный кафтан темно-синего цвета с собольей опушкой обрисовывал широкие плечи, высокую грудь и стан, еще гибкий, еще не успевший раздаться и разжиреть. Лицо гостя, не отличаясь особой красотой, было приятно. Глаза ясные и быстрые; небольшая русая бородка окаймляла его несколько бледные щеки.

Алексаша встал и поклонился без особого замешательства, которое было не в его характере. Он в свою очередь объяснил гостю, что отец должен быть сейчас домой, потому что всегда к этому часу бывает.

Гость пристально оглядел Алексашу, подсел рядом с ним на лавку и взял в руки его книгу.

Это была искусно переплетенная в толстую кожу объемистая книга, писанная чудесным полууставом. Многие листы ее были

правлены киноварью. Заглавие гласило: «Сия книга глаголемая Великое Зерцало. Духовные приклады и душеспасительные повести в честь и славу Богу и человеком в душевную пользу».

Алексаша глядел, как гость перелистывает книгу, останавливаясь на некоторых страницах, пробегает их глазами. Вот он захлопнул книгу, покачал головою и усмехнулся.

— Славная у тебя книжица... Что ж, ты всю прочел? — спросил он, кладя свою белую, украшенную перстнями руку на плечо мальчика.

— Всю, да и не один раз, а неведомо сколько раз! — смеясь, отвечал Алексаша.

— Вот как, значит, она тебе нравится?

— Вестимо, очень занятно.

— Занятно!.. И ты понимаешь все, о чем тут сказано?

— Понимаю! — бойко проговорил Алексаша.

Гость с любопытством и ласковой улыбкой продолжал глядеть на него.

— Понимаешь! А ну-ка вот, почитай мне, да и объясни...

Он снова взял книгу, раскрыл ее и указал Алексаше на одну страницу.

— Прочитай-ка.

Мальчик бойко начал:

— «О Удоне Магдебургском, како он страшным и ужасным образом смерти предан и весьма грозно осужден, повесть трепетна и умилительна зело»...

— А ну-ка, ну-ка! — весело воскликнул гость. — Послушаем трепетную и умилительную повесть!

Алексаша перевел дух, откашлялся и продолжал:

— «Удон в юности философскому ученью прилежаще, ко преятию же науки сей разум имяше, яко нимало пошествия во учениях сотворити можаше и сего для от учителя часто биение претерпеваше»...

— Стой! — сказал гость. — Куда ты, аки конь ретивый, мчишься!.. Что ты читать мастер — вижу... А ты вот скажи мне, что сие за предмет такой: философское учение?

Алексаша поднял на него свои ясные глаза и весь так и вспыхнул.

— Вот это самое меня в досаду великую

приводило! — живо заговорил он. — Что такое философское учение... Батюшка не знает, духовник наш, отец Савва, говорит: сие есть ересь, а кака-така ересь — неведомо. Думал я, думал и надумал: философское учение, так я полагаю, если мысли разных мудрых человеков обо всем, что есть в мире, обо всех вещах и предметах, что оные обозначают, обо всех делах премудрости Божией... Так, что ли?

— Похоже на то, дитятко! — ласково отвечал гость. Он невольным движением погладил Алексашу по голове, а сам думал:

«И ты к приятию науки сей разум имеешь... Вот находка!..»

Проходили минуты, полчаса прошло, прошел почти час, Никита Матвеевич все еще не возвращался, а ни гость, ни Алексаша не замечали этого. Они вели оживленную беседу.

Наконец возвратился хозяин.

Он поспешно вошел в приемную.

— Батюшка, Федор Михайлович, вот уж кого не ждал у себя видеть! — с низкими поклонами заговорил он. — Что приказать изволишь? Чем могу служить?.. Прости, Бога ради: людишки говорят, давно ты меня дожидаешь-

ся, а я как нарочно ноне и запоздал... Кабы знал, что у меня такой дорогой гость, поспешил бы, не заставил бы тебя скучать.

Он заметил сына и, обратясь к нему, строго прибавил:

— А ты чего тут? Ступай, ступай!

Алексаша, чувствовавший к отцу всегда некоторую робость, взглянул на гостя. В этом взгляде сказалось все его сожаление о разлуке. Он поклонился и вышел.

Гость проводил его своей светлой, ласкающей улыбкой.

— С чем пожаловал, Федор Михайлович? — продолжал между тем говорить Залесский. — Чем угощать прикажешь? Романею я нынче достал пречудесную... Не откушаешь ли?!

— Отчего не отведать твоей романеи, Никита Матвеич.

Хозяин захлопал в ладоши, и через пять минут на серебряном подносе появился вычурный графинчик романеи и две серебряные чарки.

Теперь гость передал Залесскому то дело, по которому к нему приехал. Дело оказалось неважное: надо было навести справку в при-

казе, и Никита Матвеевич обещал завтра же это сделать не откладывая.

Романею отведали, гость нашел ее прекрасной. Потолковали о том, о другом. Пора и за шапку, а гость все не поднимается с лавки.

— Это твой единственный сын? — спросил он вдруг Залесского, кивая головой по направлению той двери, в которую вышел Алексаша.

— Много было деток, Федор Михайлович, да вот один этот остался.

— Славный он паренек у тебя, я с ним, тебя дожидаючись, не видел, как и время прошло... Разумный паренек, на радость...

— Спасибо на добром слове, — сказал Никита Матвеевич, — шустрый он у меня, это правда, а разумности особой что-то не замечал я в нем...

— Разумный паренек, на радость! — повторял гость. — Да, приехал я к тебе по одному делу, а вот теперь и другое нашлось: сынок твой, как я заметил, большую склонность к ученью имеет, знать хочет много, а знает мало, так я и полагаю, что ему надобно в этом желании его поспособствовать. Ведомо тебе

либо нет, что с соизволения великого государя у меня выписаны из Малой России ученые монахи и обучают они молодых людей по моему выбору всяким наукам. И великий государь сие дело весьма одобряет, а тех молодых людей, кои в науках успехи оказывают, жалует своей царской милостью, ибо видит в них будущих разумных слуг своих на пользу государства.

— Так, так, Федор Михайлович, — ответил Залесский, — ведомо мне все это.

— А коли ведомо, так не поручишь ли мне, Никита Матвеевич, и сынка своего? Добро великое ему будет от этого, и государю я о нем доложу, и государь своею милостью его не оставит.

Залесский задумался было, почесал в затылке, да вдруг сразу и выговорил:

— Ну, ладно, быть по-твоему, Федор Михайлович! Мне от такой чести не отказываться. Спасибо великое за ласку, за доброжелательство.

Хлопнули гость и хозяин рука об руку, и гость стал собираться.

Решено было прислать Алексашу на «ис-

пытание» на той же неделе.

Гость уехал. Залесский, проводив его, крикнул сына и стал расспрашивать, о чем таком он говорил с гостем.

Алексаша начал свои объяснения, но отец ими не заинтересовался, да и не особенно понимал их.

— Да ты знаешь ли, кто это? — спросил он.

— Не знаю, батюшка, не знаю, кто такой; скажи на милость, очень он мне по сердцу пришелся — такой ласковый.

— Это Федор Михайлович Ртищев, царский постельничий. Коли он тебе по сердцу пришелся, тем лучше.

— А что, батюшка?

— В свое время увидишь, может, и не очень-то обрадуешься... еще посмотрим...

Алексаша не смел больше расспрашивать отца и с великим любопытством и нетерпением ожидал разрешения затадки.

## VII

Никита Матвеевич в то время еще не ратовал открыто против «новшеств», еще не пришел к убеждению, что новшества эти — дело антихристово, еще не примкнул окончательно и сознательно к партии недовольных, которая уже давно существовала, но как-то притихла, не подавала голоса.

Никита Матвеевич был очень польщен ласковостью Ртищева; он видел в нем тогда только сильного человека, одного из приближенных к молодому царю, одного из его любимцев.

Алексаша поступил в ученики к малороссийским монахам.

Откуда взялись эти монахи? А вот откуда: Федор Михайлович Ртищев был человек ума ясного и широкого, характера решительного и смелого, и при этом в нем не было и признака того недостатка, той болезни, какою страдало большинство старинных русских людей, — не было лености. Напротив, ему хотелось работать, быть постоянно в действии. Придет в голову мысль хорошая — тотчас же

охота приводить ее в исполнение, садить, и сеять, и ждать плодов добрых.

С ранней юности Федор Михайлович познакомился с некоторыми жившими на Москве и приезжавшими по делам иностранцами. От них он узнавал о том, что творится на белом свете, о том, как живут в иноземных государствах, какие там порядки, свычаи и обычаи.

И чем более узнавал он о чуждой жизни и нравах, тем яснее ему становилось, что куда у «немцев» лучше, куда они богаче и разумнее. А все почему: потому что у них есть наука, а русские люди в темноте ходят, дальше своих четырех стен ничего не видят.

Федор Михайлович был человек чисто русский. Он любил свою родину пуще всего на свете, и, если бы ему предложили переселиться в чужие страны, где так хорошо живется, пользоваться всеми плодами наук и искусств, — он бы ни за какие сокровища не согласился на это. Ему не завидно было, что у иностранцев все так хорошо, что они так разумны, а было обидно, отчего в московском государстве совсем иное.

«Чем мы хуже иноземцев! — думалось ему. — Старики наши как пни сидят, вросли в землю, обросли мохом, их не сдвинешь. Да ведь не одни старики на свете, ведь вот я же понимаю все это и чувствую — поймут и другие. Сейчас сразу ничего не сделаешь, на все нужно время. Старики умрут, им на смену придут сыновья и внуки. Нужно поднять этих сыновей и внуков, нужно им открыть глаза, просветить их науками, тогда и у нас все пойдет на лад, тогда и наша жизнь будет нисколько не хуже, чем там, за морями. Учиться и учить надо!..»

И Федор Михайлович решился посвятить всю жизнь свою ученью. Сам он делал что мог, ни часу не упускал даром. Но этого было мало, надо было действовать, найти учителей для всех тех, кто хотел и кто был способен учиться. В Москве учителей было взять неоткуда.

Тогда Федор Михайлович, человек богатый, пользовавшийся значением при дворе и личным расположением царя, передал молодому государю свои заветные мысли. Государь их одобрил, и с его разрешения Федор

Михайлович построил на берегу Москвы-реки, вблизи от города по киевской дороге, монастырь, получивший название Андреевского.

Когда постройка была готова, он призвал в свой монастырь тридцать человек монахов из разных малороссийских монастырей. Все эти тридцать человек отличались ученостью. Им было поручено образование тех молодых людей, которые пожелают учиться.

Они должны были преподавать грамоту славянскую, латинскую и греческую, риторику и философию, а также переводить книги.

Мало-помалу ученики стали находиться, не только юноши, но и люди зрелых лет.

Федор Михайлович Ртищев, по должности своей царского постельничего, обязан был почти неотлучно находиться во дворце. От обязанностей своих он не отказывался, да и ради дела не мог поступиться своим положением. Но только что оканчивалась его дворцовая служба, он спешил в Андреевский к своим монахам и частенько всю ночь напролет просиживал там над книгами да в беседе с учеными отцами.

Царь относился с неизменной благосклонностью к своему постельничему, интересовался его затеями, жаловал его монастырь и ученых монахов. С такою же благосклонностью относился к деятельности молодого царедворца и знаменитый боярин Морозов. Царю и Морозову не противоречили и другие ближние бояре.

## VIII

Мало-помалу стали, однако, являться и враги этим затеям. Все чаще и чаще на Москве поговаривали против Ртищева и его монахов.

«Там учат греческой грамоте, — говорили, — а в той грамоте и еретичество есть!»

Некоторые из зрелых мужей, которые вздумали было поучиться в Андреевском, да убедились, что наука не легкое дело, и удалились подобру-поздорову, с досадой рассказывали направо и налево, что не хотят-де они учиться у киевских чернецов, ибо чернецы те старцы недобрые, и кто по-латыни научится, тот с правого пути совратится. Говорили так:

«Вот парни молодые теперь этой самой

греческой и латинской премудрости наберутся, так великие от них будут потом хлопы — возомнят о себе невесть что и старших не уважать будут...»

Конечно, пуще всего против Андреевского восставало московское духовенство, не отличавшееся в то время образованием. Духовные лица хорошо понимали, что ртищевские монахи по первому же слову могли заткнуть их за пояс. Это было дело зависти, а зависть пользуется всяким оружием, и всякое оружие в руках ее становится смертоносным.

Духовенство роптало и возмущалось — роптали и возмущались прихожане. Началось с насмешек, кончилось клеветою. Были произнесены страшные слова: еретичество, безверье, действия антихристовы.

Началось недовольство с греческих и латинских учителей, с Ртищева, который их вызвал, потом это недовольство перешло на лиц еще более сильных, чем Ртищев и его монахи, и прежде всего на боярина Морозова. Про него говорили:

«Борис Иванович держит отца духовного только для прилики людской... Киевлян на-

чал жаловать, а это уже известное дело, что туда, значит, уклонился, к таким же ересям».

От Морозова перешли к Милославскому, за которым действительно было много провинностей...

Все перепуталось, смешалось. Многие уже сами не знали, чем именно были недовольны. Все дурно, все противно, ничем не угодишь! Просто-напросто явилась потребность для одних мутить, кричать, буйствовать, для других — пользуясь неурядицей, ловить в мутной воде рыбу. Начались мятежи, «гили», как тогда выражались. Морозов и Милославский чуть не поплатились головами.

Когда же в Москве волнение было успокоено, оно перенеслось в другие места: во Псков и Новгород, где «гили» эти приняли огромные размеры.

Но, несмотря ни на какие волнения, ртищевские монахи продолжали свое дело. Занятия в Андреевском монастыре не прекращались. И одним из самых способных учеников был Александр Залесский. Юноша преуспевал в науках. Изучил он и латинскую, и греческую грамоту и знал их теперь не хуже рус-

ской. Изучил и риторику, и философию и имел теперь ясное понятие о многом таком, чего еще недавно ему и во сне не снилось.

Федор Михайлович привязывался к нему все больше и больше и не раз уже задумывался о том, что бы такое сделать из Алексаши. Вот он уже совсем возрос, пора ему от школьных занятий перейти к живой деятельности. Ртищев ждал только случая, который бы помог ему пристроить юношу к настоящему делу.

Никита Матвеевич Залесский уже не раз в последнее время говаривал сыну:

— Что же это ты все сидишь за указкой? О чем это твой набольший, Федор Михайлович, думает? Сулил и то и другое: «в люди, вишь, его выведу, царскую милость получит». А милости этой что-то до сих пор не видно... Доколе же тебе с басурманскими книгами возиться да на русскую грамоту всякое еретичество перекладывать?

Это относилось к тому, что Александр в последнее время сильно занимался переводами греческих и латинских сочинений.

Никита Матвеевич теперь уже изменил

свои взгляды: он заразился недовольством, которое носилось в воздухе и которое с каждым днем поселял в нем все больше и больше красноречивый духовник его Савва. Кроме того, Никита Матвеевич почувствовал себя чем-то таким обиженным, как ему казалось, со стороны Морозова и нового всесильного человека, патриарха Никона. Он не получил удовлетворения в своей мнимой обиде от Милославских, просто не желавших помогать ему и находивших, что он того не стоит. На жалобы его они отвечали, что все дело не в них, а в Никоне, что они сами обижены.

Кончилось тем, что Никита Матвеевич сам себя убедил в следующем: «Все ему враги стали, все самые сильные люди — и Никон, и Морозов, и Ртищев — ему зла желают за то, что он крепок в вере и не хочет принимать участия в делах антихриста. Ртищев нарочно сманил у него сына, но и сыну добра не желает, а желает погубить его душу».

И только что Никита Матвеевич остановился на этих мыслях, как явился поп Савва и сам от себя говорит ему то же самое! Значит, не может быть никакого сомнения, значит,

так оно и есть, и надо всему этому положить предел.

Никита Матвеевич, по уходе Саввы и поджидая сына, дошел до крайних пределов возмущения и ярости. Своего Александра он, конечно, любил и до сих пор не мог пожаловаться с его стороны на непочтительность. Только большое благоразумие, его ровный характер и осторожность и спасали его от вспышек отцовского гнева. Но теперь гроза собралась, и, глядя на багровое лицо Залесского, его сдвинутые брови и налившиеся на лбу жилы, на то, как он порывисто ходил взад и вперед по горнице, каким страшным голосом несколько раз осведомлялся, вернулся ли Александр, — видно было, что этот день шуткой не кончится.

Антонида Галактионовна вошла было в горницу, глянула на мужа, да сейчас же поскорей и скрылась, изобразив на лице своем немой ужас.

«Изобьет он его, изобьет, — с отчаянием подумала она, — давно не бивал, а нынче изобьет... чует мое сердце!..»

# IX

В первую минуту появления Александра перед отцом можно было ожидать, что предчувствие Антониды Галактионовны немедленно же исполнится. Залесский грозно взглянул на сына и подступил к нему со сжатыми кулаками.

— Да что это ты, на смех мне, что ли! — крикнул он. — Где ты пропадаешь?.. По всей Москве с собаками тебя не сыщешь когда надо!..

Александр остановился и с изумлением, но без всякой робости глядел на отца. Стройный, широкоплечий, высокого роста, нельзя сказать, чтобы уж очень красивый, но с лицом приятным и серьезным, с большими блестящими глазами, юноша производил впечатление спокойной силы. Сразу же было видно, что запугать его трудно и также трудно застать врасплох, озадачить.

В Александре замечалось большое сходство с отцом, но этот облик был как-то выравнен, облагорожен. То, что в лице старика говорило о тупом упрямстве, в лице сына пре-

вращалось в сознательную решимость.

Одежда юноши, небогатая, отличалась чистотою и своего рода изяществом: коричневый кафтан его из тонкого сукна, украшенный черным шнуром, сидел на нем ловко, ворот голубой шелковой сорочки красиво оттенял юношескую свежесть его лица, обрамленного мягкой русой бородкой.

Спокойный и в то же время очень серьезный вид сына, молча и не сморгнув выдержавшего первый отцовский натиск, несколько смутил Никиту Матвеевича.

— Где ты пропадаешь? — прибавил он, как бы затихая.

— Я нигде не пропадаю, батюшка, — тихо ответил Александр. — Если бы я знал, что у тебя есть до меня надобность, то был бы дома по твоему приказу в какое тебе угодно время; но ведь ты ничего не сказал мне утром.

— Да я утром тебя и не видал, тебя никогда не видно теперь!

Александр снова заметно пожал плечами.

— Я был дома.

— Ну, а целый день, до сего времени?..

— Работал в Андреевском. У нас спешная

ныне работа.

При этом слове старик опять начал выходить из себя.

— Работа, работа! — передразнил он. — Так вот тебе мой сказ: довольно этой работы, все дурость, и ничего больше!.. Вы небось там такую работу творите, что чертям тошно... Вот мой сказ: довольно тебе этой работы, довольно этого Андреевского с еретическими монахами да с твоим Федор Михайловичем!.. Чтобы твоей ноги больше там не было... кончено!.. Так прямо и скажи: отец запретил, мол, и баста...

Щеки юноши вспыхнули.

— Да что такое, батюшка, скажи на милость, я в толк не возьму, чем Федор Михайлович и учителя наши провинились?

— А тем, что еретики все, и ничего больше! Никогда не прощу себе той дурости, что допустил тебя в сей совет нечестивых.

Это вспомнившееся ему выражение попа Саввы он произнес особенно грозно и внушительно.

— Как совет нечестивых? — воскликнул Александр, начинавший тоже волноваться. —

Как совет нечестивых? Да разве в Андреевском непотребное что творится? Всякому ведомо, что мы там науками занимаемся и ничего больше, и государь те наши занятия одобряет...

— Государь, государь!.. Обманут государь, ослепили его, а кабы отверзлись его очи, увидал бы он, куда все это клонится, так ужаснулся бы! Ну, говори мне, говори мне сейчас, к чему привели тебя твои науки?

— Как к чему привели? К тому, что я теперь знаю многое, что на потребу человеку и без чего человек ходит как во тьме кромешной.

Произнося эти слова, Александр сам понял, что проговорился. Отец весь так и вспыхнул.

— Вот оно и есть! — закричал он. — Парень, у которого еще молоко на губах не обсохло, почитает, что произошел всю премудрость, а отец, мол, прочие старшие во тьме кромешной ходят! А, как вам это покажется, во тьме кромешной!.. Я, я, мол, все знаю, а отец ничего не знает, дурак дураком всю жизнь прожил... дурак дураком и в приказе заседает, и дела важные государевы вершит

тоже своей дуростью!.. Вот они, времена!.. Так это, значит, ты меня учить можешь, значит, ты меня учить хочешь... яйца курицу учат, вот до чего дожили! Нет, не будет больше этого, довольно... я тебе покажу, что родительская власть крепка осталась, и погляжу я, как твой Федор Михайлович либо другой кто мне воспрепятствует... Скажи на милость! До сего времени люди жили без науки басурманской, без этой науки еретической, и во тьме кромешной не ходили, служили царю, оберегали землю, ходили на врагов, живот свой клали за царя и за Бога, в годы бедствий государство, Москву оберегали и спасали, а наук ваших не ведали!.. Так на что ж они? Да хоть бы и толк в них был, всему свое время... Ты-то уж не малолеток, и стыдно тебе, дойдя до такого возраста, с монахами сидеть за указкой. Довольно! Слышал?.. Ну, что ж молчишь... отвечай, говори, слышал?..

— Что же мне говорить, батюшка, — снова овладел собою и, по-видимому, спокойно произнес Александр. — Не в понятье мне только, за что ты серчать изволишь... чем я перед тобою провинился и при чем тут мое ученье?..

Кажись, нечего тебе на меня жаловаться. Живу я смирно, тихо, почитаю и уважаю тебя и матушку, как Бог велит... Бесчинств никаких не завожу, соблюдаю себя всячески... За что же, батюшка? Коли виновен в чем я взаправду, скажи, повинюсь...

Спокойный и несколько грустный взгляд Александра и его тихий голос заставили отца очнуться. Он смутно сознавал, что сын прав, что ему действительно не в чем упрекнуть его. Вон ведь другие сколько горя от своих детей принимают. Вон у князя Львова сынок, Александру сверстник, так тот на всю Москву чудачит, отцовское имя срамит, почитай, каждую неделю домой его привозят пьяного да избитого. А Александр и в рот хмельного не берет, никогда не было на него ни одной жалобы, с отцом и с матерью, точно, почтителен. Службы церковные посещает исправно.

Но вместе с этим ведь он же знал, что сыновнее ученье впрок пойти не может, что сын со своим Ртищевым и монахами не дойдет до доброго. Он ведь знал это, и поп Савва знал тоже, а потому все добрые свойства Александра не в силах были его успокоить.

— С родителями, говоришь, почтителен! — воскликнул он. — Да в чем же твоя почтительность? Что не дерешься с отцом да с матерью, прости Господи, что ли?.. В том, что ли, твое почтенье да послушанье?! А я тебе уже давно говорил, чтобы ты перестал ходить в Андреевский, а ты все туда ежедневно... Ну вот я теперь тебе и запрещаю, и коли ты точно почтительный сын, то должен меня послушаться. Эх, да что тут! Тошно и говорить об этом... Будет! Есть у меня к тебе другое слово. Слушай, Лександр, садись на лавку да слушай в оба уха, не на ветер говорю и повторять не стану. Коли сам ты о себе не думаешь, так я тебе промышлять должен, коли ты плохо исполняешь свои сыновние обязанности, так я своих родительских не забываю. Пришел ты теперь в возраст, пора тебе человеком стать, пора тебе жениться.

— Жениться? — воскликнул Александр.

— Ну, что ты так на меня уставился? Что же это ты впервые слышишь, что ли, что парень в твои годы должен жениться?.. И я вот, по приказу родительскому, в двадцать два года сочетался браком с твоей матерью... Неве-

сту тебе я высмотрел, — помолчав немного и уже иным тоном прибавил он.

— Кого же, кого?

Как ни был благоразумен Александр, но тут он совсем не выдержал, лицо его побледнело, сердце шибко застучало.

— Кого? Дочь Ивана Михайловича Матюшкина, моего сотоварища и благоприятеля.

Александр хотел было что-то сказать, да и не мог. Такое отцовское решение было для него полной неожиданностью, а имя Матюшкина поразило его как громовым ударом.

Между тем отец продолжал:

— Кажись, на выбор мой тебе нечего жаловаться... Иван Михайлыч человек видный, богатый. Супруга его, Ирина Лукьяновна, сам знаешь, тетка родная царю. Покойная царица Евдокия Лукьяновна сестра ей была родная. Со Стрешневыми тебе породниться честь большая, и это супружество поможет тебе выйти в люди скорее, чем твой Ртищев. Он только сулить горазд, а сам помышляет о твоей гибели.

— Батюшка, — наконец, собрав силы, проговорил Александр, — да ведь у Матюшкина

Ивана Михайлыча... ведь у него слава дурная, ведь ты сам намедни рассказывал, как он всякого обирает, какие чинит несправедливости... Ведь о нем вся Москва знает, вся Москва его за зверя лютого почитает... Так какая же тут честь с ним мне родниться? Нет, воля твоя, а такого тестя не желаю.

Никита Матвеевич вскочил с лавки вне себя от бешенства.

— Как? — закричал он, стуча кулаком по столу. — Ты не желаешь?.. Я желаю, а ты не желаешь!.. Так вот твое почтенье и послушанье, вот они, науки твои!.. Так я и знал... Мне мой родитель покойный, царствие ему небесное, приказал жениться, не спрашивая меня, хочу или не хочу... приказал — и только, и мне в голову не могло прийти ослушаться... А ты что же это против моей воли идешь?

— Батюшка, да ведь Матюшкин...

— Что Матюшкин? Молчи, нишкни! Как ты смеешь судить такого человека! Говорю тебе: ты женишься на его дочери — и н слова. Приди в себя, очнись, не то худо будет. Я тебя не допущу надо мною издевку делать... Знай, никакие твои Ртищевы тебе не помогут. Оду-

майся лучше, и чтобы завтра я от тебя ничего такого не слыхал. Повинись в своей предерзости и помни, что я тебе отец, а ты мне сын!..

С этими словами, еще раз стукнув по столу, Никита Матвеевич вышел, хлопнул дверью и совсем свирепый куда-то отправился из дому.

Александр несколько минут сидел молча, опустив голову, собираясь с мыслями.

Дверь тихонько скрипнула, и он увидел перед собою мать.

## X

Антонида Галактионовна, пока происходило объяснение ее мужа с сыном, пробыла запершись у себя в спальне, уверенная, что между ними творится невесть что.

По первому сердечному влечению она хотела было прислушаться у дверей, с тем чтобы в самую страшную минуту кинуться на помощь своему детищу и заслонить его собою от отцовской свирепости.

Но потом она сообразила, что ничему этим не поможет, что ее вмешательство только повредит еще больше Александру: Никита Мат-

веевич совсем осатанеет...

Он ведь вот и так повадился кричать на нее, что она избаловала парнишку, что не будь ее баловства, не было бы и дурости, он был бы совсем другой.

А главное, с первых лет супружества она трепетала перед мужем, и этот трепет только возрастал с годами.

Она представляла себе Никиту Матвеевича несравненно более страшным, чем он был на самом деле. Будь она иной женщиной, она, конечно, легко разглядела бы, что муж ее человек упрямый, взбалмошный, крикун, но вовсе не злой, не жестокий. Она поняла бы, что если гнев его иной раз и продолжителен, то это единственно потому, что за него не умеют взяться как следует, а умеючи его в одно мгновенье утешить можно.

Но Антонида Галактионовна была женщина почти не умевшая рассуждать. Она только «чувствовала», всю жизнь только «чувствовала», не разбирая, основательны ли ее чувствования или происходят они от ее собственного воображения.

Еще в первый год замужества, досадив как-

то мужу и испытав на себе бурливый гнев его, она перепугалась насмерть, да так и осталась навсегда перепуганной. И вот, сдвинет он брови — она уже трясется; крикнет он — у нее душа уйдет в пятки, онемеет она совсем, слова не может выговорить. А страх этот его еще больше подзадоривает, еще больше раздражает.

Антонида Галактионовна любила сына, насколько была только способна любить, и любовь эта, конечно, выражалась так, как у нее только и могла выражаться. Никита Матвеевич был прав, говоря, что она избаловала парнишку. Будь у Александра иной характер, иные умственные способности, она бы его совсем погубила.

Если он не умер в детские и отроческие годы от ее забот и ухода, от ее обкармливания и опаиванья, если он не стал лентяем и негодяем, то уж никак не по ее вине. Она, со своей стороны, все для этого сделала. Одного только не могла она сделать, это победить, даже ради сына, своего страха перед мужем.

Поэтому и теперь инстинктивное стремление быть возле сына в минуту грозившей

ему, как ей казалось, опасности, было тотчас же заглушено ее страхом. Этот страх загнал ее в спальню, заставил сначала кинуться на колени перед киотом с образами, а потом зарыться с головою в подушки, чтобы ничего не видеть и не слышать.

Но выдержать так все же она не могла и время от времени высовывала голову из подушек и прислушивалась.

И вот услышала она, что муж, бурля и крича, ушел из дома.

Господи, что там такое? Что между ними было... в каком виде застанет она Алексашу?..

Она кинулась из спальни, ног под собою не слыша... Алексаша сидит на лавке, понурив голову, бледный и хмурый...

## XI

— Санюшка, дитятко мое родимое, что ты?.. Что с тобою?.. Что отец? — слезливым шепотом заговорила она, охватив юношу руками и прижимая его голову к груди своей.

— Ничего, матушка, — ответил он, отрываясь от своих мыслей и не без некоторой бессознательной досадливости принимая ее объятия.

В детские годы для Александра мать была средоточием всей его жизни, неисчерпаемым источником удовлетворения всех его желаний, капризов и потребностей. Чуть что, он кидался к матери, держался за ее юбку, прижимался к ней и в то же время, конечно, был ее тираном и повелителем. Она «для него» существовала, она ему принадлежала.

Так было даже слишком долгое время. Но мало-помалу такое отношение к матери стало изменяться и теперь давно уже изменилось.

Александр любил ее горячо, но по мере того, как он развивался, в нем все больше и больше поднималась досада на ее умствен-

ную и нравственную слабость. Его живой, деятельной и горячей природе инстинктивно было противно это слезливое бессилие, это отсутствие какой бы то ни было почвы, чего-либо, на чем можно остановиться. Он не мог даже определить себе ее образ. Это был не образ, а что-то неопределенное, ускользающее, бесформенное, жалкое и в то же время ничтожное.

Отец был не таков, каким ему хотелось бы его видеть, но все же это был человек ясный, определенный, не бесформенный. Его образ с каждым годом все резче и резче обрисовывался перед Александром, и он его понимал. С отцом так или иначе все же можно было столковаться, а если и не столковаться, то можно было бороться. Лаской, хитростью можно было победить его и в свою очередь терпеть от него поражения. С матерью ничего нельзя было.

Придет поп Савва, скажет, что народился антихрист, и она этому тотчас же поверит. Придет неведомая странница в дом, рассказывает, что в городе Калуге летает змей огненный, и что поповская корова отелилась те-

ленком о трех головах, и теленок этот говорит человечьим голосом, — она верит. А заговорит Александр с нею о самых простых вещах, и ничего-то она в толк взять не может!..

Но она мать, но впечатления детства живы — и Александру иной раз отрадно прильнуть к груди ее, к ее сердцу. Тепло у этого сердца, спокойно. Только ведь теперь в душе Александра буря, он чувствует потребность борьбы нешуточной, чувствует близость такой опасности, какой доселе еще не бывало. И не по нему это бессильное, слезливое причитанье.

— Ничего, матушка, — повторил он, осторожно от нее отстраняясь.

— Да что отец-то, отец что? Не бил он тебя, дитятко?

— Не бил! — печально усмехнулся Александр. Антонида Галактионовна закрестилась.

— Слава Тебе, Господи... а уж я так и думала, что добром не кончится... Кричал-то ведь, кричал-то много!.. Санюшка, родной мой, покорись ты ему, не иди супротив него... ведь ты его не переупрямишь... да и опять —

отец... его слово — закон!..

— Да ты знаешь ли, матушка, чего он от меня требует?..

— Не знаю я, голубчик ты мой сизокрылый, ничего-то я не знаю...

— Не знаешь, что он велит мне жениться?

— Ну, это-то я знаю, в этом-то нет еще ничего худого, велит — ну и женись.

— Да ведь он мне какую невесту нашел? Дочь Матюшкина Ивана Михайлыча.

— Знаю, знаю! — твердила Антонида Галактионовна, кивая головою.

— А какой человек Матюшкин, какая у него слава, и это ты знаешь, матушка!

— Что и говорить, — отозвалась она, — человек Иван Михайлыч нехороший, о нем еще, кажись, никто добрым словом не обмолвился... да и нрав у него, говорят, крутой, зверь зверем с домашними... А тебе только что же до этого, Санюшка, ты не девица, не к нему в дом пойдешь, а у него из дома возьмешь жену, так тебе-то что до него!.. А они люди в силе... и притом отец так решил, значит, так оно и быть должно.

Александр встал с лавки и начал ходить по

комнате.

— Матушка, ну, да и это оставим... Дочь его, невесту-то, ты видела?

— Как же, золотой мой, видала, видала: девица скромная.

— Да ведь и я ее видел! — воскликнул Александр. — Видел я ее намеднись в Коломенском на зрелище!.. Ведь она из себя дурная!

Антонида Галактионовна задумалась.

— Ну да, — помолчав, выговорила она, — неказиста девка, это точно, и притом одним глазом косит... Сбоку смотришь — ничего, а коли лицом к лицу — ан один глаз и гуляет, так и гуляет, все будто подмигивает да на угол показывает...

Александр, несмотря на серьезность своего положения, громко рассмеялся.

— Однако, матушка, ты мне хорошо мою невесту описываешь!.. После таких слов не особенно она привлекательной кажется.

Антонида Галактионовна смутилась.

— Да что, Санюшка, что правда — то правда... только вот как я тебе скажу: ты об этом не думай, на лицо не смотри, с лица не воду

пить. Поверь матери: супружество такое дело — хорошо лицо, дурно ли — все одно приглядится. А неказиста жена, так всякую ласку вдвое ценить будет... Лицо — последнее дело, был бы нрав добрый, да телом была бы здорова... Уж коли отец сказал, так и мне говорить запрету нет — ведь мы это дело с Матюшкиньши давно ладим. Ну вот, я и доподлинно все как есть про Наталью, про невесту, узнала... и от себя засылала стороной разведывать, и сама глядела в оба. Верь мне, дитятко, девица хорошая, кабы что неладное, так я бы так тебе не говорила, не брала бы греха на душу. Я тебе не погибели хочу, а добра. Всего и есть нехорошего, что лицо... да вот глаз бегает... Ну, по весне веснушек много высыпает — только ведь зимой они наполовину сходят... Рыжевата — это тоже, зато коса длинная-предлинная и густая — сама расплетала... И верь ты мне, в таком деле лгать не стану, здорова она, крепка, никаких болезней за ней слыхом не слыхано сызмальства... Словом, девица как девица, никто ничего сказать не может. А лицо, опять говорю, — с него не воду пить... Так-то, дитятко, уж ты отца с матерью послу-

шай, добра они тебе желают. А главное дело — не иди против отца, у него это крепко засело, и он не отступится, не тебе с ним тягаться. Ты его еще не знаешь, да и не дай Бог тебе узнать, что он за человек!..

— Нет, не бывать этой свадьбе, — сам того не замечая, вслух решил Александр.

Антонида Галактионовна всплеснула руками.

— Санюшка, золотой ты мой, ненаглядный, жемчужный мой, не томи ты меня, да и себя пожалей, ишь ты какое слово сказал — не бывать!.. Быть-то оно будет, а в гроб ты меня заранее уложишь от одной боязни...

— Ну, а если у меня у самого есть другая невеста на примете, любимая, желанная? — вдруг воскликнул Александр в порыве неудержимого чувства.

Антонида Галактионовна поднялась с лавки, на лице ее изобразился ужас. Она бросилась к сыну, силясь закрыть ему рот рукою.

— И не говори, и не говори! — отчаянно шептала она. — Коли отец это услышит... да это что ж такое!.. Боже, этого еще недоставало! Погубил... погубил... совсем погубил и ме-

ня и себя... Святые угодники!

Она схватилась за голову, заметалась, наконец, упала на лавку и зарыдала.

Александр забрал шапку и, почти себя не помня, выбежал из дому.

## XII

Майский вечер был тих и ясен, теплынь и свет безоблачного неба стояли над Москвою. Недавние дожди омыли извилистые московские улицы, горячее солнце подсушило грязь, но еще не успело превратить ее в пыль. В безветренном воздухе был разлит душистый запах кустов сирени, наполнявших бесчисленные сады и свешивавших через заборы свои лиловые и белые ветки.

Александр, выйдя из дому, спешил по направлению к Кремлю. Он то и дело сходил с досок, окаймлявших по обеим сторонам улицу и дававших единственную возможность ходьбы в грязное время.

Но теперь, так как не было ни грязи, ни пыли, а многие из дощатых настилов находились в таком состоянии, что по ним можно было только пробираться с великой осторож-

ностью, Александр предпочитал, где только представлялась возможность, идти посреди улицы.

Движение в этот час все еще было значительно, время от времени встречались бесконечные обозы, запружавшие всю улицу, и тогда поневоле приходилось снова возвращаться на деревянные настилки и совершать на них гимнастические упражнения, сохраняя равновесие и ежеминутно помышляя о том, как бы не сломать себе ногу, не завязнуть между двух проломленных досок.

Приходилось неизбежно сталкиваться с каждым прохожим и останавливаться, обоюдно изыскивая возможность разойтись по-добру-поздорову.

При большем нетерпении и спешке, изображавшихся как в выражении лица Александра, так и в его движениях, он бы жестоко проклинал и изрытую тесную улицу, и эти опасные, мучительные деревянные настилки, и эти бесконечные обозы, управляемые во всю глотку оравшими мужиками, и прохожих, стремившихся зря, кто как мог, не придерживаясь правой руки. Но Александр знал,

что ведь иначе быть не может, что улица как улица и как же ей быть иною. А потому он смирял свое нетерпение и осмотрительно действовал ногами и руками, прокладывая себе дорогу.

Наконец он выбрался из узкой улицы, очутился на площади и пошел к Кремлю.

Он спешил к Федору Михайловичу Ртищеву, который в это время, как он знал, непременно должен был там находиться.

Александр уже не в первый раз совершал этот путь, а потому и не страшился трудности проникновения во дворец царский.

Постороннему человеку попасть туда почти не было возможности. Царские сторожа никого бы не пропустили, но Александр уже не был посторонним человеком. Хотя он и не занимал никакой при дворце должности, но его там знали как одного из самых близких людей к Федору Михайловичу Ртищеву, частенько приходившего к царскому постельничему. Почти все дворцовые ходы и выходы были ведомы юноше. Он отвечал на каждый оклик именем Ртищева, и это имя прокладывало ему дорогу.

Вот он уже достиг причудливого, широко раскинувшегося здания дворца. Он поспешил к одному из многих крылечек, ведших в разные части царских покоев.

Федор Михайлович, как и был уверен Александр, находился во дворце. Александр прошел с десяток узеньких, но светлых коридорчиков, пол которых был густо посыпан красным песком, и наконец очутился в знакомой ему палате, составлявшей дворцовое помещение Ртищева.

Палата эта была невелика, но вовсе не походила на такого рода жилье русских людей того времени. Она носила на себе совсем чуждый московским нравам характер, и если бы в правом углу не киот с образами, в богатых ризах и с горевшей перед ними лампадкой, — палату эту можно было бы почесть каким-нибудь уголком иноземного замка, обитаемого «ученым немцем».

По стенам стояли высокие шкафы, наполненные книгами, а в промежутках между ними висели ландкарты. У окон стоял большой стол, тоже заваленный книгами, бумагами, чертежами, толстыми исписанными тетрадя-

ми.

Перед столом, в неуклюжем огромном кресле с высочайшей спинкой, сидел Федор Михайлович Ртищев с большим карандашом в руке. Он был углублен в чтение лежавшей перед ним тяжелой книги и то и дело отмечал карандашом на ее страницах.

Время положило свою печать на Ртищева. Он уже не был теперь тем стройным и моложавым человеком, каким его несколько лет тому назад в первый раз увидел Александр. Ртищев раздался в ширину, как-то даже несколько сгорбился, волосы его поредели и уже серебрились кое-где сединою. На лбу легло несколько морщин.

Но лицо его, теряя последние следы молодости, еще больше выигрывало в привлекательности. В нем все больше и больше светился ясный разум. Выражение спокойного величия и открытой приветливости не могло не поражать каждого, кто видел лицо это.

## XIII

При входе Александра Ртищев дружески кивнул ему головою и приветливо улыбнулся.

— Алексаша, с чем пожаловал? — проговорил он. — Али с нашими старцами в Андреевском что случилось? Что такое? Говори... Я вот нынче никак не могу съездить в Андреевское: завтра чем свет дело есть, царское добро считать буду. Тут у нас шалить начинают — воровство завелось, так это дело надо привести в ясность и счет всему верный сделать...

Он нахмурил брови, но через мгновение лицо его прояснилось. Он указал Александру на лежавшую перед ним книгу и продолжал:

— А вот я перевод ваш проглядывал, твой да Бродникова, сравнил с латинским подлинником... верно перевели, спасибо! Уж и государю успел вами похвастаться, и он доволен... Так что ж у тебя такое, с чем ты? Садись вот тут, сними книги, положи на стол, да и садись...

Александр освободил себе стул, пододвинул его к Ртищеву, присел, и не без сильного

волнения, начал:

— Не старцы меня прислали, Федор Михайлович, не по книжному нашему я делу, а по своему делу... уж ты не взыщи, что я тебя утруждаю, мешаю тебе. Выслушай меня, за советом пришел, за помощью... как к отцу родному.

Ртищев пристально взглянул на молодого человека, подметил в его лице что-то новое, ему еще незнакомое, и участливо сказал:

— Говори, слушаю, разберем, рассудим твое дело. Александр, сначала смущаясь, запинаясь, а затем разгорячась все больше и больше, передал Ртищеву свой разговор с отцом относительно ученья. Ртищев слушал внимательно.

— Это беда еще не велика! — наконец произнес он. — Коли мы тебя в еретичество совратили, то родитель твой уже слишком поздно спохватился. Теперь ты еретик не меньше нашего, и может, и меня кой-чему научишь — голова у тебя свежая, времени у тебя больше, чем у меня...

Он вдруг задумался.

— А видишь ли, отчасти родитель твой и

прав, я понимаю, что он в сердцах на меня за то, что до сих пор тебя я не пристроил, все в учениках держу. Может, и впрямь я замешкался. А тебе я скажу вот что: еще в позапрошлом году хотел было я определить тебя на службу царскую, совсем было собрался, да рассудил и жаль стало, того жаль стало, что со службой лишишься ты времени, золотого, свободного, нужного для ученья. Вот как я со службой, много ли у меня минут остается почитать да поработать над полезными книгами. Так я и решил — еще год-другой оставить тебя на свободе... Но теперь ты превзошел всю премудрость, какую старцы наши тебе преподать могут; сами они того мнения. Насколько можно с нашими средствами, ты теперь приготовлен к жизни, и я еще на этих днях о тебе подумал, да кое-что и придумал... не знаю только, как моя выдумка покажется твоему родителю, а тебе она должна, кажись, по душе прийтись.

— Что такое, Федор Михайлович?

Ртищев загадочно улыбнулся.

— Ан нет, постой, погоди, теперь еще рано, не скажу... судить понапрасну я не люблю.

Посулю, ан вдруг и не смогу устроить! Какими глазами я тогда на тебя смотреть буду?! Постой, подожди недельку-другую, все выяснится, все образуется... Ведь ты мне доверяешь, ты знаешь, Алексаша, что я для тебя худого не придумаю.

— Знаю, знаю, Федор Михайлович, и нечего мне говорить тебе, как я тебя почитаю. Да не в том дело. Я тебе с полгоря моего поведал, а главного еще не сказал.

— Еще чего?!

— А то, что меня батюшка волей-неволей, а женить хочет.

Тут Александр рассказал Ртищеву все, что мог сказать относительно брака с нелюбимой им и некрасивой девушкой, да еще и дочерью такого человека, как Матюш-кин.

Ртищев покачал головою и сдвинул свои густые брови.

— Н-да! — проговорил он. — Это дело потруднее, к такому делу как подступиться! Родительская власть... родительское желанье... и выбор...

Он остановился; какая-то тень скользнула по лицу его и исчезла. Он опустил глаза.

— Я в дела семьи, в такие дела не могу вмешаться... Родительский выбор... Так предков наших, дедов и отцов женили, так и нас женили... почитай всегда так бывает, и как стороннему человеку тут вмешаться?

— Не вмешиваться прошу тебя, Федор Михайлович, совет мне добрый подать, вникнуть своим разумом в это дело!

— Что же мой разум тут скажет?! — повел плечом Ртищев. — Ты сам не малолеток, сам за себя должен уметь постоять. Только я тебя на непослушание поднимать не стану, напротив того, говорю тебе: послушайся отца да матери.

Но Александр хорошо уже изучил Федора Михайловича и теперь ясно видел, что он говорит как-то странно, не от души.

— Нет, нехорошо ты говоришь, Федор Михайлович! — воскликнул он.

— Как нехорошо?

Ртищев улыбнулся.

— А так: слушаться и покорствовать, где можно послушаться и попокорствовать, я всегда готов, но в таком деле — нет, я не сдамся, этого я не допущу, хоть погибнуть придется,

а на себя петлю не надену своими руками! Пусть отец делает что хочет — не женюсь я...

И твердая решимость прозвучала в его голосе. Ртищев еще пристальнее глядел на него.

— А в таком разе, что же и толковать, — сказал он, — коли твердо ты решился, так и будь спокоен; но не делай дуростей. За советом ты ко мне пришел, и совет я тебе подам: не иди ты против отца, не раздражай его, попробуй к нему приласкаться, что хочешь говори, что хочешь выдумывай, а только протяни время. Пусть он подумает, что ты согласен, что ты примирился с его выбором, лишь бы не сейчас, лишь бы он согласился весь ход по этому делу, то есть по сватовству твоему, отложить на месяц-другой времени. А в месяц-другой мало ли что статься может! Эх, Алексаша, в грех ты меня вводишь, вот я тебя обманывать отца наущаю...

— Пу, да пусть на мне сей грех и взыщется, — помолчав, прибавил он, ласково глядя на юношу. — Я за твою судьбу готов быть в ответе и перед своей совестью, и перед Господом Богом...

Еще с полчаса пробеседовали они о том

же, и Александр вышел из Кремля с облегченным сердцем. Он хорошо понял, что Федор Михайлович действительно для него готовит что-то решительное и важное, что совет его не идти прямо против отца, а хитрить и проволакивать время имеет прямое отношение к тому, что готовит для него Федор Михайлович.

«Да что это такое, что может быть? И ведь вот человек! Коли упрется — ничего-то из него, слова не вытянешь. А уж предо мною ему таиться грешно, он для меня все равно что отец... больше отца, прости Господи, куда больше! И вся душа моя перед ним открыта...»

Не заметил Александр, как, размышляя подобным образом, он солгал перед самим собою. Вся душа открыта! А отчего же не сказал он Ртищеву, говоря про невесту, что есть другая, любимая, желанная? Отчего он не проговорился перед ним, как проговорился перед матерью? Между тем ведь там не следовало, а тут, может быть, даже и следовало проговориться!..

Что же его остановило? Он сам не знал

что.

## XIV

Когда Александр вернулся домой, он узнал, что мать сидит запершись в своей спальне с какой-то прибывшей с далекого богомолья старушкой. Отца нет. Где он? Наверно, засиделся у Матюшкина. Быть может, они там окончательно решают судьбу его.

«Ну и пусть решают! — с сердцем подумал он. — Не поддамся, в капкан не полезу, ведь и мне тоже жить хочется... да еще как хочется-то!..»

От опасности ли, перед ним внезапно восставшей, от начинавшейся борьбы, от этого ли чудесного майского вечера — только Александр, более чем когда-либо, чувствовал жажду жизни, наслаждения, счастья. Он находился в том возбужденном состоянии, когда неведомо что творится с человеком, когда манит какая-то ширь, даль, высь, когда тесно в теле — и хотелось бы крыльев да бесконечного простора...

Митрошка, бойкий парень, приставленный к Александру, и его однолеток, спросил

молодого хозяина — не желает ли он ужинать. Но Александру не хотелось есть, он выпил ковш холодного душистого квасу и вышел в сад.

Сад при доме Залесских был густой, хороший и обширный. И теперь, именно в эти первые дни наступившего лета, в нем был сущий рай, по выражению Антониды Галактионовны. Весь этот сад казался белым, лиловым, розовым. Сирень, груши, яблони стояли в цвету. Давно уже москвичи не видали такой силы цвета, как в этом году... Уже почти с час времени, как закатилось солнце. Золотистый свет, струившийся с вечернего неба, обливал все предметы, мало-помалу заволакивая их своей прозрачной дымкой.

Тишина в саду стояла невозмутимая.

Александр направился по узкой дорожке меж густо разросшейся зелени и душистых веток. Он обошел весь сад, пробрался в самую глубину его. Здесь уже не было дорожек, здесь кусты образовывали почти непроницаемую чашу. Но у Александра была знакомая лазейка между этими кустами. Согнувшись, он проник в эту лазейку и, осторожно отстраняя вет-

ки, пробирался все дальше и дальше. Вот и забор, дощатый высокий забор, местами уже сильно покосившийся.

Подгнивший забор этот отделяет сад Залесских от другого такого же, соседского сада. Крапива разрослась у забора, сухие прошлогодние листья лежат в кучах. И каждая такая куча сухих листьев, каждый лист лопуха — все здесь знакомо Александру. Не в первый раз уже забирается он сюда, к этому забору. Вот и местечко примятое, насиженное, среди лопухов и крапивы.

Александр прилег на траву, у самого забора, осторожно вынул из него небольшой кусок доски, заглянул в соседский сад. Ему видны такие же кусты, такие же лопухи и крапива. Отверстие настолько велико, чтобы видеть все это, даже руку можно просунуть, но не больше. А забор высокий, сажени в полторы вышиною, если не больше, и он весь утыкан частыми гвоздями.

Прислушался Александр — тихо в соседском саду, ни единая ветка не шелохнется. Он прислонился головой к забору и ждал. Сколько прошло времени — он не знал того. Может,

всего минут пять, десять, только эти минуты показались ему часом, двумя часами. Он тихонько свистнул, опять прислушался — тихо по-прежнему.

Наконец чуткое ухо его расслышало где-то неподалеку неясный шорох. Горячая краска мгновенно залила щеки Александра. Глаза его загорелись. Он слушал всем существом своим. Шорох ближе, явственнее. Он глядит не мигая в щель забора и вот видит — раздвигаются ветки. Еще миг — и отделенная от него высокой деревянной преградой, утыканной гвоздями, но близкая, всего на шаг, в сумерках обрисовывается женская фигура.

Он снова свистнул. И в ответ на этот свист раздалось легкое покашливание.

— Настя! — прошептал он.

И до его слуха донесся замирающий сладкий шепот:

— Алексаша!

Она наклонилась и прильнула к забору.

— Ах, как я долго ждал тебя, — проговорил Александр. — Все сердце изныло... думал уж: обманешь, не придешь, как третьего дня обещала.

— Да и я тоже думала — не приду: у матушки весь день нынче гости, да и у меня подруги... оторваться никак нельзя было. И теперь вот убежала на самую малую минутку, только чтобы не обмануть тебя, только чтобы сказать тебе, мой ненаглядный, здравствуй и прощай, покойной ночи, доброго сна, обо мне думай... во сне меня увидишь. А я тебя вот уже вторую неделю с чего-то каждую ночь, как есть каждую ночь вижу...

Александр просунул руку. Теперь уж он не мог видеть Настю, но рука его встретилась с ее рукою — и огонь пробежал по его жилам от этого милого прикосновения. Он крепко захватил маленькую горячую ручку.

— Ой, что-то ты, Алексаша, как стиснул пальцы — больно мне, пусти... грешим мы с тобою, право, и каждый-то раз я дрожью дрожу, долго ли до греха, застанут нас, увидят, что тогда будет?

— А ты не бойся, не дрожи, не думай о разных страхах... Любишь ты меня, Настя?

— Сам знаешь, — ответил тихий голос.

Он Бог знает что дал бы, чтобы взглянуть на нее. Но здесь, среди этих кустов, совсем по-

чти темно, да и потом, чтобы взглянуть, ведь надо выпустить ее руку. Но он предпочел не расставаться со своей добычей. И скоро, сам не замечая того, забыл даже, что между ними непроницаемый забор; ему казалось уж, что он ее видит, милую, дорогую, желанную... а ее прикосновение наполняло его блаженством.

— Ну, пусти же, пусти, ведь говорю: прибежала на малую минутку... Может, там меня уже и хватились... Беда будет! Себе не верю — откуда взялась такая смелость!.. Ах, уж и погибель ты моя, Алексаша!..

— Как погибель? Отчего погибель? — шептал он. — Сама не знаешь, что говоришь. Настя, голубка, послушай, ну чего ты вырываешься, мне надо поговорить с тобою.

Он все крепче сжимал ее руку, не выпуская ее. Она вырывалась.

— Да что же это ты в самом деле словно в железных тисках держишь, — взволнованно произнесла она. — Говорю, пусти. Дай Бог только вернуться, чтобы не заметили. Не время теперь говорить... в другой раз...

— Когда в другой раз — завтра?

— Ну, хоть завтра...

— В это же время?

— Ну, да, да, только пусти, Христа ради. Ах, беда мне!..

— Обещаешь наверно, не обманешь?!

— Да когда же я тебя обманывала? Что хочешь ты, то со мною и делаешь... Я всякий стыд девичий позабыла... Ведь если бы матушка узнала, что я к забору бегаю, да с тобою такие речи веду, да что ты меня за руку держишь, — что бы это такое было? А батюшка! Да он убьет меня!.. Пусти!.. Пусти!..

Она хотела выдернуть руку, но уже было поздно. Порывистым движением он потянул ее к себе, и вот эта нежная, полная, белая девичья рука по самый локоть по сю сторону забора, в его распоряжении, — и он покрывает ее жаркими поцелуями.

Настя испугалась не на шутку. Ведь если кто-нибудь теперь войдет сюда — она пропала, совсем пропала!

— Что же ты, погибели моей хочешь? — расслышал Александр ее взволнованный голос, в котором звучали уже слезы.

Он отпустил руку.

— Так завтра, завтра? — шептал он.

— Никогда! Прощай!

Кусты зашуршали, и она скрылась.

А он долго еще оставался неподвижный, будто прикованный к месту, весь полный еще ее присутствием, ее прикосновением.

Наконец он поднялся, выбрался из кустов, вздохнул полной грудью и тряхнул головою.

Ничего он теперь не боялся, ничто его не смущало, и перед ним звучал милый голос:

«Завтра!.. Никогда!»

Никогда — значит, завтра!..

## XV

Соседний с Залесским «двор» принадлежал Алексею Прохоровичу Чемоданову. Сначала Никита Матвеевич ничего не имел против этого соседства, напротив того — даже был рад ему. Соседи полюбовно размежевались без малейших препирательств и затем стали оказывать друг другу всякое почтение. Оба они были почти одних лет и занимали почти одинаковое служебное положение, только Чемоданов в служебном деле уже не был новичком и не спал в приказе. Его считали человеком с головою и не без хитрости. У него не бы-

ло сильной руки при дворе, не было могущественных родственников. Но он сам сумел мало-помалу найти и укрепить полезные связи и теперь мечтал о воеводстве. Никому он не поверял своих мечтаний, ни с кем не советовался, но, зная все ходы и выходы, мало-помалу приближался к достижению своей заветной цели. Назначение его на воеводство, хотя бы и на самое видное, никого бы уже не удивило. Но между кандидатами находились два-три человека поважнее его именем, родством и связями.

Он знал, что борьба с этими людьми напрасна, а потому молчаливо уступал им дорогу, желая только одного, чтобы они прошли скорее и очистили ему место.

Чемоданов был лично известен царю, был вхож к Морозову и даже к Ртищеву. Человек иной, ведь раз на язык не воздержан — и пересмешники о нем отзывались так:

«Чемоданов хотя звезд с неба и не хватает, но говорит красно и с чувством, и вид у него важный, как есть воеводский. Что же, вид — великое дело; бывает так, человек и умен, и ловок, и хитер, да вида у него никакого нет,

ну и не пригоден к иному делу».

И точно, у Алексея Прохоровича вид был до такой степени важный, что вся напускная важность Залесского при нем совсем пропадала. Да и важности-то своей Никита Матвеевич научился от соседа...

Не только соседи дружили, но по примеру их соседки тоже. Антонида Галактионовна с Анной Семеновной Чемодановой нередко навещали друг дружку.

Антонида Галактионовна отправлялась в соседские хоромы в сопровождении Алексаши, а Анна Семеновна приводила с собой свою маленькую дочку Настю, прехорошенькую, румяную и здоровую девочку, которая, подобно Алексаше, осталась единственной в живых из нескольких человек детей.

Алексаше шел шестнадцатый год, Насте десятый. Маленькая шустрая девочка всегда радовалась встрече с красивым большим мальчиком.

Он такой добрый, забавляет ее, смеется с нею.

Глядя на этих детей, Антонида Галактионовна иной раз с улыбкой говаривала сосед-

ке:

— А вот моему Алексаше и невеста готова: что ты на это скажешь, матушка Анна Семеновна?

Анна Семеновна тоже улыбалась и отвечала:

— А что же... и впрямь, родимая, чего же лучше?

Дело действительно казалось совсем подходящим и возможным. Пройдет еще год, другой, придется разлучить Алексашу с Настей. Он совсем вырастет, да и она подрастать станет. Ему не место будет с бабами, а ей непристойно станет так бегать на свободе, как теперь, пока она еще малютка. Замкнется она в тереме, в четырех стенах, в редких случаях показываясь на людях, будет закутана фатою. И так, незрима мужскому глазу, расцветет своею красою девичьей. Ну, а затем... Залесские зашлют сватов...

Так могло бы кончиться дело, но случилось иначе.

# XVI

Между соседями, дружившими сначала, вдруг пробежала черная кошка — и смешно сказать, но нельзя правды утаить — причина всему заключалась в черной курице. Курица эта принадлежала Чемодановым и повадилась через плохенький заборчик, отделявший в то время соседский сад, перелетать к Залесским. На беду, Никита Матвеевич в глубине сада огород устроил и так как в свободное и теплое время любил заниматься этим делом, ежедневно хаживал глядеть, хорошо ли подрастают его овощи... Как ни придет, а черная курица тут как тут: роет землю, вырывает коренья, учиняет превеликую обиду хозяйскому сердцу. Прогнал Никита Матвеевич черную курицу раз, другой и третий, а она все возвращается и с каждым разом все больше и больше вреда его овощам наносит. Не стерпел он, разгорелась в нем душа, завидел он через забор соседа, величественно прогуливавшегося по своему саду, и не своим голосом закричал ему:

— Алексей Прохорыч, а Алексей Прохорыч!

Тот подошел к забору все с таким же величественным видом.

— Здравствуй, Микита Матвеич, как Бог носит? Давно не видались, — важно проговорил он.

Но Залесский был вне себя.

— Да что тут здравствуй, а вот как это ты твою курицу ко мне пускаешь...

— Какую курицу? — изумленно осведомился Чемоданов.

— Какую! Известно какую, черную, будто не видишь... Что же это ты мне, соседушка, в досаду, на смех?! — кричал Залесский.

Чемоданов вспыхнул, но все еще продолжал сохранять важный, степенный вид.

— Да чего ты кричишь, — проговорил он, — тебе на меня кричать не приходится; коли хочешь говорить, говори толком, а то болтает человек невесть что. Какая там тебе еще далась курица?

— Да вот ведь ты видишь — она мне весь мой огород изрыла, кажинный день залезает и роет, а ты тут вон ходишь, ходишь...

Чемоданов пожал плечами.

— А хоть бы и видел! Роется курица в зем-

ле, что же тут диковинного? Не Бог знает чудо какое.

— Да твоя это курица? — захлебывался Залесский.

— Может, и моя, птичницу спросить надо, — равнодушным и насмешливым тоном проговорил Чемоданов и зевнул во весь рот.

Никита Матвеевич света невзвидел. Если бы сосед волновался так же, как он, он бы с ним поспорил немного да и затих бы. Но эта важность и спокойствие и наконец эти насмешки его совсем взорвали. Ему сразу показалось, что Чемоданов и курицу эту нарочно приучил досаждать ему, что вообще он всячески старается показать перед ним, Залесским, свое превосходство. А тут еще вдруг Чемоданов после зевка протянул:

— Ну, что мне с тобою, с таким, ноне разговаривать, пойди-ка, Микита Матвеевич, да проспись.

— Как проспись? Да что я — пьяный, что ли? Да как ты смеешь мне говорить такое, зазнался больно; это ты пойди да проспись, авось сном с тебя глупая спесь твоя соскочит!..

Чемоданов поглядел, поглядел на рассвирепевшего соседа, а потом взял да и плюнул.

— Совсем ты глупый человек, как я вижу, — сказал он и опять-таки спокойно и величественно еще раз плюнул, повернулся да и ушел.

Никита Матвеевич несколько мгновений стоял молча и не мог прийти в себя от такой обиды. Бешенство его, как с ним часто бывало, внезапно утихло, и поднялась теперь в нем холодная злость. Черная курица продолжала рыться в огороде. Он подкрался к ней, изловчился, схватил ее — и тут же собственноручно свернул ей шею. Затем пришел в дом, призвал холопа и велел ему сейчас же снести эту мертвую курицу Чемоданову и сказать ему, что всякую другую курицу или какого бы то ни было зверя соседского, которого он застанет у себя в саду, он так же умерщвлять будет.

С этого дня между соседями началась вражда не на живот, а на смерть.

Залесский и Чемоданов, где только могли и чем только могли, каждый по своему характеру стали изводить друг друга.

Конечно, прекратились всякие добрые отношения и между их женами. Враждовать стали и холопья соседские, и скоро два соседских двора превратились в два враждебных лагеря.

Вражда эта не подействовала только на Алексашу и на Настю. Они по-прежнему питали друг к другу влеченье и нередко сходились у забора. Но вот пришла зима, встречи эти прекратились сами собою. Настю редко выпускали из дому, сад занесло снегом. Весной они свиделись снова у того же забора. Настя очень обрадовалась Алексаше, но сообщила ему, что отец ее строго-настрого ей запретил бегать в эту сторону сада, а тем паче подбегать к забору, что он шибко ругается. Это не помешало ей, однако, время от времени ослушиваться строгого родителя.

Но вот, к концу лета, сам Чемоданов накрыл как-то свою дочку в мирной и веселой беседе с «Залесским парнишкой». Алексаша очень развязно поклонился Алексею Прохоровичу, но тот ему на поклон не ответил, молча подошел к Насте, взял ее за ухо и потащил за собою. Бедная девочка залилась громким пла-

чем.

С этого дня Алексаша ее не видал больше. Мало того, через несколько дней в доме Залесских разнеслась новость: сосед на месте прежнего низенького заборчика сооружает новый. Прошло две-три недели — и владенья врагов разделились высочайшим забором, утыканным гвоздями. А осенью Чемоданов добился своего: он был назначен на воеводство в Переяславль и переехал туда с семьей.

— Ну и слава Богу, — говорил Залесский, — не только в Переяславль, а хоть бы в тартары провалился, лишь бы духу его здесь не было!

Но это он так говорил, а на душе у него было совсем иное. Первым делом он завидовал повышению Чемоданова, а затем, с этим отъездом, он терял изрядное развлеченье: без этой вражды, без придумыванья время от времени чем бы насолить соседу — он скучал. Опустел дом Чемодановых, в доме остались стражами человек пятнадцать прислуги.

Так прошел год, другой, и третий, и четвертый. Чемоданов все воеводствовал в Переяславле. К великой досаде Никиты Матвеича,

он там ни в чем не провинился, не сдурил, ничем не навлек на себя немилости. Напротив, Никита Матвеич знал, что царь и сильные люди им весьма даже довольны.

## XVII

В течение этих лет Александр, конечно, и думать забыл о своей маленькой подруге Насте. Он совсем ушел в ученье, в интересы своего Андреевского, так ушел, что иной раз и не замечал, что делается вокруг него в родительском доме.

В весеннюю и летнюю пору, когда он гулял по саду, ему и в голову не приходила мысль о Чемодановых и о Насте. Но высокий забор, воздвигнутый соседом, служил ему службу. У этого забора, в гущине кустов, даже и в самое знойное время было всегда прохладно. Сюда Александр натащит, бывало, сена, да и лежит себе час, другой и третий в полуденную пору за чтением взятой в монастыре книги, за уроком, заданным учеными монахами.

Тут хорошо так и тихо, никто и ничто не нарушает уединения. Тишина и у них в саду, а в соседском саду и еще того тише. Зарос он

совсем в эту сторону, к забору, даже и сторожа чемодановские никогда не заглядывают.

Над головой и неба не видно — так сплелись и переплелись ветки. Куда ни взглянешь — всюду зеленые листья, и только местами просачивается сквозь них золотой солнечный свет и скользит то там, то здесь, будто брызжет золотом.

Иной раз где-то высоко-высоко жужжат пчелы — и опять все тихо, и только церковный благовест, разливаясь в тихом летнем воздухе, нарушает тишину эту, наводя на душу не то грустное, не то сладкое чувство.

Много, много часов в эти годы провел здесь Александр у забора на своем сене, много всяких дум здесь он нашел и остановил.

Бывало, мысли наплывают со всех сторон, обгоняют одна другую — на коленях книги, в руках карманный ножик, — и, сам почти того не замечая, вырезает Александр этим ножиком на заборе свое имя, вырезает его и так и этак, а потом, коли не понравится, совсем срежет и высверлит он вырезанные буквы. И некому попенять ему, что как же это он забор, да еще и чужой, портит...

Кончилось в пять лет тем, что продолбил-таки Александр доску, а когда оказалась она продолбленной да засквозила — сам он себе подивился: зачем такую глупость сделал. Решил он даже позвать плотника и велеть ему заделать дыру. Но решение это как-то все забывалось, а затем мало-помалу явилась привычка, время от времени лежа на сене, заглядывать в это отверстие. Глядеть-то там, конечно, не на что: за забором такие же кусты, такие же листья... Но все же иной раз и это — развлечение.

Так проломленная доска в заборе и осталась. Александр уже совсем вырос, не похож на прежнего, от былой жизни ничего не осталось. Да и не вспоминает он никогда свои детские и отроческие годы, полный живыми, новыми интересами.

— А слышал ты, Алексаша, — как-то сказала ему мать, — ведь соседи-то наши опять на Москву приезжают...

— Нет, не слыхал! — равнодушно ответил он.

— Как же, как же, золотой мой, уж и обозы пришли из Переяславля, людишек ихних

много наехало, через неделю, говорят, и сами будут... Эх, начнутся у нас опять всякие враждованья!.. Отец-то как узнал, осерчал совсем... И-и, не приведи Господи... Как хватит по столу кулаком! «Возвращается, говорит, мой ворог лютый. Ну, несдобровать ему, так либо этак, а вымещу я старую обиду»... Вот оно что, Алексашенька!

— А дочка-то их, Настя, уж заневестилась, — прибавила Антонида Галактионовна иным тоном, — который ей теперь год-то, дай Бог памяти... шестнадцать либо семнадцать, полагать надо. Помнишь ты, чай, Настю, Алексаша?

— Помню, помню, — опять-таки совсем равнодушно ответил Александр.

Какое ему дело до Чемодановых, до Насти? Своего дела всякого у него много. Вот только чего это отец старую вражду поднимать хочет, совсем это нехорошо. Ну, да отца не переделаешь, каким он есть, таким и останется.

И Александр позабыл думать о Чемодановых и их приезде.

Весть, сообщенная Антониде Галактионовне, оказалась верной. Чемоданов уже давно

соскучился в Переяславле, его тянуло снова в Москву, свычаи и обычаи которой он сильно любил, так как здесь ему было больше простору.

В первое время своего воеводства он находил, что лучше быть первым в деревне, чем последним в городе; но теперь ему уже хотелось быть если не первым, то из первых в городе. Захотелось ему получить большое и видное положение на Москве. Воеводская его служба царскому величеству была известна, и он раз даже получил царскую грамоту самого милостивого содержания.

Время от времени он напоминал о себе и обращался к благоприятелям, прося их приглядеть ему в Москве изрядное местечко, какого он заслуживает своим радением.

«А в Переяславле, на воеводстве, мне не сидится, — писал он, — все тихо, слава Богу; что надо было привести в порядок, то я привел, а ныне чувствую большую склонность к царскому посольскому делу».

Благоприятели в ответ ему отписывали о том, о другом, о третьем и о посольских делах, между прочим, но тем это и ограничивалось.

И вот решился Чемоданов на риск, решился сам отказаться от воеводства, приехать снова в Москву и, уже не полагаясь на друзей, которые только на обещания падки, самолично хлопотать за себя перед сильными людьми и царем. Как несколько лет тому назад он мечтал о воеводстве, так мечтал теперь о посольском деле. Оно так согласовывалось с его важностью. Он уже ясно представлял себе, как будет послан с царской грамотой, всякими подарками и тайным государевым наказом к полякам, либо к шведам, либо к самому турецкому султану. Как он будет стоять за государевы интересы, с каким торжеством после удачного окончания посольства будет возвращаться на Москву и как царь его будет за это жаловать.

Так и вернулся Алексей Прохорович с женою и дочерью, поселился в своем доме, повидался со всеми нужными людьми, представлялся и царю, был им благосклонно принят, доложил ему красно и обстоятельно о состоянии Переяславского воеводства и затем бил челом за его службишку дать ему работу в посольском приказе, ибо к этой работе влечет

его сердце.

Просьба его была уважена, и он уже надеялся, что по тревожному времени, требовавшему постоянных сношений с соседними государствами, его немедленно же выберут в послы. Но покуда такого назначения не состоялось.

Старые враги, Чемоданов и Залесский, не раз уже встречались друг с другом и каждый раз повертывались друг к другу спиной. Вражда, совсем уснувшая во время разлуки и в том и в другом, теперь снова разгорелась, и оба они придумывали, чем бы насолить друг другу. Но пока такого случая не представлялось. Владения их соприкасались только в одном месте, именно там, где был воздвигнут теперь высокий забор и куда никто, кроме Александра, не заглядывал. Дворы их выходили на две различные улицы.

# XVIII

Чемоданов приехал в конце лета. Александр, не думая и не помышляя о соседях, продолжал в хорошую погоду забираться на свое любимое местечко на сено и проводить там целые часы за чтением. Хотя и приехали соседи, но тишина и уединение у забора не нарушались ничем. Сад у Чемодановых был огромный; быть может, там, ближе к дому, его теперь и расчистили, но в эту сторону все же никто не заглядывал. Сколько раз ни прикладывал Александр глаз к прорезанной им доске, он ничего нового не видел по ту сторону.

Но вот однажды, это было уже к концу августа, лежа по обычаю на сене, ухом почти у самого отверстия, расслышал Александр за забором какой-то шорох. Он повернул голову и стал глядеть. Шорох приближается, есть кто-то там, за ближними кустами, кто-то раздвигает ветки — и вдруг, в двух шагах от себя, по ту сторону забора, он видит стройную фигуру девушки. Он глядит не шелохнувшись, затаив дыхание... Юное розовое личико с большими

черными глазами, все дышащее свежестью и здоровьем, пышные складки кисейной рубашки вздымаются на высокой груди, голубой шелковый сарафан охватывает гибкий и стройный стан, длинная, темная, перевитая лентой коса спускается до колен. Девушка оглядывается. Что выражается в лице ее — сразу разобрать трудно: любопытство, сожаление о чем-то... Бог ее ведает!..

Вот она склонилась, опустилась на колени на траву, и теперь уже видно ясно, что по лицу ее скользнуло тайное неудовольствие, грусть, досада. Да, она недовольна, чем-то очень недовольна, так недовольна, что того и гляди заплачет.

Это неожиданное и милое видение совсем очаровало Александра, он сразу все вспомнил, узнал в этой склонившейся в двух шагах от него прелестной девушке свою маленькую подругу и, не помня себя, неудержимо воскликнул:

— Настя!

Она так вздрогнула, что даже схватилась рукой за сердце, даже нежная краска сбежала со щек ее. Она не шевелилась, чутко прислу-

шиваясь.

— Настя! — еще раз крикнул Александр.

Она опять вздрогнула, и в лице ее, быстро, быстро сменяя друг друга, промелькнули всевозможные ощущения. Тут был и ужас, и страх, и изумление, и стыд, и радость. Она глядела перед собою и уже не могла теперь не заметить, откуда идет этот голос. Она уже увидела отверстие в заборе... да и как это не заметила его сразу? Что же ей делать? Бежать, скрыться — это была первая мысль, когда мысли явились. Это было первое движение, когда она получила способность двигаться. Но она не убежала, не скрылась.

— Кто же это зовет меня? — проговорила она замирающим голосом.

— Я.

Александр уже справился с собой. Он уже был таким, каким знали его и товарищи, и учителя-монахи, и Федор Михайлович Ртищев, то есть смелым, бойким, находчивым.

— Я зову, я... — заговорил он. — Не бойся, Настя, загляни вот сюда... — и он просунул через отверстие свою руку. — Загляни, тебя от того не убудет, тогда увидишь меня, а уви-

дишь — может, и узнаешь.

Настя закрыла лицо руками, сердце ее так и колотилось, готово было выскочить. Бежать, скрыться... Она действительно приподнялась, но двинулась не назад, а вперед, к самому забору, и вот опять склонилась — и заглянула в отверстие.

И она увидела стройного, красивого юношу с курчавыми волосами, с мягкой русой бородкой.

И она узнала его, да и кто же это мог быть другой? Это он, тот самый Алексаша, которого она так любила, будучи ребенком; с которым повидаться бегала сюда, когда не было тут еще этого высокого забора; Алексаша, из-за кого так больно досталось ее уху от отца пять лет тому назад. Это он, тот самый Алексаша, которого она, по приезде в Переяславль, совсем было забыла, о ком не думала целых три года, да потом вдруг неведомо с чего, года два тому назад, о ком снова стала думать и думала все чаще и чаще, все больше и больше, о ком мечтала, кого представляла себе, кого ждала, из-за кого с такой радостью встретила весть о переезде в Москву; по ком, может, са-

ма того не сознавая, томилась все это последнее время. Это он, о ком думать и мечтать, опять-таки почти бессознательно, пришла сюда, на старое место свиданий, где с тоскою и досадой увидала высокий забор, через который ничего не видно, ничего не слышно...

Вот он какой!.. И он узнал ее, и он глядит так ласково, так... она сама не знает, как глядит он, только ей жутко и сладко от этого взгляда.

— Алексаша! — шепчут ее губы.

## XIX

«Никогда — значит, завтра», — так объяснил себе Александр слова Насти, и, конечно, это объяснение было самым верным, единственным их объяснением.

Прибежав домой, весь конец этого вечера, всю ночь и все утро Настя только и думала о том, что как это нынче неслышно да вяло, словно нитка в веретене под пальцами ленивой пряхи, тянется время. Тревожен был сон Насти, и то и дело просыпалась она, приподымалась с высокой перины и заглядывала в слюдяное оконце — что это так долго не све-

тает!..

Решила она ранним утром, как только мать займется по хозяйству, убежать в сад, туда, к забору, и ждать — придет он либо нет... Но хотя бы и пришел, а ведь она-то будет у забора раньше него и... хорошенько ему попеняет.

«Зовешь, мол, молишь, я тут, а тебя вот и нету!..»

«Милый!» — этим словом заканчивала Настя каждую свою думу.

Но как ни велико было ее нетерпение и страстное желание скорее быть там, у забора, и поджидать его, она все ж таки под утро крепко заснула. Так заснула, что и не видела, как взошло солнце.

Только солнце-то на этот раз глянуло было в слюдяное оконце да и скрылось, будто жаль ему стало своим ясным, горячим светом тревожить утренний сон влюбленной девушки. Скрылось оно, и заволоклось все неведомо откуда собравшимися тучами. Подул над Москвой свежий ветер, тучи росли, охватили полнеба, стали надвигаться дальше и дальше, и через час какой-нибудь все окуталось серой

дымкой и зачастил ненастливый, бесшумный дождик.

Прошел еще час, и другой, и третий. Наконец Настя проснулась; открыла глаза — видит: не темно, да и свету мало. Неужто все еще не рассветает? Что это, будто шумит что-то? Она прислушалась. По желобу с крыши, у самого окошка ее теремка, стекает вода. Так и есть — дождик!

Настя даже громко ахнула.

А может, нет, может, это только так, почудилось?

Она легким прыжком очутилась на полу, подбежала к окошку, подняла кверху его раму, и сердце ее тоскливо заныло. На нее пахнуло холодом и сыростью. Она увидела серое, беспросветное небо, совсем мокрые кусты и деревья сада. Вода так и бежала с крыши; косой частый дождик вмиг смочил ей руки. Она невольно выпустила оконную раму, и та с шумом опустилась...

Настя долго стояла перед окном неподвижно, и глубокая печаль изобразилась на прелестном лице ее, сохранявшем в себе еще много детского. Глядя на нее, можно было по-

думать, что нежданное, ужасное несчастье обрушилось над нею.

Она безнадежно махнула рукой, взобралась на не успевшую еще остыть перину, подобрала под себя свои маленькие похолодевшие ножки и горько, в три ручья, заплакала.

Скоро ей и этого показалось мало: захотелось порыдать, да хорошенько, погромче, в голос... Только боязно: того и жди, мать войдет, не то мамушка, допрашивать будут, приставать, совсем замучают, еще тошнее станет.

Но все же Настя нашла выход. Она зарылась головой в подушки, натянула на себя со всех сторон свое стеганое, теплое одеяло и, устроившись таким образом, дала волю рыданиям. Нарыдалась она порядком, и на сердце у нее от того немного полегчало.

Тогда она выглянула из подушек и начала не спеша одеваться, гадая о том — перестанет к вечеру дождик либо нет. Авось перестанет. Теперь ведь не осень, земля жадная — разом выпьет всю воду, впитает в себя всю сырость — и в сад можно будет выйти после заката...

На этом Настя и успокоилась.

Надежды ее, однако, не оправдались. Дождь шел весь день и весь вечер не переставая, да и на следующее утро было не лучше. Долгое ненастье остановилось над Москвою, и казалось, конца ему не будет. Московские улицы превратились в настоящие болота, а у «Покрова на грязи», где и в июльскую засуху никогда не высыхали огромные лужи и где поэтому весь день раздавалось несмолкаемое гусиное и утиное гоготанье, а по вечерам даже квакали старожилы лягушки, — теперь образовалось разливное море. Не только уже пройти, но и проехать не было никакой возможности — разве что в лодке. Сущее наказанье!..

Сплошные лужи стояли и в чемодановском саду, и, уж конечно, Насте нельзя было не только убежать в глубь сада, но и выйти на крылечко. Да и что бы она стала делать теперь в саду, у забора? Разве он выйдет, разве может он вообразить, что она в такое ненастье выберется из дому? Насте оставалось одно утешение — сидеть по часам у своего оконца и, когда дождь временно затихал, подымать раму и глядеть — не расчищается ли где

на небе, и наблюдать, как внизу, на дворе, часть которого видна из оконца, дворовые ребятишки, подобрав до груди рубашонки, с визгом и смехом купаются в лужах.

Настя совсем изнывала, и ее влюбленность, страстная, мучительная жажда свидания с Александром все росли да росли.

## XX

Александру в эти ненастные дни было не лучше. Само собою — он не зарывался головой в подушки, не плакал, не рыдал, но он был зол на весь мир Божий. В первые два вечера, несмотря на дождь и слякоть, он все же часа по два, а может и больше, проводил у соседнего забора, не чувствуя, как дождевые струи заливаются с веток ему за ворот кафтана, как насквозь промокают сапоги. Он, наверное, знал, что Настя не выйдет и не может выйти — а все же не трогался с места, не отрываясь глядел через проломленную доску на огромные мокрые листья лопухов соседского сада.

В Андреевский он не отправлялся, да туда теперь и проезду-то не было. У себя, в своей

горнице, пробовал он работать — только что-то мало толку выходило из его работы. Смотрит в книгу либо переводит латинскую грамоту и ничего не понимает, поглупел совсем.

А тут еще и такое сотворилось: на пятый день ненастья, в послеобеденную пору, сидел у себя Александр за книгой — и вдруг услышал, как к крыльцу будто кто подъехал. Глянул он в оконце и видит: огромнейшая колымага, шестериком и вся в грязи. Остановилась та колымага у самого крыльца, и вылезает из нее сам Иван Михайлович Матюшкин. Александр свету невзвидел. Этого еще недоставало!..

В первую минуту хотел было он просто уйти из дому, чтобы не видеть Матюшкина, да решил, что только хуже от этого будет — с отцом и не справишься. Нет, надо послушаться совета Ртищева, быть осмотрительным и на угрозу не напрашиваться...

Совсем запыхавшись и в тревоге, вошла к сыну Антонина Галактионовна.

— Санюшка, золотой ты мой, — шептала она перепуганным шепотом, — подь скорее к отцу... зовет... Иван Михайлыч наехал...

— Так ведь он не ко мне, а к батюшке... и прежде наезжал, а меня не звали, — желая знать, не скажет ли мать чего нового, проговорил Александр.

— То было одно время, а ныне другое, — еще испуганнее шепнула Антонида Галактионовна, — свадьбу-то они хотят поскорее сладить, обо всем уж промеж себя перетолковали, теперь только дотолковывают... Вишь ты... Иван-то Михайлыч и на непогоду не посмотрел, сам приехал, великое почтение оказывает... отец-то и рад — почтение любит... Иди ты скорее, Санюшка, не гневи отца... и... упаси тебя Боже... не убей ты меня... покорись отцу... не губи себя и меня...

Она вся задрожала и вдруг повалилась сыну в ноги.

Он совсем растерялся, кинулся подымать ее, но она выпустила его, только когда он обещал ей быть почтительным с отцом и Матюшкиным и ни в чем им не перечить...

Он сошел вниз. В приемном покое, том самом, где он впервые увидел Ртищева, на лавке под образами сидел Матюшкин. Александр давно знал эту фигуру и давно, может по

предчувствию, питал к ней отвращение. Матюшкин был еще не стар, сухощав, держался прямо, вид имел важный, и на первый взгляд его можно было найти даже красивым человеком. Черты его лица были правильны, волосы густы и в кудрях, борода длинная, с проседью...

Но Боже мой, что сделала жизнь из этого лица! Очертаний его она, конечно, не тронула, только наложила на них печать всего, что пережил, передумал, перечувствовал и совершил человек... Не надо обладать какими-либо тайными знаниями, надо только наблюдать и уметь разбираться в своих наблюдениях, чтобы безошибочно, по лицам людей, узнавать их жизнь и свойства их характеров. Стоит вспомнить и проследить во времени знакомые лица. Человек, рожденный некрасивым, год за годом подходя к зрелому возрасту, делается все приятнее и приятнее и, наконец, превращается в прекрасного старца. Он сознательно и доблестно боролся с жизнью, он очистил и возвысил свою душу — и вся эта внутренняя работа отразилась в лице его. Другой человек родился красавцем и в юном своем

возрасте привлекал все взгляды; достигнув средних лет, он подурнел до неузнаваемости, а под вечер своей жизни оказывается отвратительным стариком. Такая перемена в нем не от лет, не от морщин, а только от того, что он принизил, исказил свою душу. Не от нас зависит красота наших телесных очертаний; но только от нас, и ни от кого и ни от чего больше, зависит в течение жизни сделать свое лицо — все равно, красивое ли, дурное ли — привлекательным или отталкивающим. И если слова наши и улыбки обманывают людей, не умеющих или не желающих вглядываться, — никогда лицо наше не обманет серьезного наблюдателя.

Так и лицо Матюшкина, стоило в него вглядеться, производило отталкивающее впечатление. От человека с таким выражением и взглядом нельзя было ждать ничего доброго, искреннего, благородного. Эта была хитрая, бессердечная, жалкая и алчная лисица, находившая теперь для себя выгодным представляться добродушной и ласковой.

— А вот и наш молодец! — с деланной веселостью воскликнул Матюшкин при входе

Александра, который почтительно ему поклонился. — Здорово, братец, здорово! Рад я тебя видеть... с родителем твоим большую дружбу веду, а тебя редко вижу... Что никогда ко мне не наведаешься?.

Александр опустил глаза и ответил:

— Беспокоить тебя боюсь, Иван Михайлович, что я такое, чтобы такого знатного и важного человека утруждать собою... а коли прикажешь, я с превеликим удовольствием у тебя буду и благодарствую за твою милость и ласку...

Проговорив это, Александр невольно вспыхнул и подумал: «Что же это я!.. Эка низость какая... да и не пересолил ли?..»

Но он не пересолил. Никита Михайлович, не ждавший от сына такого разумного и почтительного ответа, а даже не на шутку боявшийся «Лексашкиной дурости и предерзости», в удовольствии стал поглаживать себе бороду. Матюшкин одобрительно кивнул головой и движением руки пригласил Александра поместиться на лавке рядом с собою.

— Та-а-к! — протянул он. — Это хорошо, что ты к старшим почтителен, только и меж-

ду старшими знать надо — от кого тебе может польза быть, а от кого вред один... Вот мы с родителем о тебе толковали... Хочешь ты моего совета послушать али нет?

— За великую для себя честь и милость почту, Иван Михайлович, — опять краснея и опуская глаза, сказал Александр.

— Ну, так слушай. Попал ты, вишь, в руки Ртищеву по оплошности Микиты Матвеевича...

— И николи я себе ту оплошность не прощу... на льстивые обманные слова понадеялся, — ввернул Никита Матвеевич.

— Что сделано, то сделано, — продолжал Матюшкин, — а теперь ты сам должен видеть, не малолеток ведь, что тебе надыть от Ртищева отойти и у других людей, не менее сильных да более благорасположенных, поискать своего счастья... К делу тебе пора пристроиться, и вот я твоему родителю обещаюсь промыслить о тебе и местечко дать, с которого ход бы тебе был хороший... Выучен ты всяким наукам, только науки эти вряд ли пригодны, а коли разум в тебе есть, да коли ты человек, понимающий благодеяния и не за-

бывающий их, — я тебя так устрою... ну, словом, как сына родного... Чувствуешь?

Александр хотел говорить и не мог: уж больно это ему противно стало.

Никита Матвеевич затревожился.

— Чего ж это ты молчишь? — багровея, строгим голосом произнес он, глядя на сына. — Слышал, чай... Али на тебя столбняк нашел?

— И то столбняк... слов не нахожу... не знаю... как благодарить... — с трудом выговорил Александр.

— То-то же, — сказал, успокаиваясь, Никита Матвеевич.

— И не ищи слов, отблагодарить успеешь, — усмехнулся Матюшкин, — я не Ртищев, за посулы благодарности не требую... Так знай: я тебя на сих днях жду к себе, обдумаю я кое-что, переговорю с кем надо...

— Ступай себе! — важно и внушительно объявил Никита Матвеевич.

Александр с превеликою радостью откланялся Матюшкину и вышел.

С полчаса еще, коли не больше, просидел Иван Михайлович в беседе с Залесским. Пу-

стили они оба по нескольку чарочек старой заморской романеи.

Когда колымага именитого гостя отъехала, Никита Матвеевич захлопал в ладоши и на весь дом кликнул сына. Антонида Галактионовна услышала этот зычный голос, да как шла через комнату, так со страху и присела на пол. Александр подбодрил себя, успокоил и сошел к отцу.

— Что приказать изволишь, батюшка?

— А вот что, сынок: у нас ныне четверток, а в воскресенье после обедни едем мы с тобою к Ивану Михайловичу. Все облажено. Готовься к венцу... времени терять нечего.

Александр молчал.

— Чего ты молчишь? — раздраженно крикнул отец. — Дурость-то твою из головы вышибло?

— Вышибло... — растерянно проговорил Александр.

— Как ты говоришь?

— Вышибло, говорю... Я против твоей воли идти не могу... Об одном прошу: не торопи ты меня, батюшка, дай оглядеться...

— Сколько же это тебе времени огляды-

ваться и чего оглядываться-то?.. Эх, Лексашка, говорю: не дури и не перечь мне...

— Ну хоть месяц дай сроку, батюшка...

— Пустое!.. Да что ты, девка, что ли, чтоб ломаться!.. Другой в ноги бы поклонился... ведь Матюшкин... он что обещает-то!.. Как только обвенчают вас, так он царю о тебе челом бить будет...

— Я в твоей воле, — бледнея, выговорил Александр.

## XXI

Ночью с четверга на пятницу наконец прояснило. Свежий ветер стих, и еще на заре повеяло вешним теплом. Солнце взошло весело, и при первых же лучах его остатки вчерашних туч растаяли на небосклоне. Часа через три солнце поднялось уж высоко в безоблачном небе, душистый запах пышно распустившихся веток сирени и черемухи стоял в теплом, неподвижном, будто замороженном воздухе. Земля, пресыщенная и упоенная, быстро просыхала.

Когда Александр вышел утром на крыльцо и глянул кругом себя — он невольно широко

перекрестился и громко вымолвил: «Слава Тебе, Господи!» Это улыбавшееся ему теплое летнее утро призывало ето к успешному и решительному действию и своим безмятежным светом будто сулило ему удачу.

Ведь и то, времени терять было нечего, надо было немедля добыть Федора Михайловича Ртищева, поведать ему вчерашнее, убедить его в родительском упрямстве и просить скорой помощи. Ртищев сам увидит, что если эта помощь не придет до воскресенья, то, по всему судя, неминучая беда ждет Александра...

Но прежде чем идти искать Ртищева во дворце либо в Андреевском, Александр первым делом поспешил в сад. Сердце громко говорило ему, что Настя там, среди заповедных лопухов, что она ждет его.

И сердце его не обмануло. Когда он осторожно, бесшумно вынул все еще влажный от дождя кусок доски и заглянул в отверстие — первое, что он увидел, были глаза Насти. Она глядела прямо на него, но делала вид, что его не замечает.

— Настя, — шепнул он, — я здесь.

Она и теперь еще хотела притвориться, будто не слышит его, но не смогла этого. Густая краска сразу залила хорошенькое, полное весенней свежести и тепла девичье личико. Рука Александра поймала ее руку. Но так они не могли говорить, то есть должны были говорить слишком громко, а потому руки их разомкнулись, и оба они припали лицами к отверстию в заборе.

— Я уйду, — строгим шепотом говорила Настя, — да и тебе, видно, недосуг... Ждала я, ждала...

— Прости... ведь сыро было... ну, мог ли я помыслить, что ты в этакую рань придешь... — страстно отвечал он, ужасаясь, что потерял столько дорогого, блаженного времени, и вместе с этим радуясь, что она ждала, ждала его!

Однако так говорить — глазами и носом к сырой и шершавой, пахнувшей грибами и плесенью доске — было куда неловко и обидно. Вдруг никогда до этой минуты не приходившая мысль пришла в голову.

— Батюшки! Ну, что ж это я за дурень! — воскликнул Александр, да так громко и с та-

кой злобой на себя, что Настя перепугалась.

— Что такое? Что сталось? — тревожно спрашивала она.

— Да как же не дурень! — все с большим и большим негодованием на себя продолжал он. — Разве так можно нам быть... когда этот проклятый забор между нами?

Настя не понимала.

— А то как же? — в недоумении прошептала она.

— А так вот, что я давно должен был прорубить две доски и устроить, чтобы можно было вынимать их, а потом опять вкладывать... И легко это, ничего нет трудного тут, только время надо, чтобы сделать без шуму, с опаской... ночью надо было сделать... Ну, не дурень я?

— И-и, что с тобою, как тебе такое и на мысль взбрело! — даже руками замахала Настя. — Да ежели ты доски выломаешь, я к забору — ни ногой... Только ты меня и видел...

Но уж новая мысль появилась в голове Александра...

— Ладно! — сказал он, вставая на ноги и глядя на забор, до самого его верху утыканно-

го кольями. На аршин с небольшим выше от отверстия он увидел в доске плохо соструганный толстый сучок, настолько плохо соструганный, что он мог служить мгновенной точкой опоры. Еще выше к забору протянулась крепкая ветка березы и почти совсем прилегла на забор. С той стороны, в чемодановском саду, тоже большие кусты и деревья, авось и там есть за что зацепиться...

Все это Александр увидел и сообразил настолько быстро, насколько требовательно и сильно было в нем неудержимое желание увидеть и обнять Настю. Не задумываясь больше, он подпрыгнул, вложил ногу в отверстие, рискуя, что носок его сапога может очутиться почти в соприкосновении с личиком Насти, ухватился за сучок в заборе и потом, изловчившись, дотянулся до ветки березы. Главная трудность была побеждена. Оставались колья; но через миг два из них, по счастью уже несколько подгнившие, были сворочены сильной рукой. Прежде чем Настя могла сообразить, что это такое происходит, она с истинным ужасом увидела высоко над собою, на верхушке забора, Александра.

Она хотела крикнуть и не могла, совсем застыла на месте с прижатыми на груди руками и, широко раскрыв глаза, глядела не мигая.

Между тем Александр сразу убедился, что в чемодановском саду древесные ветки будто нарочно так расположились, чтобы дать ему возможность без всяких затруднений спуститься на землю. Казалось — эти умные ветки громко, чуть не на языке человеческом, приглашают его скорее довериться им и достигнуть страстно желаемой цели. Он не заставил просить себя, и Настя успела только слабо вскрикнуть, очутясь в его крепких объятиях.

Она не защищалась, не думала о бегстве. То, что случилось, было для нее такой неожиданностью и так ее поразило, что показалось сном. Она потеряла всякую способность соображать, у нее кружилась голова, мутилось в глазах — и она только отвечала бессознательными поцелуями на его поцелуи. Сколько времени они целовались и обнимались — сказать трудно: и слишком долго, и слишком мало. Но на земле всему, даже и весенним по-

целуям, бывает конец, а потому Александр и Настя все-таки перестали целоваться. Когда они перестали целоваться, то несколько пришли в себя, и Настя поняла, что они не во сне. Она закрыла лицо руками и заплакала. Только опять-таки трудно сказать — отчего она больше плакала: от девичьего ли стыда или от того, что так скоро кончились эти сладкие поцелуи и нельзя, страшно снова к ним вернуться. Она отчаянно, сквозь слезы, несколько раз повторила:

— Ахти мне... что я наделала!.. Стыд какой!.. Бога ради уходи... не губи ты меня!..

Но вдруг ее слезы и причитанья остановились, она взглянула на Александра, крепко обхватила его шею руками и вся так к нему и прильнула.

В это время в двух шагах от них зашуршали кем-то раздвигаемые ветки, и в рамке из зелени показалось бородатое лицо Алексея Прохоровича Чемоданова.

## XXII

Вот и обмануло радостное утро, сулившее удачу!.. Как же случилась такая напасть? Да очень просто. И Алексей Прохорович, несмотря на свои зрелые годы, важность и серьезный склад мыслей, все же не был настолько черств душою, чтобы оставаться равнодушным к красотам природы. Долгое ненастье изрядно ему надоело, и ясное, душистое утро заставило его выйти в сад прогуляться. От жены он узнал, что Настя еще раньше него гулять побежала.

Походив несколько минут перед домом, оглядев все хозяйским оком, Алексей Прохорович пошел вдоль дорожки, обсаженной липами. В конце этой дорожки были лушайки, и здесь, среди кустов сирени, стояла скамья, привычное место отдохновений и честолюбивых дум и мечтаний Чемоданова. Скамья эта была теперь на солнышке, а солнышко не пекло еще, а только приятно грело.

Вот и поместился на скамью свою любимую Алексей Прохорович, расстегнул кафтан, поглядел на безоблачное небо, прислушался

к птичьему щебетанию, стал вдыхать своей широкой, могучей грудью душистый воздух. Хорошо ему стало, даже ни о чем не думалось, ничего не желалось...

Только вдруг вспомнил он о дочери и, естественно, остановился на мысли — куда же это она делась? Домой пройти так, чтобы он ее не приметил, она не могла, нигде ее не видно и не слышно. Взглянул он перед собою на густую, свежую траву лужайки, еще не совсем просохшую, и увидел, что трава примята по направлению к деревьям и кустам, за которыми скрыт высокий забор, отделяющий его владения от владений ненавистного соседа.

След на траве свежий... Чей он? Конечно, Насти. Так где же она? Зачем туда пошла и что там делает?.. Ведь там чащоба, все заросло — только одежду она себе попортит да оборвет о репейники...

Он поднялся со скамьи и пошел по следу. След привел его к самой гущине кустов, через которые надо было уж не без труда пробираться.

Алексей Прохорович остановился, хотел было крикнуть: «Настя!», — да не успел еще

раскрыть рта, как услышал неподалеку нечто весьма странное; кто-то как бы обломал ветку, что ли, — явственно слышно было, как хрустнуло раз и другой дерево.

Чемоданов даже позабыл в это мгновение о дочери. В нем проснулось чувство бережливого хозяина. У него в саду что-то ломают, портят. Он прислушался. Неподалеку зашумели ветви... потом будто упало что... потом — молчание...

Он стоял и слушал, долго стоял и слушал — все тихо. Однако что ж это такое?.. Он вспомнил про Настю, и вдруг в нем шевельнулось какое-то неясное, смущающее подозрение. Он не дал ему в себе упрочиться, подавил его, но все же, нагибаясь и тяжело дыша, стал осторожно пробираться сквозь кусты. На каждом шагу он останавливался и прислушивался... и вот близко от себя, совсем близко он расслышал явственный звук поцелуя.

Алексей Прохорович кинулся вперед, раздвинул кусты и увидел свою дочь, обнимающую и целующую неведомо какого молодого человека...

Алексей Прохорович свету невзвидел. Из

груди его вырвался какой-то почти нечеловеческий крик, и в первую минуту он только этим криком и заявил о своем присутствии.

Молодые люди очнулись. Настя отчаянно завизжала и со всех ног кинулась в кусты от отца. Александр уже ухватился за дерево, чтобы скорее взобраться на забор, но крепкая рука опамятовавшегося Чемоданова схватила его за шиворот и тряхнула так, что разом отлетело несколько застежек от кафтана.

— Убью! — прорычал Алексей Прохорович, стараясь подмять под себя своего неведомого злодея. Но Александр не потерялся. Он был ловок и силен, он извернулся и так оттолкнул от себя грузного Чемоданова, что тот не удержался на ногах. Воспользовавшись этим, молодой человек вскарабкался на дерево и в несколько ловких движений, цепляясь, как белка, достиг верхушки забора. Чемоданов поднялся на ноги и, задыхаясь от обиды и бешенства, крикнул:

— Трус подлый! Вор!

Александр, уже готовый спуститься с забора в свой сад и находившийся в полной безопасности, остановился, держась за колья на-

верху забора. Слова Чемоданова обдали его будто кипятком, и в то же время на него нахлынуло спокойствие и решимость.

— Нет, Алексей Прохорович, я не трус и не вор, — сказал он, — а что без вины сильно виноват я перед тобою — это верно, и как бы ты ни бранил и ни поносил меня — я вынесу, должен вынести...

— Да кто ты, кто ты, анафема? — завопил Чемоданов.

— Я Александр Залесский.

Чемоданов побагровел, задрожал, разинул рот и не мог произнести слова. На него глядеть было страшно. Между тем Александр продолжал:

— Знал я тебя, Алексей Прохорович, в детстве моем и почитал от всего сердца... с дочкой твоей, ведомо тебе, рос я вместе... назначили вы нас друг другу... Что вы с родителем моим свару завели и вражду — в том ни я, ни Настя не повинны. Любы мы друг другу и хотим быть и перед Богом, и перед людьми мужем и женою. В том нет греха... Прости меня, Алексей Прохорович, и будь ко мне милоетив, а я тебе, Богом клянусь, по гроб жизни верен

и почтителен пребуду.

— Пащенок, ты еще издеваешься надо мною! — прохрипел Чемоданов. — Слезай сейчас сюда... я убью тебя, негодного, как собаку, за поругание моей чести!

— Над твоей честью никакого поругания я не сделал, а что целовал невесту мою, Настю, от этого не отпираюсь, убивать себя не дам, а ежели ты погубить вздумаешь единственную дочь свою, то ответишь Богу.

С этими словами Александр скрылся по ту сторону забора.

Чемоданов долгое время не мог опомниться и стоял неподвижно среди огромных примятых лопухов. На слова Александра он не обратил внимания, да и вряд ли их слышал. Он знал только одно, что над ним надругался сын его ненавистного врага, о котором и вспомнить-то ему было тошно. Если б в первую минуту нахлынувшего гнева Александр не сумел от него вырваться и влезть на забор, куда грузному и неповоротливому Алексею Прохоровичу нечего было и думать за ним гнаться, он, может быть, и действительно убил бы его. Но первая минута гнева

прошла — и воевода уже начинал овладевать собою.

Человек он был характера спокойного, рассудительного, не терялся и всякую беду, всякое затруднение умел обсудить со всех сторон. Недаром ведь чувствовал он склонность к посольскому делу.

Когда волнение крови утихло и в голову перестало стучать, Алексей Прохорович выбрался из кустов, дошел до своей скамьи под сиренями, грузно опустился на нее, свесил бороду на грудь и принялся обдумывать свое положение.

Как быть? Выдать Настю за Алексашу Залесского? Но воевода сразу и бесповоротно решил, что «такой пакости не бывать». Да, не бывать, а между тем как же избыть все это и что делать с Настей? Свою единственную хорошенькую Настю он любил крепко, даже гораздо крепче, чем ему казалось. Изводить ее и губить — он об этом не мог и помыслить, и у него оставалась одна надежда, что еще ничего не потеряно, что Настя не так виновата, как ему показалось сразу. Может, тот негодяй подстерег ее, соскочил с забора неждан-

но-негаданно, испугал ее.

Но ведь он помнил, что увидел, как Настя сама обнимала и целовала негодяя! Забыть об этом он не мог, не мот заставить себя не помнить этого... И как ни поворачивал он, как ни искал выхода — ничего не выходило.

«По вражде Залесские приворожили девку! — вдруг решил он. — Да, это Микиткиных рук дело, он заодно с сыном тут орудовал!.. По вражде, по злобе лютой чести меня лишить, опозорить дочь мою единственную задумал!.. Вот оно что, и не может быть иного. Так ведь за колдовство, за приворот, за порчу... казнь!.. Казнить их, злодеев!.. Идти к царю, все поведать ему, бить челом... он не попустит — он прикажет судить их и казнить!»

Алексей Прохорович остановился на этой мысли, и если б сейчас он увидел царя, то и бил бы ему челом, и требовал бы казни Залесских. Но прошло две-три минуты — и он сообразил, что если даже и добьется пытки и казни врагов, то вместе с этим вынесет свой позор на улицу. Залесских-то погубит либо нет — вон ведь за них есть кому заступиться! — а самому с Настей уж не жить. После та-

кого дела, после огласки да позору одно останется: все бросить, уехать с женой и дочерью в дальнюю вотчину и зачахнуть там, хоронясь от людского ока. Но против такого конца возмущалась вся душа Алексея Прохоровича: не к тому он направил жизнь свою.

Дело оказалось превыше разума человеческого, и мудрейшие головы посольского приказа не могли бы разобрать его.

## XXIII

Положение Александра хоть и было тоже весьма тяжко, но все же у него сразу являлась надежда, представлялся выход. Есть у кого попросить совета и защиты, есть на кого опереться. Он кинулся к Ртищеву. К своему счастью, он захватил его во дворце царском.

По мере того как он без утайки рассказывал Федору Михайловичу свои беды и напасти, тот все больше чему-то радовался и даже руки себе потирал от удовольствия.

Когда Александр кончил свой рассказ, Ртищев вдруг засмеялся тем звонким, веселым смехом, который в нем всегда так нравился юноше. Но на этот раз такой смех был обиден.

— Федор Михайлыч, что ж это ты? Неужто я только смеха достоин? — бледнея, проговорил Александр.

— Вовсе не ты смеха достоин, а постой малость — сам смеяться будешь, — успокаиваясь, ответил Ртищев и продолжал: — Слушай. Я ведь твоего дела не забыл, и как ты ушел тогда от меня, тотчас же приступил к действию... Ведомо ли тебе, что на Москву прислано от дука венецейского посольство?

— Ведомо, сам ты мне о том, Федор Михайлович, сказывал.

— А знаешь ли, по каким делам то посольство из славного морского града Венеции к нам прибыло?

— Того не знаю.

— Видишь ты, венециане народ сильный и богатый, республика их владеет большой силою, а все ж таки турки не дают тем венецианам покою. Значит, у них с нами враг общий. Вот и прислал дук посольство к царю нашему батюшке, заслышав о преславных победах оружия царского в областях польских. Молить о помощи, просить его царское величество, чтобы приказать изволил донским каза-

кам грянуть на турок и тем самым отвлечь их от Венеции, дать ей малость вздохнуть да собраться с силами. И другая есть у дука просьба — бьет он челом, дабы позволил царь венецианам вольную торговлю в Архангельске.

Александр начинал томиться — он не мог сообразить, куда это клонит Ртищев и какое может быть отношение между посольством венецианского дука и трудным положением его, Александра.

Между тем Ртищев продолжал:

— Все это ладно — и казаков донских на турок напустить можно, и венецианам вольную торговлю в Архангельске дозволить не Бог весть чего стоит... Да вот в чем беда: больно туго нам самим теперь приходится — одну войну, польскую, к концу приводим, а другая уж надвигается... швед на нас зубами щелкает... Казна царская пришла в истощение, а на военные потребы много казны требуется... И был у царя совет, и я был на том совете; решено: всякую подмогу оказать дуку венецейскому, но с тем лишь, чтобы и он помог нам казною, благо казны у Венеции много. Сего дня надумал государь послать в Венецию посоль-

ство, чтобы то посольство дуку все как есть втолковало, денег у него попросило и привезло их на военные наши нужды в достаточном количестве...

Александр все еще не понимал; но у него уже с чего-то похолодело сердце.

— Стали толковать о том, кого бы послать в Венецию, чтобы в грязь лицом не ударить, — между тем говорил Ртищев, — и выбрали человека важного, обстоятельного, такого, что сумеет на своем поставить и русской честью не поступиться, не осрамиться... На подмогу сему послу, для дел тонких и всяких хитростей ловкого дьяка назначили... Ну, о подарках дуку, о людях посольских, о всякой провизии дорожной, о расходах и прочем — все обсудили. Тогда я и говорю государю: так, мол, и так, хоша оно, конечно, переводчика там легко достать для разговоров с дуком и иными властями, а все же тот переводчик, Бог его знает, каков еще окажется... может, перепутает что, не так передаст... Своего бы переводчика, хорошо знакомого с латинской грамотой и разговором, иметь при посольстве надо... «Откуда ж взять такого?» —

говорит государь. А я ему: да из Андреевского, мол...

— Батюшка, Федор Михайлыч, так неужто это ты меня? — бледнея, воскликнул Александр.

Ртищев усмехнулся.

— Тебя. И государь уже решил... и завтра я тебя веду к государю.

— Из Москвы... теперь? — растерянно повторил Александр.

Ртищев подернул плечом, что у него было знаком неудовольствия:

— Что ж, оставаться здесь и жениться на Матюшкиной лучше?.. Тряхни-ка, братец, разумом да поразмысли... Жениться тебе рано — ничего еще ты не видел... год времени и ты подождешь, и невеста подождет... Годик в разлуке — вам обоим на пользу великую будет. Эх, Александр, радоваться ты должен да благодарить меня — вот что. Подумай только, чего-чего ты в этот год не наглядишься, чего-чего не узнаешь! Завидую я тебе.

— Да и я бы завидовал, — произнес Александр, — и я бы радовался и руки тебе целовал... до встречи с Настей.

— И это я, братец, понимаю, только говорю опять: потерпи малость. Завтра я тебя к царю сведу и уповаю, что ты меня не посрамишь перед царским величеством. Дела же все твои устрою, ручаюсь тебе в том. Никита Матвеевич и Матюшкин о женитьбе твоей и не заикнутся... Настя будет ждать тебя, а когда ты, с Божьею помощью, из путешествия вернешься — попирую я у тебя на свадьбе... Да что ж ты меня не спросишь — кто послом-то назначен, к кому ты под начало попадешь?

— Кто?

— Послом его царского величества в Венецию назначается бывший переяславский воевода, Алексей Прохорович Чемоданов.

Александр вскочил с места.

— Что ж это такое? — в ужасе крикнул он. — Да ведь это моя погибель!

— Кабы это была твоя погибель — я не стал бы смеяться, — весело сказал Ртищев, — а я вот без смеху подумать не могу о том, как оно пречудесно вышло. Что ты — баба али человек со смыслом? В год времени ты с твоим будущим тестем изволь-ка подружиться хорошенько. А что он тебя забижать на первых

порах не посмеет — в том опять-таки я тебе порукой.

Ртищев замолчал. Молчал и Александр. Самые противоречивые мысли и чувства боролись в нем. И вот он вдруг сразу взглянул совсем иначе на свое дело.

Настя... разлука... год целый... да ведь много ли год?.. А впереди — ширь какая, даль какая чудная, заманчивая! Все мечты, давно манившие, осуществляются... Увидеть мир Божий, чужие земли, чужие народы, чудеса заморские, все, что таким дивным представлялось при первом намеке, встреченном в книге... Все увидеть, узнать, испытать... Путешествие... на корабле... опасности, бури, приключения... Боже, как хорошо, как чудно!

Юные силы закипели в Александре, просили, требовали борьбы, простора — и борьба и простор шли навстречу.

Александр преобразился. Глаза засияли, румянец залил щеки. Он кинулся к Ртищеву, обнимал его, целовал ему руки.

— Ну, то-то же, то-то же!.. Понял! — говорил совсем растроганный Федор Михайлович.

# XXIV

Благочестивейший, «тишайший» царь Алексей Михайлович достиг уже в те годы полного расцвета своих духовных и телесных сил. Возрастом еще совсем молодой человек, он и по обстоятельствам своей жизни, и по своим врожденным свойствам рано отлился в тот определенный, цельный, крайне интересный и привлекательный для беспристрастного исследователя образ, который сохранил до конца жизни.

Наименования благочестивейшего и тишайшего представляют самую верную его характеристику. Глубокое благочестие и «тихость», то есть спокойствие, чуждое, однако, безжизненности и вялости, было основой его природы. Обладая прекрасными способностями, ясным умом и справедливым сердцем, он обошел все подводные камни, воздвигнутые судьбою на его пути.

После царя Михаила Федоровича он остался юношей во главе обширного неустроенного государства, требовавшего громадных сил для своего устроения. Конечно, со стороны

ближних людей было сделано все, чтобы обезличить юного властелина, превратить его в удобное и мягкое как воск орудие к достижению самых разнородных целей, не имеющих ничего общего с истинным благом государства. Нет сомнения и в том, что в первые годы борьба была слишком неравна, и неопытный юноша не раз подчинялся дурному влиянию приближенных, а главное — влиянию великого честолюбца, боярина Морозова.

Но все же ни Морозову, ни кому другому не удалось обезличить царя и воспитать его для себя, а не для России. Юноша неутомимо работал, вглядывался, вслушивался, интересовался всем и решал все вопросы прежде всего «про себя», с двумя верными советниками — со своим разумом и со своим сердцем. Незаметно, но неустанно, а потому быстро во всех существенных вопросах он освобождался из-под чуждых влияний.

Он был проникнут глубоким сознанием своего великого призвания. Он с юных лет чувствовал себя самодержавным, следовательно, ответственным перед Богом царем —

и всею душою, в искренней, теплой молитве прибегал под защиту и руководительство Божественного Промысла. Его истинное самодержавие выражалось не в грозе и страхе, а в спокойном благоволении, за которым чувствовалась именно твердая «ко всякому благу воля». Его во многих отношениях знаменательное и важное для судеб России царствование носит на себе явную печать его тихого и вдумчивого, спокойно-царственного образа.

Он не был способен на такую борьбу, гром и блеск которой доносятся до небес и проникают в глубину моря. Он не мог в могучем и вдохновенном порыве ломать громадное здание и перестраивать его заново. Но он был именно тот человек, который в силах расчистить путь для победного шествия исполина рушителя-строителя, подготовить материал для его гигантской работы. В этой подготовке материала, в этой расчистке пути для великого преобразователя заключалась миссия царя Алексея Михайловича — и он выполнил ее блистательно.

Как сознательно, так и бессознательно, по требованию своей духовной природы царь

стремился ко всяческому согласию и благообразию. Ежедневно сталкиваясь тем или иным путем с самыми разнообразными проявлениями современной ему русской жизни, он не мог не видеть и не чувствовать, что в этой жизни далеко не все — согласие и благообразие.

Такой человек, как он, полный сознанием своего призвания, конечно, должен был любить родину всей душой и неусыпно думать о судьбе ее. Откуда же добыть идеал красоты, осуществление заветных согласия и благообразия, к которым он стремился? Он знал, что не найдет этого на Востоке, на том Востоке, который так дорого обошелся России. Он имел самое высокое, не проверенное личным знакомством представление о Западе, узнавал постоянно о самых лучших сторонах западного просвещения и жизни. Поэтому естественно, что всякое благо, необходимое для России, ему представлялось идущим с Запада. Ему постоянно в тихих мечтах грезилось то, что великий сын его и преемник разглядел наяву своим орлиным взглядом, что он поднял на могучие рамена свои и перенес на род-

ную почву, предоставив потомкам в поте лица разобрать эту громадную, завещанную им ношу.

Царь Алексей Михайлович не упускал никакого случая, дававшего ему возможность сближения с Западной Европой. Поэтому мысль о посольстве в Венецию весьма его заинтересовала. Вечером, оставшись наедине с Ртищевым, он снова вернулся к этому предмету, что было на руку Федору Михайловичу. При этом постельничий приметил, что царь как-то особенно благодушен и весел. Он воспользовался этим и подробно рассказал о злоключениях своего ученика и любимца, Александра Залесского.

Царь очень заинтересовался судьбой молодого человека, от души посмеялся, подивился стечению обстоятельств и сказал:

— Оно и забавно, да и поучения достойно... Дело житейское, но и в таком деле виден перст Божий. Насадить на место вражды и зла родство и любовь — дело благое, и я такое дело возьму на себя с радостью... А и занятно же, право! Только будем мы с тобою, Федор Михайлыч, держать все сие промеж себя в

тайне. Ты — ни гугу, и я тоже. Привези завтра ко мне пораньше своего разумника, погляжу я на него... Только чтоб об этом досужие языки попусту не болтали, проведи ты его не через постельное крыльцо, а черным ходом.

— В точности исполню, государь, приказ твоего величества... Порадовал ты мое сердце милостью к моему парнишке, — тихо произнес Ртищев, откланиваясь царю.

— А ты, видно, крепко его любишь, Михайлыч?

— Крепко, государь!.. Парень-то больно хорош, не парень, а золото... честью послужит... жду я от него немало пользы.

— Ну, и слава Богу, — сказал ласковый царь, прощаясь со своим преданным и любимым слугою-другом.

# XXV

Ранние обедни отошли. Солнце начинает припекать. По улицам просыхают лужи, оставшиеся после недавнего ненастья; но пыли еще нет. И весь город, залитый солнечным светом, разукрашенный свежей зеленью, наполненный веселым воробьиным щебетанием, имеет праздничный вид.

Грузная колымага катится по направлению к царскому дворцу. Кучер кричит на прохожих, поспешно бросающихся в сторону от этого беспощадного окрика. Еще несколько минут — и колымага остановилась, не доезжая до дворца.

Тут уже вытянулись в линию и другие колымаги. Съезд не малый. Ближе ко дворцу приезжих не пускают, и какова бы ни была погода, надо вылезать из экипажа и до крыльца идти пешком.

Из остановившейся колымаги вышел толстый человек величественного вида, одетый в богатый парадный кафтан, очевидно сшитый давно, но не часто надевавшийся и теперь значительно узкий для раздавшейся

вширь важной фигуры. Приехавший, выйдя из колымаги, огляделся, снял высокую свою шапку, помолился на церкви и, медленно расправляя засидевшиеся в непривычном положении ноги, пошел к царскому крыльцу.

Глядя на этого медленно и важно шедшего человека, трудно было решить — с радостью или с неудовольствием идет он во дворец. Важность в нем великая, осанка горделивая, замечается и довольство; а в то же время на лице не то смущение, не то большая забота изображается. Оно и немудрено, так как этот важный человек, облеченный в парадный богатый кафтан, не кто иной, как Алексей Прохорович Чемоданов.

Накануне к вечеру он получил приказание явиться утром, после ранней обедни, во дворец. Ему нежданно и негаданно объявлена была большая царская милость — исполнилось давнейшее его желание, мечта долгих лет превратилась в действительность. Царь назначает его послом к дуку венецианскому.

В первую минуту, узнав об этом, он не помнил себя от радости. Такое оказанное ему отличие и доверие царское сразу вышибло из

его головы всю беду, стрясшуюся над ним утром. Забыл он и про свою Настю, и про врагов Залесских, забыл про все.

«Ишь ты... в Венецию... к дуку... шутка! — повторял он громко. — Оно, конечно, лучше бы к шведу, либо к ляху. Ближе, безопаснее, знакомее. А то ишь ты — за море к итальянцам... Шутка! Еще как доедешь...»

Он задумался и соображал:

«Да ведь это что же такое!.. Ведь это значит — по морю, вокруг света, на корабле! Господи, страсти какие! Ведь переводчик-то в посольском приказе что рассказывал про пути морские — бури, кораблекрушения. Десять раз Богу душу отдашь, раньше чем доедешь...»

Первая радость проходила и уступала место невольному страху. Являлась мысль и о жене, и о Насте, о доме. Что-то начинало сосать сердце...

Но вдруг надо всеми этими ощущениями поднималась мысль: «Велико царское доверие, знать, Чемоданов умен, знать, у него голова на месте!.. Видно, никого умнее не нашли! Да и где же найти-то... Слава Тебе, Госпо-

ди, — и о нас вспомнили!..»

И опять что-то шевелилось в сердце, но уж не тоскливое.

«Царь-батюшка выбрал, большое дело, первостепенной важности, поручает, доверяет... на разум и верность воеводы Чемоданова надеется — так уж чего же тут, к чему думать о пути дальнем, о трудностях и напастях!.. Большое отличие, большая милость!..»

Тревожную ночь провел Алексей Прохорович, все думая о предстоящем ему деле, о предстоящем ему пути. А когда засыпал, мерещились ему ни с чем не сообразные, все такие приятные вещи.

Только вот как поехал он во дворец, вдруг назойливо стало припоминаться вчерашнее. И началось-то припоминание с такой мысли, что «вот, мол, злодей Залесский — на-ка, выкуси! вот в какой чести мы, а ты что?»

Но вслед за этим представилось: «А обида? А Настя?.. Уедет он — и что же тогда будет? А разве может он эти дела так оставить. Нет, надо воспользоваться обстоятельствами, воспользоваться царской милостью и осторожно улучить минуту, бить челом. Пусть царь рас-

судит».

Он остановился на мысли просить у царя милости: немного времени беседы с глазу на глаз о своей обиде.

Обо всем этом думал Алексей Прохорович, подходя к «крыльцу постельному», где под навесом, в прохладе, собралось уже немало более или менее чиновного люда, имевшего обычай и право толкаться здесь с делом и без дела с утра до ночи.

Алексею Прохоровичу это «постельное крыльцо» давно было знакомо, как свои пять пальцев на руке. Немало часов своей жизни провел он здесь вместе с разными дворянами, стольниками, стряпчими и дьяками, подобно ему стремившимися заручиться если уж не царской милостью, то, по меньшей мере, милостью какого-нибудь близкого царю человека.

Подобно всем прочим, здесь он терзался затаенной завистью к тем людям, которые имели право входа в Верх, в покои государевы. Здесь он после многих неизбежных поклонов, подслуживаний и всяких хитростей добыл для себя переяславское воеводство,

давшее ему возможность кое-когда и в Верх заглядывать.

Теперь он уже шел прямо в Верх, гордо подняв голову и благосклонно кланяясь направо и налево с приятным сознанием, что и ему теперь завидуют точно так же, как и он другим в свое время завидовал.

Попав в Верх, он на несколько мгновений остановился. Он был здесь все же весьма редким гостем и боялся, как бы ему не заблудиться в царских покоях, не подать вида, что он не знает куда идти. Но Передняя, то есть именно та палата, к которой стремились мечты и мысли всех находившихся на постельном крыльце, была недалеко, до нее надо было пройти всего три-четыре небольших покоя.

Алексей Прохорович полюбовался дорогим убранством этих покоев: красным тесом тонкой столярной резьбы, которым были обшиты потолки и стены, дорогим сукном, атласом и парчою, персидскими коврами, затейливыми, из-за моря вывезенными столами и всякою невидалью.

«Велико царское богатство, и красны царские палаты, — подумал Алексей Прохоро-

вич, — там за морем у этого самого дука венецианского, чай, поплоше будет...»

Но на этой мысли ему не пришлось остановиться, так как он входил в Переднюю и очутился среди сильных людей, царских приближенных. Он мгновенно преобразился, спрятал куда-то весь этот горделивый вид и важность и начал отвешивать на все стороны низкие поклоны. Ему отвечали довольно ласково, но все же сразу было видно, что здесь он не свой человек, что на него смотрят сверху вниз.

## XXVI

Вдруг среди собравшихся произошло какое-то общее движение. Двери, ведшие из Передней в «комнату», то есть туда, где царь обыкновенно работал и куда доступ был только самым близким людям, отворились, и на пороге показался царь.

Так как день был непраздничный и не было никакого особенного парадного приема, то царь вышел запросто, в домашнем кафтане из тонкого сукна, обрисовывавшем его еще довольно стройную, но уже начинавшую

сильно полнеть фигуру. Спокойное и красивое молодое лицо царя выражало то внутреннее благодушие, которое ему почти всегда было присуще.

Вся толпа царедворцев и с нею вместе и Алексей Прохорович как один человек склонились ниже чем в пояс. И царь ответил всем ласковым поклоном, а потом мерной походкой подошел к красному углу, поднялся на возвышение, обтянутое ярким сукном, и сел на большое парчовое кресло, предварительно устремив взгляд на образа и набожно перекрестившись. Закрестились вслед за царем и все собравшиеся.

Царь вышел из комнаты не один; за ним в передней появился боярин Морозов, в последнее время вследствие разных неприятностей и не раз высказывавшегося к нему народного нерасположения изрядно постаревший, но все еще полный сил и сознания своего значения. Рядом с ним был Ртищев.

Морозов быстро, привычным взглядом оглядел всех и остановил свои черные, многим казавшиеся мрачными и страшными глаза на Чемоданове.

Алексей Прохорович почувствовал, как внезапно кровь кинулась ему в голову и залила щеки. Морозов подошел к нему и с видимым благоволением шепнул:

— Проходи, друже, его царское величество тебя спрашивать изволит.

Алексей Прохорович покраснел еще больше и как-то неловко, будто ноги у него были спутаны, двинулся вперед к царскому креслу. Не доходя несколько шагов, он снова поклонился в пояс и поднял глаза на царя.

— Здравствуй, Алексей Прохорович, — громко и ласково сказал царь.

У Чемоданова даже мурашки по спине побежали. До сих пор царь еще никогда не называл его по имени и отчеству.

Между тем царь продолжал:

— Я приказал позвать тебя по делу немалой важности. Служба твоя мне хорошо ведома, и я был всегда доволен ею. Теперь я хочу поручить тебе новую службу. Ты знаешь, какую?

— Знаю, государь, — нетвердым голосом хрипло произнес Чемоданов. — Велика милость твоего царского величества...

Он запнулся, к глазам его подступили слезы. Он неудержимо устремился вперед и грузно упал на колени. Царь наклонился, протягивая руку, которую Чемоданов покрыл поцелуями.

— Встань, Алексей Прохорыч, — сказал царь, — мне приятно видеть, что ты от службы не отказываешься и должным образом постигаешь и ценишь оказанное нами тебе доверие. Да, дело тебе предстоит немаловажное, путь большой и ответ немалый. Все сие обсудить надо будет хорошенько в посольском приказе, там тебе, по нашим мыслям, точный и во всем подробный наказ напишут... и я с тобой еще рассуждать буду.

Царь кивнул головою и взглянул на Ртищева. Алексей Прохорович отвесил глубокий поклон и с бодрым духом, весь радостный и будто окрыленный, чувствуя себя внезапно выросшим по меньшей мере головы на две, стал пятиться от царского кресла. И пятился он до тех пор, пока не наступил кому-то на ногу. Тогда он пришел в себя, подобрался и, осторожно ступая, прошел подальше. К нему подошел Ртищев.

— Ты обожди, Алексей Прохорович, — сказал он ему, — вот как его величество пройдет в «комнату», так я еще проведу тебя к нему.

— Слушаю, батюшка Федор Михайлыч, слушаю! — с поклонами и захлебываясь от радостного волнения, ответил Чемоданов.

И все уплыло куда-то, и все забылось, оставалось только одно ощущение выросших крыльев и прибавившегося на две головы росту. И так было велико и приятно это ощущение, что Чемоданов всецело отдался ему, ничего не видя, ничего не слыша.

К царскому креслу приближался то тот, то другой. Царь что-то говорил, и ему что-то говорили. Но Алексей Прохорович не слышал ни одного слова.

Вот царь поднялся с кресла, простился со всеми и ушел в «комнату». Вот Ртищев ведет и его туда же, за эти заветные двери. В третий раз в течение своей жизни входил сюда Чемоданов. В комнате, кроме царя, никого. Царь сидит перед большим письменным столом, покрытым тонким алым сукном с широкой золотой бахромой. На столе расставлены разные диковинные вещи иностранной работы,

несколько книг, чернильница, перья, бумаги...

— А ведь одному тебе в таком деле, не справиться, — сказал царь, когда дверь заперлась и Чемоданов вместе с Ртищевым приблизился к столу.

— Это точно, государь, сам ведаешь — дело мудреное. В помощь мне надо разумного человека, в писании искусного, — бодро отвечал Чемоданов.

— Да, надо тебе в помощники дьяка из посольского приказа. Кого же бы ты думал? Кто тебе по нраву?

Чемоданов задумался и привычным в таком случае движением почесал у себя в затылке, высоко приподнял брови.

— Кого приказать изволит твое царское величество, — произнес он, — а я бы... Я так полагаю, что самым подходящим к такому делу человеком будет дьяк Посников.

Царь улыбнулся.

— Ну вот, в одно слово! — сказал царь, обращаясь к Ртищеву. — Радуюсь, что ты назвал Посникова, ибо и мы о нем подумали. Так, значит, тому и быть. Посольство будет изряд-

ное. Я тебя кое-как не пущу. Ты выбери всяких нужных людей и представь список, во всем этом я на тебя полагаюсь. Только вот еще одно... думали мы насчет переводчика...

Царь при этом едва заметно подмигнул Ртищеву и едва заметно улыбнулся.

— Ведь ты, Алексей Прохорыч, я чаю, латинской грамоты не разумеешь?

Чемоданов невольно даже рукой отмахнулся.

— Где мне, государь-батюшка, твое царское величество!.. В своей грамоте тверд, а басурманских языков не разумею.

— Ну то-то же, так вот и надо хорошего переводчика, чтобы впросак не попасть, человека русского, православного христианина.

— Хорошо бы это, да где же такого сыщищь?

— А вот мы и сыскали с Федором Михайлычем, сыскали тебе на подмогу парня изрядного, почтенных родителей сына, обученного не только латинской, но и греческой грамоте и всяким другим наукам. Такой человек тебе на великую пользу будет.

— Коли есть такой, — весело сказал Чемо-

данов, — так чего же лучше. Кто же это? Кто таков будет?

— А это вот тебе скажет и покажет Федор Михайлыч, только ты смотри — не вздумай отнекиваться!

— Государь, могу ли я такое помыслить! Твой выбор для меня свят.

— То-то же, смотри, — ласково сказал Алексей Михайлович. — Это мой выбор, я за того человека стою и тебе его поручаю, отдаю тебе его на попечение. Оказывай ему всякую ласку. А коли с ним что случится по твоей оплошности, ты мне за него ответишь.

— Беречь буду, как сына родного, государь, не изволь быть в сомнении, как сына беречь буду.

— Так вот, смотри и помни это свое слово! — серьезно и внушительно сказал царь. — Да слушай еще, Алексей Прохорыч, поедешь ты надолго ведь, не меньше как в год это дело обернуть можно. Вот я и подумал о семье твоей... Будь покоен: ты мне ответишь за переводчика, а я тебе отвечаю за жену твою да дочку... Знай же, дочка твоя, с согласия супруги нашей, государыни, взята будет в терем, и

государыня и царевны сберегут ее до твоего возвращения.

— Батюшка! Милостивец! Благодетель ты наш! — в голос завопил Чемоданов, падая на колени и ловя царскую руку. — Господь да благословит тебя за такие твои милости, за доброту твою несказанную... и тебя, и великую царицу, нашу матушку!..

— Полно, полно! — говорил царь, потрепав по плечу Чемоданова. — Долг платежом красен... А теперь ступай с Федором Михайловичем, он тебе твоего переводчика покажет... Так смотри же: я тебе за дочь твою отвечаю, а ты мне за него...

— Как сына родного любить буду, как сына! — повторял растроганный Чемоданов и с этими словами вышел из «комнаты» в сопровождении Ртищева.

# XXVII

Александр уже не раз видел царя; а знал о нем много из рассказов Федора Михайловича, который нередко в последние годы, улучив свободную минуту, беседовал со своим любимым учеником. Конечно, эти разговоры имели воспитательное значение — Ртищев подготовлял в Александре продолжателя своей деятельности и внушал ему свои взгляды на все и на всех.

Молодого царя Ртищев любил и как царя, и как близкого человека, ценил и знал его, быть может, лучше, чем кто-либо. Свое искреннее почитание и любовь к Алексею Михайловичу он, естественно, передал и Александру, молодая и чуткая душа которого была открыта всем добрым чувствам.

Таким образом, Александр видел в царе воплощение всех совершенств человеческих и готов был за него в огонь и в воду не только по долгу, но и по сердечному влечению.

Когда дома приходилось ему слышать враждебные толки отца с попом Саввою и другими благоприятелями о «новшествах»,

когда отец и его гости хоть не прямо, но достаточно понятным образом обвиняли царя в потакании «делу антихристову», — Александр едва удерживал свое негодование. Только невольный страх отцовского гнева и врожденное благоразумие, громко говорившее, что следует молчать, ибо никакими доводами ничего не добьешься, а только бед наделаешь — заставляли его удаляться от бесполезного спора и бежать подальше из дому.

Теперь исключительные обстоятельства и страстная любовь к Насте не дали ему возможности как следует порадоваться тому, что наконец он войдет в общение с любимым царем, что царь его зовет к себе. В другое время при таком известии он почувствовал бы себя на верху блаженства.

Но даже и теперь, даже и с тяжкой мыслью о неизбежности скорой и долгой разлуки с Настей Александр, отправляясь рано утром во дворец по наказу Ртищева, забыл на время все свои беды и трудности своего положения и думал только о царе.

Ртищев, как приказал Алексей Прохорович, провел своего любимца «черным ходом»,

и никто из ближних людей не знал, что царь, выйдя из спальни перед ранней обедней, с четверть часа, а то и больше, провел в беседе с молодым учеником «андреевских» монахов.

В первую минуту, подведенный Ртищевым к царю и допущенный к царской руке, Александр смутился и растерялся. Но это его смущение прошло очень скоро. И сам он был не из робких, умел владеть собою, да и царь оказался уж очень ласков и прост в обращении, так прост, что слезы умиления выступили на глазах Александра.

Царь сказал ему, что уже не раз слыхал от Федора Михайловича об его больших успехах в науках и что он весьма радуется таким его успехам. Сказал он ему о том, какое великое благо ученье и знание, как счастливо то царство, где много знающих и опытных людей. В русском царстве таких людей еще не очень много, а потому непрестанная царская забота о том, как бы таких людей стало как можно больше.

— Вот ты обучен теперь многому, — говорил царь, — по летам своим ты обладаешь большими знаниями, но все-таки их недоста-

точно — век живи, век учись. Узнавать новое никогда не поздно. Посему радуйся теперь прежде всего и забывай обо всем остальном, прежде всего радуйся, что назначили мы тебя быть при посольстве нашем в далекое венецейское государство. Воспользуйся этим и, когда поедешь, не теряй дорогой времени, смотри, обо всем узнавай и что будешь видеть, что узнаешь, то записывай, чтобы сие было и тебе и другим на пользу.

Александр благодарил царя как умел. Царь благосклонно его слушал и вдруг, добродушно усмехнувшись, поглядел на Ртищева.

— Что же это, Федор Михайлович, — сказал он, — паренек-то хотя и говорит складно, а по лицу его как будто выходит, что уезжать ему все же не хочется? Уж не зазноба ли у него?

Усмехнулся и Федор Михайлович.

— Про то его самого изволь спросить, государь.

— Ну, уж чего спрашивать, — еще ласковее сказал царь, — томить не стану тебя, допытывать — все знаю, все Федор Михайлыч про тебя мне поведал. Ну и скажу прямо: хотя ты и озорник, а все же на первый раз можно тебя

помиловать, ибо ты уже на возрасте и о честной брачной жизни помышлять тебе не грех. Зазнобила сердце твое красная девица, то не Бог весть чудо какое. А вот что ты украдкою, вопреки всем обычаям и не помышляя об ее чести девичьей, с нею тихомолком виделся — то не похвально.

— Государь! — прошептал, весь вспыхивая, Александр. — Твоему царскому величеству ведомо...

— Все ведомо, — перебил его царь, — все знаю, что ты себе в оправдание сказать можешь. Кабы не так дело было, я не стал бы извинять твое озорничество. Ну, слушай, я тебе во всем помогу и в должное время, когда ты с Божьей помощью вернешься на Москву, сам буду твоим сватом. Родителей ваших так или иначе помирю и согласие их добуду. Невесту твою без тебя мы сохранять будем.

— Государь! — воскликнул было исполненный благодарным чувством Александр.

Но царь движением руки остановил его.

— Постой, погоди — все это для тебя не даром будет сделано. Первым делом обещай ты мне до отъезда своего не видеть своей зазно-

бы. Тяжело тебе будет, да что же делать — так надо. И сам не пытайся увидеться с нею, и никого не засылай. Все будет без тебя сделано, все будет ей сказано, сердце ее успокоят. А коли ты крепко люб ей, так она будет ждать тебя с нетерпением и молиться Господу, чтобы сохранил тебя на пути твоем. Так-то. Это первое дело. А второе: обещай ты мне, как уедешь, никаких дуростей не затевать, к тестю своему будущему быть почтительным и при том не зевать — примечать все достойное примечания. Когда вернешься, мы с тебя отчет возьмем. Что же, обещаешь?

Конечно, Александр обещал царю все; обещал «как перед Истинным».

Заблаговестили к обедне, и царь отпустил его. Федор Михайлович приказал ему сходить к ранней обедне, а по окончании службы пройти к нему в рабочую комнату и там ждать.

И вот он ждет, а Федора Михайловича все нет. Взял он книгу читать, да скучно что-то. Минуты тянутся одна за другою медленно. Вдруг в соседнем покое отворилась дверь. Кто вошел — со своего места Александр не видит.

Конечно, это Федор Михайлович, только он не один.

— Обожди малую минутку, Алексей Прохорыч, он здесь, я к тебе его сейчас выведу, — говорит Ртищев.

Александра как бы жаром отдало, а потом мурашки по спине побежали. Понял он — кто тут, в соседнем покое.

А Федор Михайлович уже у двери, поманил его рукою, сам подмигивает: поди, мол, сюда.

Александр тряхнул головою, набрался храбрости и вышел.

# XXVIII

Обласканный царем, Чемоданов в то же время значительно успокоился относительно дочери. Он видел в том обстоятельстве, что царица берет Настю к себе в терем, начало больших царских милостей.

На себя он достаточно надеялся, и ему ясно теперь представлялось в эти первые минуты нежданного торжества, что вот он блистательно исполнит царское поручение, дело первостепенной важности, и, вернувшись, пойдет в гору, да так пойдет, что никому того и во сне не снилось.

С такими мыслями и в таком настроении он не особенно интересовался вопросом — кого это ему дают в спутники и переводчики. Он даже сразу и не сообразил, что тут нечто особенное, что молодой переводчик, так или иначе, должен быть близок царю, если тот о нем уж что-то слишком заботится и настоятельно ему его поручает. Уверяя царя, что будет любить этого молодца, как сына, Чемоданов, конечно, не вдумывался в свои слова; он говорил только то, что надо было сказать. Как

же бы иначе мог он ответить на слова царские?

Он пошел за Федором Михайловичем Ртищевым, и по мере того как подходил к дворцовому помещению царского постельничего, сознание пришедшего счастья и царской милости все увеличивалось в нем. Но он все же спросил Ртищева:

— Что это ты со мною в прятки-то играешь, Федор Михайлович, назови малого-то.

— Чего там называть, — ответил Ртищев, — ты его и так знаешь...

В это время он отпирал двери в свои покои, и Чемоданов не успел даже остановиться на мысли — кого это он сейчас увидит, как Александр уже был перед ним.

Новый посол его царского величества сразу даже не поверил глазам своим, ему показалось, что это только так, чудится, и он попятился. Но Ртищев тотчас же и вывел его из последнего сомнения.

— Вот, прошу любить да жаловать по наказу царскому и быть ему в долгом пути вместо отца, — сказал Ртищев. — Ведь говорил я тебе, что со старым знакомцем поедешь... твоего

соседа почтенного, Никиты Матвеевича Залесского, сынок это, Александр Никитич... Али не узнал, али вы и впрямь давно не видались?

Александр отвесил почтительный поклон Чемоданову и с достаточным спокойствием смотрел ему прямо в глаза.

Чемоданов побагровел, кулаки его сами собою сжались, и, не будь тут Ртищева, он бы не удержался и кинулся на Александра. Но Ртищев стоял между ними. Да и неожиданность была велика.

— Что же это? — совсем растерянно произнес Чемоданов. — Так это он, он со мной поедет?

И вдруг все посольское благоразумие, все хладнокровие и рассудительность куда-то пропали. Алексей Прохорович из себя не вышел, ругаться не стал, но, мрачно и решительно обращаясь к Ртищеву, сказал:

— Нет, я с ним не токмо в Венецию не поеду, но и в одном покое ни минуты оставаться не желаю.

— Что так? — с хорошо сыгранным изумлением воскликнул Ртищев. — Мне невдомек,

Алексей Прохорыч, что это ты такое говоришь... как так не поедешь? По какой причине?

— А так вот, не поеду, да и все тут. И коли его царское величество мне другого переводчика не назначит, то я и совсем от посольского дела отказываюсь.

Александр стоял молча, в почтительной позе и продолжал спокойно глядеть прямо в глаза Чемоданову. Ртищев покачал головою.

— Диво! — сказал он. — И хорошо, что это ты у меня говоришь и никто твоих речей, кроме меня, не слышит, а не то тебе худо было бы... Это ты оставь... что сделано, того не переделаешь и против государевой воли не пойдешь. Назначено тебе быть послом — и будешь. Назначено Александру Залесскому с тобою ехать — и поедет. А ты лучше припомни, что государь тебе говорил, и припомни также то, что ты обещал ему. Твои ведь это слова: любить, мол, буду, как сына. Так что же это ты... царя обмануть хочешь?

Алексей Прохорович начинал мало-помалу соображать и с каждым мгновением все яснее и яснее видел, что попал в положение

безвыходное. Оно, конечно, силком в Венецию не поволокут. Оно, конечно, можно отговориться болезнью, каким ни на есть неизлечимым недугом и уехать навсегда из Москвы в дальнюю вотчину. В первую минуту, когда сердце уж больно кипит, такая мысль и может прийти в голову, но через минуту она уходит, а через две — от нее и ничего не остается.

«Итак, этот лиходей, этот Алексашка, пристал теперь на долгое время, что банный лист! Ну, уж и постой же ты, вражье отродье, дай только сроку, я же тебя проучу, жизни не рад будешь», — подумал Чемоданов, метнув злобный взгляд на Александра.

Но Ртищев будто прочел мысль его.

— Вражда — дело плохое, — сказал он, — и государь наш, сам ты про то ведать должен, вражды не любит и потакать ей не станет. Так ты, Алексей Прохорыч, послушай моего доброго совета: откинь свою вражду. Ну, повздорили вы Бог весть сколько времени тому с Никитой Матвеичем, а вот через сынка и помиритесь. Слов твоих опрометчивых ни я, ни Александр никому не передадим, так ты

уж сердце свое уйми. А главное — помни: государь Александра тебе поручил. Что он тебе сказал: «Я тебе твою дочь сохраню, а ты мне переводчика... Я тебе за нее отвечу, а ты мне за него». Так ты это первым делом помни.

Чемоданов в ответ только крякнул и замолк. Совсем он себя чувствовал побитым.

Между тем Александр снова поклонился и подошел к нему.

— Не сердитуй, Алексей Прохорыч, — сказал он почтительно, но, по-видимому, без всякого страха. — Я тебе всякое почтение оказывать буду и уповаю, что и по Христовой заповеди, и по наказу царскому ты меня обижать не станешь. Ни ты меня не звал, ни я к тебе в переводчики не напрашивался — государю так было угодно. И оба мы, каждый в своем деле, исполним его волю.

Чемоданов хотел сказать что-то, да так ничего и не сказал, только отвернулся от Александра.

— Ничего, ты не приходи в смущение, — обратился к молодому человеку Ртищев, — ступай себе, а мы еще потолкуем. В следующий раз авось Алексей Прохорыч будет к тебе

ласковее.

Александр поклонился и вышел.

Ртищев усадил Чемоданова и весьма серьезно потолковал с ним. Следствием этой беседы было то, что посол волей-неволей примирился с обстоятельствами. Он уж на этот раз сознательно дал Ртищеву обещание не чинить никакого зла молодому переводчику, так как очень хорошо понял, что всякое зло, учиненное им Александру, вернется обратно и навсегда испортит его дела, навсегда лишит его царских милостей.

Когда он ушел от Ртищева, Федор Михайлович, оставшись один, подумал:

«Ну, слава Богу, кажись, дело на лад пошло. А вдруг он, Чемоданов-то, там, за морями, моего парнишку как ни на есть погубит... будто ненароком, так, чтобы не быть в ответе? Нет, к чему такое думать!.. Чемоданов не злодей, не безбожник. Это так, сразу только, кипит в нем... обойдется... Да и Александр не таковский, сумеет сего лютого медведя ручным сделать... А теперь надо к другому медведю, к старому Никите... тот уж не на Александра, а на меня с кулаками полезет...

Потеха!..»

## XXIX

Никита Матвеевич Залесский был немало удивлен, когда в субботу после всенощной, во время позднее и необычное для церемонных посещений, к нему приехал Ртищев. Еще недавно, несмотря на все свое недовольство царским постельничим и всю свою к нему злобу, постоянно разжигаемую попом Саввою, Никита Михайлович все же принял бы его с великим почетом и нижайшими поклонами как весьма сильного при дворе человека.

Но теперь, когда он шел встречать Ртищева, во всех его движениях сказывалось достоинство, а спина как бы даже совсем потеряла способность гнуться. И чего ему, в самом деле, унижаться перед этим человеком, который обманул его и только чуть было вконец не испортил ему сынишку? Добра от этого «ангела антихристова» ждать уже нечего, а зла никакого теперь он не сделает, Матюшкина не перетянет. Матюшкин крепок... и завтра сговор! Значит, можно голову держать повыше и

важность свою в карман не прятать.

— Добро пожаловать, гость редкий! — не без некоторой, хоть и весьма тонкой, усмешки приветствовал Никита Матвеевич Ртищева. — Давненько в мою избу не заглядывал, да вот и заглянул-то на ночь глядючи!

— Уж не взыщи, Никита Матвеевич, — ответил Ртищев, — за службой царскою и всякими работами времени у меня мало, сам знаю, что час поздний, только я тебя не стану долго задерживать... о сыне твоем перетолковать нам надо.

При этих словах Залесский не воздержался от явной уже усмешки.

— О сыне?! — сказал он. — Что уж нам с тобою толковать о нем, батюшка Федор Михайлыч, кажись, давненько о нем промеж нас все было сказано... вот я и ждал, долго ждал, когда это ты вспомнишь, что обещал мне, уговаривая отдать его в науку к монахам-то... Ждал я, да так и не дождался, а посему, видя, что тебе за великими твоими занятиями недосуг его пристроить да в люди вывести, я сам о том позаботился.

Ртищев едва заметно улыбнулся.

— Я на твои попреки обижаться не стану, Никита Матвеич, — перебил он его, — может, я их и заслуживаю... только, видишь ли, я не забывал об Александре, а все ждал случая, чтобы подошло дело настоящее, хотел так его пристроить, чтобы потом ни он сам, ни ты на меня не пеняли бы. Теперь вот дело и подошло.

Но Залесский не дал ему договорить.

— Премного благодарствую! — воскликнул он. — Да знаешь, чай, батюшка Федор Михайлыч, пословицу: дорого яичко к Христову дню!.. Теперь ты не утруждай себя... за моего сынишку есть кому слово замолвить... и первым делом, да будет тебе ведомо, женю я его, малый уж на возрасте, не все же с монахами за указкой сидеть... женю я его на дочке Ивана Михайлыча Матюшкина, и завтра сговор...

— Вот как! — сказал Ртищев. — Что ж, это дело доброе... только повременить тебе и со свадьбою, и со сговором годик придется...

Никита Матвеевич вспыхнул.

— А кто же может мне в таком деле воспрепятствовать? — едва сдерживая подступившую к сердцу злобу, прохрипел он.

— Кто?.. Да царь, — спокойно ответил Ртищев.

— Ца-арь! — протянул Никита Матвеевич. — Ну, этим ты меня, милостивец, не испугаешь. Царь в такое дело вступаться не станет...

— Да ты не торопись, — остановил его Ртищев, — разве я пугать тебя хочу... да что я — ворог твой, что ли?.. Дай досказать... Приехал я к тебе, как ты говоришь вот, «на ночь глядючи», не сам собою, а по приказу государеву. Вишь ты, дело-то какое: к дуку венецейскому, в страну италианскую, собирается наше посольство, и отправится то посольство в самом скором времени...

— Да мне-то, батюшка, что до того? Никаких тальянских стран я не знаю, что за птица такая — дук — не ведаю.

— Ты не ведаешь, так Александр зато ведает, недаром у монахов учился; и назначил государь Александру с тем посольством в должности по письменной и разговорной части ехать, а мне приказать изволил немедля известить тебя о такой его царской к твоему сыну милости.

Будто гром грянул над Никитой Матвеевичем.

— Не пущу, не пущу сына на погибель к басурманам! — заорал он не своим голосом. — Пустое! Не пущу!

— Царя ты не можешь ослушаться... Александр уже назначен, и царское слово — твердо.

— Так вот ты как! — продолжал кричать вне себя Никита Матвеевич. — Да неужто ты Бога не боишься!.. Совести в тебе нету, ну что я тебе сделал?.. За что губишь парнишку!.. Отступись... не губи!.. Что хошь бери... ничего не пожалею... только Александра оставь в покое!..

— Однако ты уж, кажись, заговариваешься! — сказал Ртищев. — Что ты на меня кричишь, да еще и в своем доме. Я к тебе пришел государевым именем объявить о царской милости, а ты так-то меня принимаешь?..

Но Никита Матвеевич уж ничего не видел и не слышал. Он выбежал в двери, и по всему дому раздавались теперь его бешеные крики.

Ртищев подождал минуту-другую и, видя, что хозяин не возвращается, обернулся к

красному углу, перекрестился на образа и вышел в сени.

Так и уехал он, не простясь с Залесским.

Александру не удалось скрыться от отцовского натиска; но он покривил душою, представился, что и сам огорчен случившимся, что вовсе не желает ехать в неведомые страны, но что, конечно, теперь, когда уже все кончено, нельзя и помыслить противиться царской воле. Несколько придя в себя, и сам Никита Матвеевич должен был согласиться с сыном, что это так. Ему оставалось тешить свою злобу, всячески браня Ртищева.

— Да с кем же это ты к басурманам ехать должен? Кто будет у вас набольший? — наконец, стихая, спросил он.

Не ответить было нельзя, к тому же Александр решил, что лучше сразу покончить со всем этим, а потому он мрачно выговорил:

— Послом, сказывали, приказано быть воеводе Чемоданову.

— Оплели! Погубили! Зарезали! — заревел Никита Матвеевич и, несмотря на то что уж совсем надвигалась ночь, отправился к Матюшкину за помощью и советом.

Антонида Галактионовна лежала у себя в спальне на перинах и в голос вопила, окруженная перепуганными служанками. Он поняла немногое, но знала, что Санюшку царь посылает к басурманам на погибель, что Санюшку будут рвать нехристи на части и кидать его тело белое черному воронью...

— Ахти мне, голубушки! — вопила она. — Съест моего ненаглядного дук поганый, изгрызет всего... На то ли я тебя, сыночек мой, родила на свет Божий, на то ли я тебя холила да лелеяла... Дитятко ты мое бесталанное!..

# ЧАСТЬ ВТОРАЯ

## I

Январь месяц — значит зима. Да, зима, но какая! — ее не видно, не слышно. Она не дает о себе знать ни снегом, ни морозом, ни вьюгой. Не в силах она победить могучего, живительного солнечного света, не в силах победить могучего живительного дыхания моря...

Там, не Бог знает как далеко, среди гор, на твердой земле, ее присутствие все же ощутительно, там бушуют холодные ветры, хотя и на короткий час, а все же белеется кой-где снег, леса стоят с осыпавшейся листвой...

Но здесь — в заколдованном затишье, среди лагун Адриатики, в очарованной Венеции, этой фантастической грезе, осуществленной человечеством, в этом единственном чудном городе, подобного которому никогда не было, нет и не будет, — не видно, не слышно зимы, и уже веет быстро несущейся с юга весною.

Чудное время стоит в Венеции. Днем со-

всем тепло, солнце уже изрядно греет, ночи тихие, холодноватые, все будто насквозь пропитанные лунным и звездным сиянием. Странный, удивительный город! Ни земли в нем, ни деревьев, ни грохота экипажей. В легкой утренней дымке, в ярком блеске полуденного солнца, в лунном сиянии или сгущающемся ночном мраке бесконечными вереницами рисуются и уносятся вдаль величественные дворцы, мраморные ступени которых купаются в мутной воде каналов. Вместо каменной мостовой улиц — вода, всюду вода, и по ней бесшумно, взад и вперед, мчатся разукрашенные гондолы, обгоняя друг друга, ежеминутно встречаясь, но никогда не сталкиваясь. Привычно и ловко управляются гондольеры с одним длинным веслом, направляющим и размеряющим иной раз изумительно быстрые движения этих странных экипажей.

Но это все же не та Венеция, которую мы видели и знаем в наши дни, не Венеция — поэтический мавзолей великолепных и пестрых воспоминаний... Она жива, она в полном блеске своей красоты и славы. Ее изумительная тишина не мешает движению со всех сто-

рон приливающей к ней жизни. Она изукрашена всей роскошью, всем блеском Запада и Востока. Она центр, куда отовсюду стремятся люди, — одни для того, чтобы нажиться, другие для того, чтобы окунуться в веселый водоворот день и ночь несмолкаемых удовольствий царицы моря.

И жизнь ее так привольна, всяких веселостей так много, что никого не страшит даже мрачный и грозный призрак ее инквизиции, никто не помышляет о том, что ежедневно мутная вода ее каналов несет в море, быть может, десятки трупов...

Нарядные мужчины и женщины, весело беседующие на мягких парчовых подушках в изукрашенных каютках гондол, не помышляют о трупах, плывущих под ними. Ведь их не видно, этих трупов! А все, что видно, блестит такой своеобразной, изящной, неслыханной красотою.

Солнце уже склоняется к горизонту, и последние лучи его золотят высокие крыши дворцов и далекий купол церкви Св. Марии де ла Салюте. С моря подул очень свежий ветер, ночь будет холодная. Мало-помалу дви-

жение гондол по каналам стихает. То у того, то у другого палаццо останавливаются гондолы, одна богаче другой. Разряженные кавалеры быстрым и ловким движением соскакивают на мраморные влажные ступени и так же быстро и ловко высаживают дам. Прогулки оканчиваются. В роскошных палатах, покрытых пушистыми восточными коврами, увешанных чудными картинами, установленных драгоценной художественной мебелью, начинается вечернее «far niente».

Вот большая богатая гондола плывет по каналу Гранде. Это одна из самых роскошных гондол в Венеции. Ее знают все. Немного лет тому назад ее купил и изукрасил молодой счастливый венецианец знатной фамилии Джиованни Капелло. Он то и дело выезжал в ней из старинного палаццо в сопровождении своей молодой жены Анжиолетты, красотою которой так гордился.

Да и было чем гордиться. Вся Венеция знала синьору Анжиолетту Капелло. О красоте ее говорили даже тогда, когда она была еще молоденькой девушкой и подобно всем благородным венецианским девицам того времени

почти не выходила из родительского дома, а если и выходила, то в скромном черном платье, с лицом, прикрытым вуалью. Но красота не такая вещь, которую легко можно скрыть где бы то ни было, а тем более в Венеции. Благородная венецианская молодежь употребляла все меры, чтобы получить руку красавицы Анжиолетты Ровериго.

Выбор отца остановился на храбром воине, уже отличившемся в войне республики с турками, Джиованни Капелло, которому пророчили самую блестящую будущность. Юная Анжиолетта не спорила с отцом. Его выбор был и ей по нраву.

Свадьба Джиованни с Анжиолеттой была самой блестящей свадьбой в том году. Она сопровождалась целым рядом веселых пиршеств, и о ней долго говорили в Венеции.

Три года супруги жили счастливо, среди всяких веселостей, жили так счастливо, что Джиованни перестал совсем существовать для других женщин, кроме своей Анжиолетты, да и она ни на кого не глядела. С нее довольно было поражать Венецию красотой, возбуждать всеобщий восторг, разговоры, за-

висть. Роза распустилась, вышла из закрывавшей ее почки и первое время только сияла красотою, только благоухала — и сама прежде всех наслаждалась своим блеском и своим благоуханием.

Джиованни и Анжиолетта пока совсем не были похожи на венецианских супругов. Обыкновенно медовый месяц в Венеции был именно только месяцем. Брак прежде всего являлся благоразумной сделкой, обдуманной старшими родственниками, представителями благородных фамилий. Посредством такой сделки, соединявшей между собою венецианскую аристократию, поправлялись денежные дела и устраивались прочные связи. Если к выгодной сделке примешивалось чувство, то это уж было излишней роскошью, и такая роскошь скоро приедалась.

Молодой муж, просидев первое время около жены, начинал скучать. Его снова тянула та жизнь, к которой он привык с ранней юности. И вот незаметно, но очень скоро он начинал все чаще и чаще и все на большее и большее время исчезать из дому. Проходил месяц, другой — и его опять видели везде. Видели

его также и в обществе красивых женщин, известных своим умом, талантами и свободой обращения. Он засиживался в знаменитых кофейнях на площади Святого Марка чуть не до утра. Проходило еще немного времени — и жена начинала видеть его дома только как гостя.

Конечно, не одна юная венецианка, так быстро и незаслуженно покинутая мужем, к которому она со дня свадьбы все сильнее и сильнее привязывалась, должна была пережить тяжкое время. Вероятно, не одно юное сердце терзалось и мучилось. Но являлись опытные родственницы — и все они в один голос говорили, что беды никакой нет, что иначе на свете не бывает, что всегда мужья поступают таким образом и тревожиться этим нечего. А скучать не следует, не следует сидеть одной или только в обществе женщин. Надо веселиться. Молодость и красота даны на то, чтобы самой ими радоваться и других радовать. Надо скорей найти чичисбея.

Чичисбеизм был одним из самых своеобразных явлений старой Италии и получил в Венеции особенное развитие. Чичисбей — это

было нечто среднее между слугой и другом. Его обязанность состояла в том, чтобы всячески прислуживать даме, быть постоянно при ней и в то же время не возбуждать ревности мужа. Это был в большинстве случаев молодой человек — красивый, ловкий, образованный, обладавший иногда более или менее значительными талантами, но по рождению не принадлежавший к высшему обществу. Муж дамы не считал его себе равным, а потому и не ревновал его.

Чичисбей являлся с раннего утра в палаццо своей дамы. Он присутствовал при ее утреннем туалете и даже помогал ей наряжаться, пил с нею шоколад, сопровождал ее в церковь, на прогулку, в театр. По желанию дамы он устраивал для нее всякие удовольствия, был распорядителем пиршеств, был домашним секретарем, кассиром, управляющим, ходатаем по делам — одним словом, самым близким человеком к синьоре.

Его положение, созданное нравами, было узаконено общественным мнением. Пригласить даму на обед или на какой-нибудь праздник и не пригласить вместе с нею ее чичис-

бея значило нанести благородной венецианке явное оскорбление. Доходило иной раз до того, что в брачном контракте заранее обозначалось, кого именно выходившая замуж венецианка должна избрать себе в чичисбеи.

Наконец, нередко случалось тоже, что богатая и знатная синьора не довольствовалась одним чичисбеем, и ее всюду сопровождало несколько молодых людей, одинаково пользовавшихся ее доверием и расположением. Отправляясь в церковь в сопровождении своей свиты, синьора опиралась правой рукой на руку одного чичисбея, левой рукой на руку другого, третий нес ее веер, четвертый ее мантилью и т. д. Между чичисбеями весьма часто встречались молодые аббаты, и многие дамы предпочитали их светским молодым людям...

## II

Так всегда бывает!.. Иначе быть не может! Все так делают!.. — это магические слова в жизни человеческой, и особенно в жизни женской. Это слова, разрешающие всякие сомнения, успокаивающие смущенную совесть, заставляющие примириться со всем, даже с несчастьем, даже с вопиющей низостью, даже с глубоким нравственным позором... «Так принято!.. так делается...» — и человеческое общество бессознательно превращается в стадо, в толпу, среди которой подавляется всякая индивидуальность.

Такое явление неизбежно, естественно, это — исполнение одного из законов гармонии, без которой невозможно существование жизни. Это исполнение судьбы, фатума. Но как в отдельном человеке, так и в сложном существе, человечестве, рядом с судьбою заключается еще и свободная воля, без проявления которой и человек и человечество остановились бы в неподвижности стадной гармонии. Свободная воля человека, а следовательно, и человечества двигает жизнь по пу-

ти вечных изменений, вечного развития, производит благодетельные, но тяжкие муки рождения новой жизни.

Велика и трудна работа носителей свободной воли, направленной к созиданию новой гармонической формы жизни. Эта работа полита кровью сердца, насыщена страданиями духа и тела. Эта работа — святая жертва Богу, и вечная слава тем, кто сеял доброе семя и кто пал за дело гармонического развития жизни.

Да простит мне читатель это невольное и, быть может, скучное отступление. Я хотел только сказать, что благородная молодая венецианка прежнего времени в огромном большинстве случаев не проявляла свою свободную волю, не вдумывалась в свое положение, а поступала так, как поступали «все». Муж ее жил «как было принято», и она жила «как было принято», то есть останавливала свой выбор на каком-нибудь чичисбее. Да и это все я сказал только к тому, чтобы показать, что молодые супруги Капелло в первые три года своего брака являлись исключением. Синьор Джиованни предпочитал общество

жены всякому другому; синьора Анжиолетта, ко всеобщему изумлению, не имела еще чичисбея.

Сколько времени продолжалась бы такая исключительная их жизнь — неизвестно; но «вдрут», как весьма часто это бывает в жизни, все изменилось.

Война Венеции с Турцией из-за Кандии то затихала, то возгоралась снова. Были перемирия, но мира не было. Между тем продолжительная опасная борьба истощала силы республики — необходимо было наконец успокоиться, разобраться в делах, пополнить дефициты. Поэтому известие, что и в Константинополе народ не желает больше воевать и все громче и громче выражает свое неудовольствие, было встречено венецианцами с большой радостью. Одновременно с этим известием французский посланник стал уверять, намекая на полученные его двором сведения, что Порта сама не заговорит о мире, но на предложения республики отзовется с полной охотой.

Тогда венецианский сенат решился отправить в Константинополь уполномоченного с

тем, чтобы узнать, на каких условиях диван согласится подписать мирный договор. Выбор сената пал на Джиованни Капелло. От такого почетного назначения, сразу открывавшего быстрый путь к важнейшим государственным должностям, нельзя было отказаться. Да Капелло и не думал об этом. Он простился с красавицей женой и, не промедлив дня, отправился в Константинополь.

Он не сомневался, что возложенное на него поручение будет им исполнено, и боялся только одного, как бы Порта ввиду своих побед не потребовала с республики слишком много денег. Но едва его допустили к великому визирю, как тот резко спросил его: «Где же ключи Кандии?.. Надеюсь, вы нам привезли их». Капелло, не ожидавший ничего подобного, растерялся и только пробормотал, что он прислан договориться о мире. Великий визирь захохотал и хохотал долго, глядя прямо в лицо несчастному Капелло, а потом приказал связать его, отвезти в Адрианополь и засадить там в тюрьму.

Приказание великого визиря было исполнено; но в адрианопольской тюрьме турки

нашли, что нечего возиться с венецианцем, и придушили его. Когда известие об этом возмутительном поступке достигло Венеции, то отставленный было храбрый и деятельный адмирал Монсениго был опять назначен главнокомандующим флотом республики — и отчаянная война возгорелась с новой силой.

Анжиолетта Капелло облеклась в глубокий траур. В первое время она была безутешна, и даже рассказывали, что покушалась на самоубийство. Она вела жизнь затворницы, появлялась только в церкви, сопровождаемая старой теткой, ни на кого не глядела, всех избегала. Двери палаццо Капелло стояли на запоре, и, кроме ближайших родных, туда никого не впускали.

Но прошел год, начался второй, и мало-помалу прекрасная вдова стала появляться в обществе. Вся Венеция решила, что она со времени вдовства еще похорошела. Веселость ее нрава вернулась. О ее уме, остроумии, ее музыкальном таланте ходили самые преувеличенные рассказы.

Она была молода, знатна, богата, свободна, при этом бездетна — и представлялась во

всех отношениях самой завидной невестой. Лучшие женихи города готовы были предложить ей руку, и в палаццо Капелло теперь собиралось самое изысканное общество. Прелестная хозяйка, живая, порывистая, впечатлительная, очевидно, уже не часто вспоминала о своем погибшем муже. Она встречала всех своих претендентов ласково и весело, задавала роскошные обеды и праздники, выслушивала любезности и признания, но на все мольбы и требования решительного ответа не говорила ни «да», ни «нет» — и только улыбалась.

Она еще не сделала выбора, еще всматривалась и будто кого-то ждала...

Однако это не помешало ей, по обычаю и по невозможности самой управлять своими делами, найти себе чичисбея. Это был некто Нино, пользовавшийся репутацией ловкого человека и хорошего музыканта. Синьора Анжиолетта, однако, скоро решила, что в ее положении, для того чтобы не давать ни малейшей пищи каким-либо толкам, лучше иметь двух чичисбеев, чем одного, а потому Нино пришлось поделиться своими обязанностями

с молодым аббатом Панчетти.

## III

Итак, знакомая всей Венеции, богато изукрашенная гондола неслышно скользила по темной, холодной воде канала Гранде. Спереди и сзади убранной парчою каюты, будто бронзовые изваяния, стояли два гондольера. И сами они и даже руки их казались неподвижными, а между тем длинные весла привычно и ловко делали свое дело. Несколько мерных движений — и гондола, слегка дрогнув, остановилась у широких, омываемых мутной водой ступеней палаццо Капелло.

Из-за обшитой широкой золотой бахромой драпировки каюты показались — сначала кавалер, а потом дама. Кавалер грациозным привычным движением помог своей даме подняться по ступеням и вслед за нею скрылся в палаццо.

Молчаливые, красиво одетые слуги отворяли перед ними двери. Они прошли целый ряд огромных и пышных комнат, несколько мрачных, особенно теперь при бледном свете наступавшего вечера, и остановились в ком-

нате меньшего размера и гораздо более уютной, чем другие.

Здесь, в этой комнате, уже был вечер, спущенные драпировки окон не пропускали света. Две большие, стоявшие на высоких подставках по углам лампы были зажжены и озаряли высокий, великолепно разрисованный потолок и стены, увешанные картинами — произведениями кисти лучших итальянских мастеров, а также блестящими венецианскими зеркалами.

Молодая женщина, которая, конечно, могла быть только владелицей палаццо, Анжиолеттой Капелло, сбросила свой бархатный, темно-гранатового цвета, обшитый дорогим мехом плащ и появилась теперь во всем блеске действительно замечательной красоты.

Она вовсе не принадлежала к тому так называемому итальянскому типу, под которым непременно подразумевается смуглая, черноволосая женщина с огненными глазами, скорее худощавая, чем полная, небольшого роста, с темным пушком над верхней губою. Нет, синьора Анжиолетта была истая венецианка, чистой аристократической крови, без

всякой южной примеси, — высокая, в меру полная, с удивительным овалом плеч и тонкой талией.

Она была именно такой женщиной, какие самовластно жили в воображении Тициана. У нее были длинные, шелковистые, совсем белокурые волосы, тонкая белая кожа, правильные и нежные черты лица и большие карие глаза, днем казавшиеся совсем светлыми, а вечером совсем темными.

Это была женщина, о которой не могло существовать двух разных мнений. Она была создана и жила для того, чтобы нравиться всем, и молодым и старым, даже женщинам, хотя бы они сами себе и не признавались в этом.

Сразу, глядя на нее, становилось понятным, что она не могла долго тосковать по погибшему мужу, долго не могла проводить жизнь в скуке и уединении. Это была сияющая красота, рожденная для жизни, для радостей и для удовольствий. В ее лице можно было подметить и некоторую мечтательность и положительную склонность к капризам, но в то же время ничего злого. Каприз идет хоро-

шенькой женщине и ничему не мешает. А в сущности, у синьоры Анжиолетты, наверное, был ровный и хороший характер.

Скинув свой плащ, она грациозно опустилась на низенькую кушетку и вытянула свои красивые, выглянувшие из-под платья ноги.

— Нино, — обратилась она к своему спутнику, поправлявшему драпировку у окна, — подойдите сюда.

Чичисбей немедленно приблизился к своей повелительнице. Это был молодой человек лет двадцати пяти или шести, маленький, черненький, хорошенький, как куколка, с лицом приятным, но незначительным: не глупым, но и не умным.

— Что прикажете, синьора, — произнес он звучным голосом, который доказывал, что у него, вероятно, очень недурной тенор.

— Нино, я вами недовольна, — сказала синьора Анжиолетта, — по меньшей мере полчаса мы просидели с вами вдвоем в гондоле, — и за все это время вы мне не сказали ничего интересного. А между тем сегодня... сегодня с самого утра мне что-то скучно. Мне все надоело и все надоели: я хочу чего-нибудь ин-

тересного, чего-нибудь нового!..

— Увы, — с комическим вздохом, опуская свою курчавую голову, произнес Нино, — сегодня нет ничего нового, ничего интересного и неоткуда взять: все, что я знаю, и вы знаете, синьора.

В это время высокая тяжелая дверь скрипнула и пропустила человека в одежде аббата.

— Панчетти! — воскликнула синьора Анжиолетта. — Как вы кстати, я уж хотела послать Нино за вами. Но если у вас нет ничего нового и интересного, то лучше уходите.

Но аббат не ушел, он приблизился к синьоре, придвинул кресло и с достаточной фамильярностью сел на него, рядом с синьорой. Его, тоже еще совсем молодое, несколько сухое, гладко выбритое лицо с крупным носом и выразительными глазами улыбалось.

— Не знаю, синьора, как покажется вам моя новость, заинтересует ли она вас. Но только я видел с час тому назад нечто необычайное.

— Что же такое вы видели, аббат?

— Я видел посольство, приехавшее из Московии! — И он рассмеялся. — Ах, если бы вы

знали, синьора, какие это смешные люди, в каких удивительных костюмах!..

— Что же они говорят?

Аббат пожал плечами.

— Ну, знаете, что они такое говорят — этого никто разобрать не может, потому что язык у них птичий. Но, впрочем, к моему большому изумлению, между ними есть молодой человек, тоже московит, который прекрасно изъясняется по-латыни, да не только по-латыни — он уж кое-что и по-итальянски успел затвердить.

— И вы с ним говорили?

— Да, говорил. Ну, конечно, он человек дикий, но все же менее дикий, чем я думал.

— А Московия... какая же это страна? — спросила синьора Анжиолетта. — Я о ней почти ничего не знаю... Знаю, что она страна дикая, что она далеко от нас, так далеко, что дальше и быть нельзя... и больше ничего не знаю!

Аббат усмехнулся.

— Я знаю только одно, — сказал он, — что если бы мне сулили золотые горы, если бы за это обещали сделать меня кардиналом, я все

же в Московию не поехал бы! Знаете ли вы, синьора, что там в течение двух, а не то трех месяцев совсем не видно солнца...

— Не может быть!

— Уверяю вас, что так. Но этого мало. Большую половину года там идет снег, идет без остановки, день и ночь, так что образуются целые горы — и ничего не видно, одна только снежная равнина. Не только дома, но и самые высокие деревья покрыты снегом. Московиты, если бы даже и светило над ними солнце, не могут его видеть. Они прорывают в снегу коридоры и только этим способом сообщаются между собою. Большую часть года они живут под снегом, как гномы под землею.

— Какой ужас! — воскликнула синьора Анжиолетта. — Только верно ли это, может быть, это неправда?

— Нет, все это правда, — спокойно и уверенно сказал аббат. — И представьте, иной раз, когда московит выйдет из своего жилища, чтобы навестить соседа, и идет по своему снежному коридору, вдруг ему навстречу белый медведь. Ну — и ни сосед его не увидит, ни жена с детьми его не дождутся. Белый мед-

ведь съест его без остатка... А холод бывает такой, что хотя московиты и надевают на себя зимою по нескольку звериных шкур, но все же замерзают. И прежде всего от холода у них глаза лопаются.

— Неправда! — перебила синьора Анжиолетта.

— Santa Maria! — воскликнул аббат. — С какой же стати я лгать буду?!

— Да подумайте только, разве люди могут так жить? Какой же народ может существовать под снегом, если все замерзают, если глаза у всех лопаются и если белые медведи всех едят?!

— Они и погибают в огромном количестве, — все тем же уверенным тоном объяснил аббат. — Но так как у их женщин каждый год непременно родятся дети, и весьма часто разом по два и по три, то народонаселение не уменьшается.

— Аббат, вы начинаете говорить вздор. И что ж, все это вам ваш молодой московит рассказал?

— Нет, я с ним не говорил об этом!

— О чем же вы в таком случае говорили?

— Я спрашивал его, как ему у нас нравится. Мне любопытно было видеть его восхищение нашей прекрасной Италией... после снежных коридоров и белых медведей.

— Что же он?

— Он пьян от восторга.

— Нет, мне его восторг не интересен, — внезапно оживляясь, сказала синьора Анжиолетта, — мне гораздо интереснее было бы послушать его рассказы о Московии и уличить вас во лжи, аббат. Послушайте, Нино, на завтра я даю вам поручение: извольте как можно раньше отправиться туда, где остановилось московитское посольство; извольте во что бы то ни стало познакомиться с молодым московитом и пригласить его ко мне.

— Как же я это сделаю? А если он не пойдет? Ведь он дикий человек!

— Как хотите, но завтра, завтра до вечера, вот здесь, на этом самом месте, я должна видеть молодого московита. Такова моя воля, таково вам мое приказание. А теперь: bona notte, — закончила она.

— Синьора, какая же ночь — вечер только начинается!..

— Да, но я с утра нехорошо себя чувствую... Мне скучно. Единственное интересное, что вы мне могли сказать, аббат, вы уже сказали. Нино сегодня никуда не годен, а потому вы оба мне не нужны...

С этими словами синьора Анжиолетта поднялась с кушетки, протянула свою белую, украшенную драгоценными кольцами руку для поцелуя аббату и Нино, благосклонно им улыбнулась и вышла из комнаты.

## IV

Оставшись вдвоем, Нино и Панчетти несколько мгновений молча глядели друг на друга с насмешливой улыбкой. В присутствии синьоры никак нельзя было определить их взаимные отношения: нельзя было сказать — друзья они или враги. Все их внимание сосредоточивалось на синьоре, а друг друга они будто совсем даже не замечали.

Но теперь, оставшись одни, они сразу же, в улыбке, в выражении глаз, а главное, в чем-то непередаваемом, но тем не менее ясном, высказали сущность своих отношений: они не только не были дружны, но положительно

ненавидели друг друга, и если бы обстоятельства не заставляли их сдерживаться и сохранять приличия, то, наверное, между ними давно бы уж произошли самые отчаянные столкновения и схватки.

Враждебность их отношений была понятна: оба они служили в качестве чичисбеев одной общей повелительнице, а повелительница эта была самой интересной и хорошенькой женщиной Венеции. Их привлекли к ней, главным образом, не материальные выгоды, не возможность вести на ее счет жизнь, полную всяких удовольствий, а сама она. Оба они были страстно влюблены в нее, и внешняя к ней близость, созданная их положением, возможность всегда быть при ней, видеть ее в самой интимной обстановке только способствовала, конечно, развитию их чувств.

Между тем синьора Анжиолетта держала себя как с тем, так и с другим именно как повелительница. Она не допускала ни малейшей тени фамильярности, а когда однажды Нино, не будучи в силах дольше владеть собою, в очень поэтических и красноречивых выражениях вздумал открыть перед нею со-

стояние своего сердца, она так на него посмотрела, что он вдруг почувствовал себя очень жалким, ничтожным и приниженным.

— Нино, — сказала она, — когда я увидела, что не могу одна справиться с моими делами, то пригласила вас, потому что мне говорили о ваших способностях и о вашем уме. Еще несколько фраз, подобных тем, какие вы сейчас себе позволили, — и я должна буду расстаться с вами, так как в человеке, с которыми постоянно вижусь, я прежде всего ценю ум.

Со всякой другой женщиной Нино нашелся бы что ответить и отстоял бы себя. Но тут он сразу же будто лишился дара слова. Он хотел отказаться от своих обязанностей и уйти навсегда, но не мог этого: он был будто прикован к палаццо Капелло, синьора Анжиолетта будто околдовала его.

Между тем это объяснение имело следствием то, что не далее как через неделю Нино должен был разделить свои обязанности и свою близость к синьоре с аббатом Панчетти. Это был для него нежданный и жестокий удар.

Если бы даже молодой аббат остался равнодушным к чарам красавицы, Нино все же стал бы ревновать его. Но Панчетти разделил участь всех мужчин, знавших синьору Анжиолетту. Он с первого же дня, несмотря на всю свою сдержанность, начал глядеть на нее влюбленными глазами.

Вступив в исполнение обязанностей официально признанного чичисбея, Панчетти сделал все, чтобы удалить Нино и остаться хозяином положения. С утра и до вечера он наглядно доказывал синьоре, что Нино хоть и недурной музыкант, но, во всяком случае, ниже своей репутации. Он вышучивал Нино всячески, смеялся над ним, злил его, заставлял выходить из себя и становиться действительно смешным и глупым.

Однако все его усилия пропали даром. Синьора, по-видимому, нашла именно то, чего ей было надо. Она была теперь застрахована от клеветы, насколько вообще можно быть от нее застрахованным. Нино и Панчетти оказывались идеальными инквизиторами и шпионами друг друга, и каждый разрывался на части, чтобы лучше другого услужить синьоре

и получить ее благодарность. К тому же их вражда, их борьба, вечные ухищрения подставить друг другу ногу, тончайшие стратегические хитрости, пускаемые ими в ход, — все это было для красавицы игрою, забавой, представлением, все это разгоняло ее скуку, помогало забывать иной раз одиночество сердца, ожидавшего или какого-нибудь фантастического каприза, или серьезного чувства. Одним словом, она была очень довольна своими двумя чичисбеями и ни за что не удалила бы от себя ни того, ни другого.

Наконец и они поняли, что не свернуть им друг другу шеи, и примирились со своим положением, находя, как это часто бывает, не только жизнь, но даже и радости, даже и своего рода счастье среди того ада, который клокотал у них в сердце...

И вот они, по удалении синьоры, молча и насмешливо глядят друг на друга. Наконец Панчетти прервал молчание.

— Corne sta di salute, signore?.. Как поживаете? — сказал он, складывая свои тонкие губы в любезную и вместе с тем ядовитую усмешку. — Вы бы, amico caro, посоветовались все

же с докторами...

— Что вы этим хотите сказать, signor abbate? — раздувая ноздри, но очень тихо перебил его Нино.

— Вот уже несколько дней как вид ваш меня смущает, — продолжал тоном участия аббат, — лицо у вас бледное, глаза без выражения... и синьора жалуется, что с вами ей скучно... Это плохие признаки...

— Однако синьора тоже не говорит, что с вами ей весело! — воскликнул Нино.

— М-м... — протянул аббат, — я ни на что и не претендую... я не светский человек, не артист... не считаю себя Нарциссом... не гляжусь по часам в зеркало...

— Я никогда не сомневался, signor abbate, что у вас хороший вкус и что вы любите лицезрение лишь прекрасного... однако оставим взаимные любезности, к которым мы оба, кажется, уже давно привыкли... Скажите, пожалуйста, что вам за охота была толковать синьоре о каких-то московитских медведях?.. Вот теперь и добывай ей северного медведя... может быть, нам же на голову...

При этих словах Нино аббат почесал свой

длинный нос, как он всегда делал, когда оказывался чем-нибудь внезапно смущенным.

— Мог ли я ожидать от нее такой фантазии! — произнес он. — Впрочем... я полагаю, у синьоры такой развитой вкус, несколько минут разговора с дикарем могут быть интересными — и только.

— Да, конечно, но скажите: этот дикарь... каков он?

Аббат окинул блестящим взглядом миниатюрную фигурку Нино и отвечал:

— Он высок, строен, сложен как атлет, у него голубые глаза и прекрасные белокурые волосы...

Нино невольно вспыхнул. Не далее как накануне, и в присутствии Панчетти, синьора Анжиолетта сказала, что мужчина должен быть высок и силен и что самые красивые глаза — голубые.

— Однако... ведь он — дикарь, — нерешительным тоном произнес Нино, — нельзя же его приводить сюда... синьора, наверное, сама поймет это... она пошутила...

Аббат злобно усмехнулся.

— Нет, синьора не пошутила, — сказал

он, — она приказала вам, мой дорогой друг, завтра непременно представить ей здесь молодого московита — и вы должны это исполнить.

— А если это невозможно?

— Если это невозможно для вас, то желание синьоры будет исполнено мною... Как видите — положение безвыходное... и вам остается повиноваться.

Нино невольно вздохнул.

— В таком случае скажите мне, где я должен искать этого медведя?

— Московитское посольство остановилось в палаццо Конери... и так как я уже там был и меня там уже знают, то я провожу вас и всячески облегчу вам исполнение тяжкого поручения, данного вам синьорой.

— Мне остается только благодарить вас, signor abbate! — с дрожью в голосе произнес Нино, театрально поклонившись.

— Не за что! — ответил Панчетти, тоже кланяясь. — Я, кажется, доказал, что всегда готов служить вам... чем только могу!..

## V

Солнце поднялось над морем, подернуло золотом воду каналов, заискрилось на стенах дворцов, на куполах церквей. Венеция, превращавшая ночь в день, пировавшая до позднего часу, только еще начинала просыпаться. В обширной комнате с несколько потускневшей от времени, но все же внушительной и богатой обстановкой, у огромного окна, из которого открывался чудесный вид сказочного, будто тонувшего в тихой, неподвижной воде города, стоял Александр Залесский.

Он уже с час как проснулся, нарядился в высокие желтой тонкой кожи сапоги, яркие шаровары, шелковую, всю расшитую хитрыми узорами рубаху, в бархатный кафтан, украшенный позументами и отороченный собольим мехом, и ждал, когда его позовут послы, то есть Чемоданов с Посниковым.

Вот уже месяцев семь как он покинул Москву — времени будто и немного, а между тем ему кажется, что целая вечность легла между сегодняшним днем и прежней его, московской жизнью. Да и по внешнему виду

сильно изменился он за это недолгое время: похудел, возмужал, в лице появилось какое-то новое выражение, в глазах стало светиться больше глубины, вдумчивости. Если бы Настя его теперь увидела, так непременно бы всплеснула руками и воскликнула: «Ах, и похорошел же ты, Алексаша!..»

Только Насти нет, и... и Алексаша в эти минуту вовсе о ней не думает.

Алексаша во все глаза глядит через окно и невольно шепчет:

— Вот она, Венеция, вот она!.. Много чудес разных видел, всего навидался... а уж этого... это — ровно сказка... ровно сон какой...

Да, много всяких диковинок пришлось ему увидеть за эти последние месяцы! Он был готов ко всяким чудесам, ко всяким необычайностям: действительность, как это всегда бывает, оказалась совсем иною, нисколько не похожею на то, что ожидалось; но все же эта действительность была такова, что не забудешь ее до скончания жизни. И представляется она теперь, словно бред какой...

Как ни торопилось по приказу царскому посольство, а все же несколько недель потре-

бовалось на сборы. За все это время Никита Матвеевич, убедившись, что царское слово крепко и что ни Матюшкин, ни Милославский ничего не могут поделать, присмирел и был мрачен. В первые дни, еще не овладев собою, он стал было громко жаловаться направо и налево, что вот, мол, силком у него отнимают сына и посылают в басурманское царство, если даже и не на смерть, то уж, во всяком случае, на верную погибель души.

При этом он довольно явственно и не стесняясь в выражениях прохаживался насчет новшеств, и даже «дела антихристовы» не были им забыты. Наконец его речи, от избытка возмущенного чувства, приобрели такую силу и выразительность, что те, к кому он с ними обращался, стали отходить от него и замечать ему, что им «таких срамных слов слушать не подобает и чтобы он о своей шкуре помыслил».

И пришлось поневоле стихнуть — только в укромной беседе с попом Саввою, за припертыми дверями и отводил себе душу Никита Матвеевич. На сына он негодовал, и жаль-то ему его было, и сам он не мог решить — чего в

нем было больше: негодования или жалости. Антонида Галактионовна так снаряжала Алексашу в путь, будто хоронила.

При таких условиях оставаться подолгу дома Александру было куда как не сладко, и он почти все дни, ссылаясь на «службу», проводил в Андреевском. У монахов оказалось несколько итальянских книг, и он с помощью своих познаний в латинском языке старался насколько возможно познакомиться и с итальянским. Эта трудная работа брала много времени, заставляла в себя углубляться и тем самым служила Александру большую службу.

Работая таким образом, с присущими ему упорством и прилежанием, он забывался, овладевал своими мыслями и не дозволял им бесплодно мчать его к Насте, которую он до времени не смел видеть, о которой не смел думать. Он знал от Ртищева, что Настя уже во дворце, у царицы, что добрая царица, которой «все» известно, сама переговорила с Настей, успокоила ее и что Настя, избавленная от всяких неприятностей и бед, будет ждать его возвращения. Он понимал, что судьба его, воплотившаяся в лице царя, царицы и Ртищева, к

нему весьма милостива, и, побеждая тоску сердца, был бодр и смело смотрел вперед. Чемоданова до отъезда он видел всего два раза, но оба раза Алексей Прохорович делал вид, будто совсем его и не замечает.

Наконец сборы были приведены к благополучному окончанию. Свита послов состояла из 33 человек. Различных вещей было взято столько, что пришлось нагрузить ими десятки подвод. Так как главнейшая и даже почти единственная цель посольства заключалась в том, чтобы взять у дука венецейского как можно больше денег, то казны послам было выдано немного. Взамен казны им были даны такие вещи, которые они могли бы продавать в чужих землях, — так с ними было отпущено 100 пудов ревеню и весьма большое количество соболиных и горностаевых мехов.

— Ну, а ежели немцы али латиняне ни ревеню, ни мехов у нас покупать не станут, а денег с нас за харчи и всякое иждивение требовать станут? — заявил Чемоданов в посольском приказе.

— А ты так сделай, чтобы они вас даром продовольствовали, да еще и подарки тебе де-

лали, — на то ты и посол его царского величества! — ответили ему.

— Ладно! — сказал Чемоданов и совершенно успокоился.

Перед самым отъездом была прочитана ему с дьяком Посниковым в царском присутствии подробная инструкция и вместе с нею выдано письмо царя к дуку венецейскому. Царь наказал послам всячески охранять честь русскую и милостиво простился с ними. После литургии и напутственного молебствия тронулись в путь.

У Александра долго звенели в ушах причитания матери, которая больше часу душила его в объятиях и отпускать не хотела, пока муж наконец не крикнул на нее по-своему. Сердце больно сжималось, и слезы стояли на глазах. Но вот скрылась за лесами Москва златоглавая — и будто прилив новой жизни нахлынул на Александра. Все кончено, назад нельзя — значит, надо вперед!

На первом же роздыхе Александр подсел к Чемоданову и попытался заговорить с ним. Тот повел на него одним глазом, долго не произносил ни слова и наконец сказал:

— Слушай, ты, навязали мне тебя за грехи мои... Послано мне, видно, от Господа Бога такое вот испытание, что должен я тебя видеть и не бить великим боем, как ты того заслуживаешь... Ну, я и выдержу... зла тебе не сделаю. Только одно — не подходи ты ко мне, не смей ты говорить со мною... потому я человек... не ровен час не выдержу и невзначай тебе зубы вышибу... Не подходи ты ко мне, не вводи в грех!

— Воля твоя, Алексей Прохорыч, — ответил Александр, — я что ж, я подожду, пока ты сам позовешь меня.

— Жди! — прорычал Чемоданов.

На том у них пока весь разговор и кончился. Зато с Посниковым Александр очень скоро и хорошо сошелся. Посников был человек лет за сорок, худощавый, невидный, с лицом некрасивым, но приятным и умным. Характером он оказался ровен и уживчив. Ртищев нашел нужным посвятить его в дела Александра и от имени царя поручил ему всячески охранять молодого человека. Посникову Александр сразу понравился, и он находил немалую для себя пользу и удовольствие в бе-

седах с учеником андреевских монахов...

Посольство благополучно и без задержек доехало до Архангельска, где, при посредстве голландских капитанов, было нанято два корабля, так как на один корабль нечего было и думать сложить весь груз. С наймом и нагрузкой кораблей провозились до сентября. Решено было ехать прямо из Архангельска до итальянского города Ливорно, ехать на тех же кораблях, нигде не останавливаясь, «кругом», так, чтобы во все время пути все земли были «по левую руку».

## VI

Двинулись. Чемоданов до самого отъезда выдержал — ни слова не говорил с Александром, не глядел на него. Когда же что-либо было ему нужно от молодого переводчика, он обращался к нему через посредство Посникова.

Чемоданов всячески обдумывал, нельзя ли как-нибудь так устроить, чтобы Александр ехал не на одном с ним корабле, а на меньшем и худшем, где помещалась большая половина груза и часть прислуги. Он совещался

об этом с Посниковым и доказывал ему, что нельзя оставить на корабле прислугу без присмотра и что кому же поручить этот присмотр, как не Залесскому.

— Уж коли нам навязали этого молокососа, то пусть хоть дело делает, — закончил он.

Однако Посников никак не мог с ним согласиться. Он качал головою и доказывал:

— Никак тому быть нельзя, Алексей Прохорыч. Первым делом о харчах ты не подумал... Что ж, он там с людишками нашими одну пищу есть, что ли, станет?.. Али для него одного на том корабле кухню заводить? Накладно это... Да опять ведь, и то должно помнить, что по наказу царскому быть нам во все время пути вместе с Александром Залесским и почитать нам его не яко толмача простого, а яко молодшего нашего посольского товарища...

На такие убедительные речи Чемоданову отвечать было нечего, и поневоле пришлось примириться с необходимостью быть на пути на одном корабле с Александром, иметь его постоянно перед глазами и вести неустанную борьбу с непокидающим желанием «бить его великим боем».

Александр очень хорошо проникал в мысли и чувства Чемоданова, но такая упорная ненависть Настиного отца его теперь совсем уже не страшила. «Перемелется — мука будет», — думал он, и то же самое говаривал ему Посников.

Главное же — некогда было много и думать-то об Алексее Прохоровиче: переживались такие новые, сильные впечатления. Шутка сказать: Александр на корабле голландском, среди моря бурливого и темного. Гребни волн ходят вокруг корабля, разбиваются белою пеною, нагоняют волны одна на другую, качают корабль, будто малую скорлупу ореховую. И куда ни глянешь — всюду эти набегающие друг на друга гребни волн, земли не видно, она в первую же ночь совсем скрылась. Корабль бежит, паруса надуты ветром, а все чудится, будто стоишь на одном месте, как раз на самой что ни на есть середине моря...

Чудно это и жутко. Корабль хороший, будто дом устроен. С палубы лесенка вниз, а внизу палата просторная с круглыми оконцами стеклянными. В палате посередине стол —

ножки его в пол вделаны, кругом стола скамьи, а по стенам нары. Все так хитро приноровлено. Возле столовой и спальной палаты — другая, то кухня, а ниже еще, к самому дну корабля спуститься, — так там и погреб.

Разместились все они как у себя дома — ладно и уютно. И в первые дни, то поднимаясь на палубу, то сходя вниз, Александр чувствовал себя очень хорошо. Морской воздух освежал его, будто вливая ему в грудь новую силу и бодрость.

Но вот, на вторые сутки, ветер стал крепнуть, море волновалось сильнее, и корабль начинало изрядно покачивать. Спервоначалу это даже нравилось Александру.

Сойдя вниз, он с изумлением увидел, как Чемоданов сидит весь бледный, держится за грудь и стонет. В невольном порыве кинулся он к нему.

— Алексей Прохорыч, что такое? Что с тобою?..

Но тот только руками замахал на него, продолжая стонать и мало-помалу начиная даже причитания: «Охти нам!.. Матерь Пресвятая Богородица! Худо... невмоготу, ахти

нам!..»

Александр поспешил на палубу к Посникову и сообщил ему о том, что с Алексеем Прохорычем творится что-то неладное. Тогда они спустились опять уже вместе. Чемоданов, как увидел Посникова, застонал еще сильнее.

— Иван Иваныч, — крикнул он ему, — да что ж это за напасть, что такое! С души воротит!.. Ой, батюшки, невтерпеж!

И только он произнес это, как вдруг все будто закружилось перед глазами Александра. Он ухватился рукою за стену, чувствуя, что и у него «с души воротит».

Через полчаса буря разыгралась еще сильнее, корабль заколыхался во все стороны, и среди завывания ветра, скрипа мачт со всех сторон раздавались человеческие стоны.

Пуще всех вопил Алексей Прохорович. Напрасно капитан-голландец и матросы всех уговаривали и объясняли, что это пустое, буря не Бог весть какая, она стихнет, и все снова будут здоровы. Морская болезнь была для москвичей полной неожиданностью, и все они полагали, что пришел их час смертный.

Однако Александр оказался не очень чув-

ствительным к этой болезни. Он забрался на постель, закутался одеялом и лежал неподвижно. Ему представлялось какое-то далекое воспоминание из времен раннего детства. Ему чудилось, будто он лежит в люльке и будто люльку эту качает мать, напевая какую-то знакомую песенку. Он почти слышал голос матери, почти различал слова песенки и, подбирая их, вспоминая, незаметно заснул.

Так он проспал несколько часов, и, когда проснулся, ночь уже прошла. Солнце светило над кораблем, и волнение почти утихло. Первое, что он перед собой увидел, было лицо Алексея Прохоровича, измятое, с взъерошенной бородою, но уже совсем не такое бледное, как накануне. Их взгляды встретились.

— Слава тебе, Господи, отошло... полегчало! — радостно выговорил Чемоданов. — А ты это что ж? Всю ночь спал себе как сурок, тебе и горя мало...

Но тут он вдруг сообразил, с кем это говорит, и мрачно отвернулся в сторону.

Корабль плыл дальше. Дни проходили за днями. Кое-когда навстречу попадались другие корабли. Корабельщики при таких встре-

чах здоровались друг с другом по-своему: трубили в трубу, кричали непонятные слова в рупор. Иной раз на далеком сером горизонте, где небо сходилось с водою, да так, что Александр никак разобрать не мог — где кончается небо и начинается море, показывалось что-то. Это была земля, берег. Берег будто бежал на них — и вот уже можно было различить высокие шпицы церквей, темные здания... Александр расспрашивал капитана (он уже начинал кое-что смыслить по-голландски, и запас его знаний увеличивался с каждым днем), что это за земля, какой это город, какой народ здесь живет... и так далее. Капитан очень охотно удовлетворял его любознательность, и Александр все записывал на бумагу вместе со своими собственными замечаниями.

Всякий раз, как между посольскими людьми объявлялось, что «земля видна», Чемоданов выходил на палубу, смотрел на землю, следил за движением корабля и, видя, что земля от них «по левую руку», успокаивался.

Но вот случилось так, что показавшаяся земля пришлась по правую руку. Как ни при-

кидывал Чемоданов — по правую руку земля, да и полно! Посникова призвал, показывает. И тот смутился. К капитану. Ты, мол, подрядился везти прямо кругом и сам говорил, что все земли по левую руку будут. Да так оно и по карте выходит. А теперь это что ж такое? Земля ведь это, и по правую руку... Так куда ж это ты нас везешь, голландец ты этакий?!

Голландец долго не мог в толк взять — чего от него требуют, а когда понял, то еще дольше никак не мог втолковать послам, что это не земля, а маленький остров, которого на их карте совсем даже и не показано. Чемоданов и Посников, утихнув наконец, все же долго оставались с подозрением и то и дело толковали промеж себя: «А что, коли голландец их надувает и Бог весть куда завести хочет?»

Осень надвинулась поздняя. Раза два-три снежок по-пархивал, но тут же таял. По ночам не раз ветер бушевать принимался, и корабль качало побольше и подольше, чем в первый раз. Крепились москвичи, и хоть в конце концов все, один за другим, начинали страдать морскою болезнью, но все же не теряли бодрости, зная теперь, что дело не к

смерти.

— Ну, уж и морской путь! — говорил после сильной качки Чемоданов Посникову. — Оно, конечно, в теплое да тихое время — куда хорошо, а в холод этакой да бури... кабы знал я про все такие муки, не поехал бы, видит Бог, не поехал бы!

— Это ты истинно говоришь, Алексей Прохорыч, — ответил Посников, — беда!.. Только теперь что ж об этом! Корабли подряжены вплоть до Ливурны... Бог милостив — доберемся... Ну, а оттуда, из Венеции, как дело свое справим, сухим путем пойдем.

— Да нешто сухим-то путем можно? — оживляясь, воскликнул Чемоданов.

— Для чего нельзя? Можно.

— А коли война с поляком? Со шведом?

— Тогда в обход.

— Как же это так в обход? Нет, Иван Иваныч, коли война — никак сухим путем не пробраться... дорог таких нету... как раз во вражеские руки угодить.

— Ан нет, не угодишь. Залесский-то намедни мне как есть все подробно на бумаге начертил, как на ладони видно...

— А нешто он знает?

— Он, батюшка Алексей Прохорыч, все знает, недаром в Андреевском у монахов обучался... парень у-у какой! Голова — парень!

— Где ж эта бумага-то, что он чертил?

— У него, Алексей Прохорыч, прикажешь — я его кликну, он тебе все и объяснит.

Но Чемоданов на это замахал руками.

— Не хочу я его объяснений... видеть его на могу!.. Да и врет он... ничего путем не знает... где ему знать!

Он замолчал, но потом прибавил совсем уже иным тоном:

— А ты вот что, Иван Иваныч, ты у него ту бумагу возьми... только, чур, не для меня, а для себя возьми... а ужо как он спать завалится, ты мне и покажи... разберем... Врет он... Ничего толком не знает... Как дашь бумагу — я тебе и докажу, что врет! — закончил Алексей Прохорович, будто с большим пренебрежением, и даже отплюнулся.

## VII

Посников передал Александру свой разговор с Алексеем Прохоровичем и взял у него чертежи.

— Пусть он докажет тебе, что я ничего не знаю, — сказал Александр с веселой улыбкой, — только бы нам благополучно добраться до Ливурны, а уж там, хочет не хочет, придется ему переложить гнев на милость... без меня не обойдется.

— Вестимо так, — отвечал Посников, — да ведь и человек-то он не злой, только нравен да упрям больно — из одного упрямства теперь тебе спину показывает...

Но Александру не пришлось дожидаться приезда в «Ливурну». У берегов Ирландии поднялась такая буря, что голландцы, сначала по обыкновению успокаивавшие своих пассажиров, вдруг объявили о настоящей, большой опасности. Среди ночного мрака море представляло клокочущую бездну, разверзавшуюся каждую минуту и каждую минуту готовую поглотить корабли. Волны со всех сторон вздымались, как стены, и обрушива-

лись на палубу, стекали внутрь потоками, разрушая все препятствия. Корабль метало как щепку.

Думать теперь о том, что «с души воротит», никому не приходило в голову. Вся посольская прислуга, вместе с матросами, была на ногах. То и дело выкачивали воду, заделывали наглухо окна, многие стекла которых разбились. Волнение моря усиливалось, казалось, с каждой минутой.

Капитан, опытный старый мореход, весь бледный, говорил, что такой бури он еще никогда не испытывал и что вряд ли корабли, хоть и почти новые и очень крепко слаженные, ее вынесут. При этом берег далеко и приблизиться к нему нет никакой возможности. На помощь извне рассчитывать нечего.

Ко всем бедам среди ночи оказалась течь, и в трюме воды набралось выше аршина. Течь кое-как заделали парусом и стали усиленно выкачивать воду ведрами и котлами.

Ждали утра в надежде, что оно принесет спасение; но утро оказалось еще хуже ночи. Проходили часы, а буря не унималась, а волны все с новой и новой силой перекидыва-

лись через борт и заливали палубу. Вода в трюме не прибывала, благодаря непрерывному выкачиванию, но и не убывала. К вечеру второго дня все изнемогли от усталости. На всех лицах изображалось полное отчаянье. Вот уже несколько посольских «людишек», в полном изнеможении, прекратили работу, и никакими мерами невозможно было заставить их выйти из одолевшей их апатии. Они легли там, где стояли, прямо в воду, и, казалось, ничего не видели, не понимали.

Александр, бодрившийся до последнего времени и рук не покладая работавший не хуже матросов, увидел наконец, что больше не может. Он весь будто окаменел, руки не слушались, не поднимались. Посников, несколько часов отдыхавший, сменил его, а он, шатаясь и падая на каждом шагу, кое-как добрался по мокрому полу до столовой и в изнеможении опустился на скамью, которая только потому оказалась на месте, что ножки ее были крепко-накрепко приделаны к полу.

Сквозь бледный полусумрак, лившийся из единственного оставшегося в каюте неразбитым оконца, рисовалась картина, полная раз-

рушения. Вся столовая была исковеркана, даже большой стол почти выворочен из пола. Со всех сторон снесли сюда разные ящики и всякую поклажу, и эти ящики и узлы, при каждом сильном сотрясении и наклоне корабля, сдвигались с места, ударялись друг о друга и, будто живые, двигались по мокрому полу.

Плеск огромных волн, грузно падавших и разбивавшихся над головою, на палубе, свист и завывание ветра, скрип и визг снастей и смутный гул людских голосов — все это сливалось в немолчный ужасный шум, раздражающий и отвратительный.

Крепко держась за лавку и упираясь ногами в какой-то ящик, чтобы не упасть, Александр опустил голову на грудь, закрыл глаза и на несколько мгновений совсем забылся. Но от сильного толчка, от которого страшно застонал, затрещал и завизжал всеми своими снастями корабль, забытье прошло, мысли прояснились, явилось сознание действительности.

Полное отчаяние охватило душу Александра. Он уж не верил теперь в возможность

спасения. Он знал теперь, что приходит смерть, ужасная, неминучая, с которой нельзя бороться, от которой некуда бежать. Смерть! Еще час тому назад эта мысль не приходила ему в голову, несмотря на отчаянное положение корабля, несмотря на то, что он отлично понимал всю опасность. Но он не рассуждал, он делал, что надо, работал, пока хватало сил. Теперь же он почувствовал всем существом своим, что смерть близка, что она подходит все ближе и ближе с каждой секундой...

Смерть! Умереть... да разве возможно это? Жизнь представлялась до сих пор какой-то бесконечностью, все было впереди и все манило. И вдруг — впереди ничего... и все уже осталось позади!.. В один миг вся жизнь, все прошлое воскресло и стало как живое перед Александром. В один миг он будто наяву увидел всех близких, он услышал голоса их... Вот это говорит отец, а это мать, а это Федор Михайлыч... а это Настя!..

— Смерть пришла! — слышит он сквозь гул и треск, у самого своего уха чей-то грустный голос. Но кто говорит это?.. Это не отец,

не мать, не Ртищев и не Настя.

Чья-то рука тяжело легла на плечо его. Он открыл глаза и в полумраке разглядел лицо Чемоданова со спутанными волосами и всклокоченной бородой.

— Смерть пришла! — повторил Чемоданов. — Видно, так Богу угодно!..

Голос его дрогнул, но вдруг окреп, и он продолжал даже почти спокойно:

— Страшно оно и тяжко, да против Бога не пойдешь... Его святая воля! Да и то опять — сколько ни живи, а умирать все же придется... так не все ли равно, где Господь пошлет по душу... Так-то... вот что я скажу тебе, Лексаша, много ты виновен предо мною, и ты, и отец твой, да коли привелось нам помирать вместе!.. где уж тут враждовать... грех это, особенно перед смертью... простил я тебя, прости и ты меня, Христа ради!..

Александр вдруг забыл все — он слышал только эти последние слова Чемоданова. Он приподнялся, кинулся к нему на шею и почувствовал, что и старик его обнимает.

— Алексей Прохорыч, — сквозь подступавшие рыдания прерывающимся голосом шеп-

тал он. — Господь с тобою... нешто я что... за что мне прощать тебя... в сердце своем я всегда почитал тебя и почитаю... что у вас там с батюшкой — не мое то дело... Алексей Прохорыч... да неужто — смерть? — отчаянно закончил он, и сердце у него остановилось в ожидании ответа.

— Смерть, Алексаша! — спокойно и уверенно проговорил Чемоданов.

— Боже мой... да за что же? — невольно вырвалось из груди Александра.

— Судьбы Божии неисповедимы... Жаль мне тебя... молод ты... ну, да что об этом... Молиться давай, Лексаша... И у тебя, чай, грехи найдутся... а у меня, старого... ох... грешен я, грешен!.. Господи, помилуй!..

Он, все не выпуская Александра, осенил себя крестным знамением, и Александр почувствовал, что еще не все погибло, что Бог близок, что Он услышит... И он всей душой, всем существом своим стал молиться.

## VIII

Медленно, будто все еще раздумывая и не зная, на что решиться, смерть стала отступать. Ветер внезапно изменил направление. Расплескавшееся море еще бурлило, волны еще вздымались; но в этом волнении уже чувствовалась как бы усталость. Опытный капитан первый пришел в себя, ободрился. И лицо у него сделалось совсем другое, и распоряжался он не тем голосом.

Его вид сразу же подействовал на экипаж и на пассажиров. Люди, совсем обессиленные и впадавшие в полную апатию, почувствовали как бы прилив новых, неведомо откуда взявшихся сил и принялись за работу.

Теперь море быстро стихало. Важных повреждений на кораблях, по счастью, не оказалось, воду почти всю выкачали и благополучно достигли гавани, чтобы сделать необходимые починки, запастись водою, хлебом, соленым мясом и снова пуститься в дальнейший путь.

Так как приходилось все же стоять с неделю, то капитан советовал сойти на берег, но

Чемоданов и слышать о том не хотел.

— Едем мы до Ливурны прямо и с кораблей никуда не тронемся, — объявил он.

Все готово. Поплыли. Несмотря на то что ноябрь подвигался уже к половине, москвичи с изумлением замечали, что становится все теплее и теплее, а как начали приближаться к Португалии, то совсем сделалась весенняя погода. Небо голубое, безоблачное, ветерок теплый, ласкающий, солнце так славно греет.

Вышел после обеда Алексей Прохорович на палубу, поставил спину на солнышко и чувствует, что хорошо ему, легко на душе, во всем теле приятная теплота, бодрость, будто десяток лет с плеч свалился.

А тут и Александр вышел на палубу. Глянул на него Алексей Прохорович весело.

— Подь-ка сюда, Лексаша! — крикнул он.

Александр не заставил себя ждать. Теперь, после смертной опасности, соединившей и примирившей их, отношения их изменились. Чемоданов уже не чувствовал потребности бить Александра великим боем. Раз простил, раз примирился — так и баста. К тому же молодой Залесский ему с каждым днем начинал

все больше и больше нравиться, его будто что-то невольно влекло к нему. Но все же, несмотря на это, Алексей Прохорович сдерживался, старался глядеть на «парнишку» строго и хотя чувствовал в беседах с ним большое удовольствие, но все же напускал на себя, обращаясь к нему, большую важность.

Однако теперь, под влиянием плотного обеда, нескольких чарок доброго вина, а главное под влиянием этого теплого солнца и живительного морского воздуха, он забыл свою важность и строгость и, сам того не замечая, назвал Залесского — как и в тот страшный час, когда смерть казалась неизбежной, — Лексашей.

— Что же это, братец, такое? — весело и смеясь глазами сказал он. — Куда ж это мы зиму-то девали? Где ее прогуляли? А?

Александр радостно улыбнулся.

— Да уж это как твоей милости будет угодно, Алексей Прохорыч, хоть ты тут что хошь — а зимы в этом году не видать, зима на Москве осталась...

— Так неужто так-таки никакой зимы и не будет?

— Не будет.

— Врешь!

— С чего же я врать стану... Не на север, а на юг едем.

— Чудны дела Твои, Господи!..

И Чемоданов задумался.

— А о чем это ты с капитаном-то болтал? — вдруг спросил он.

Александр при этом вопросе сделался серьезен.

— Да слухи ходят плохие...

— Какие слухи?

— А вот капитан говорит, что те шкипера корабельные, которых мы вчера встретили, уверяют, будто за Гибралтаром много пиратов...

— Пиратов... Это что ж такое?

— А так морские разбойники прозываются, Алексей Прохорыч.

— Что ты? Шутишь!.. Какие там еще морские разбойники... — проговорил Чемоданов, чувствуя, что все его радостное настроение портится. Все было так чудесно, думалось, все опасности миновали... и вдруг — морские разбойники.

Между тем Александр продолжал:

— Собираются, вишь ты, эти пираты целыми шайками, снаряжают корабли, запасаются оружием всяким и плавают, торговые корабли выглядывая. Как завидят корабль — сейчас клич друг дружке дают, гонятся за тем кораблем, обстреливают его; поймают — людей всех перережут, товар заберут, а корабль — ко дну... Много, говорит капитан, торговых кораблей с богатыми грузами пропадают без вести от этих пиратов.

— А ведь коли так, дело-то дрянь выходит! — с беспокойством воскликнул Чемоданов. — Что ж голландец-то говорит?.. Ведь коли за Гибралтарой разбойники нас поджидают, то, по крайности, должны мы на случай нападения приготовиться, мортиры выкатить, зарядить их...

— Об этом мы с капитаном и говорили, Алексей Прохорыч, сегодня же начнем готовиться на случай нападения...

Оба корабля были скоро приведены в боевой вид; ежедневно ожидали нападения пиратов; каждую точку, появлявшуюся на горизонте, принимали за разбойничий корабль.

Прошло несколько дней, и вот, едва миновали Гибралтар, действительно заметили что-то подозрительное. Из-за скалы, у испанского небольшого городка, который, по словам капитана, назывался Мотриль, выплыло три каких-то корабля, и скоро уже нельзя было сомневаться в том, что корабли эти разбойничьи и что они начали погоню.

Разбойники настигают. Конечно, оно ведь еще неизвестно, чья возьмет; а все же силы не равны. Все приготовлено к бою. Почти все на палубе и зорко следят за приближающимися пиратами. Посникова не видно; он внизу, и у него зуб на зуб не попадает от страху. Во время бури, у берегов Ирландии, когда погибель казалась неминучей, когда смерть в холодной и соленой морской глубине рисовалась воображению со всеми своими ужасами, Лесников не падал духом, работал изо всех сил и всячески старался ободрить окружавших его, доведенных до полного отчаянья людей. Теперь же, когда опасность была, во всяком случае, не столь неизбежной, когда приходилось бороться не со слепой и непобедимой стихийной силой, а с людьми, которых

можно было и победить, он струсил, а еще несколько часов тому назад подтрунивал над Чемодановым, тревожившимся все это последнее время и то и дело поднимавшимся на палубу — взглянуть, не видать ли где-нибудь пиратов.

С Чемодановым оказалось наоборот: едва разбойничьи корабли начали погоню, он вдруг забыл все свое беспокойство, оживился, созвал своих людей и самым спокойным образом отдавал им приказания относительно того, как надо действовать в случае нападения.

Глядя на него, ободрился и Александр и даже кончил тем, что просто желал нападения...

Между тем пираты, подойдя к кораблям на самое близкое расстояние и разглядев сделанные приготовления к защите, обменялись друг с другом сигналами и вдруг повернули назад, Да с такой поспешностью, будто сами испугались погони.

— Вишь, поганцы! — весело говорил Чемоданов, потирая руки. — Ишь, срамники, улепетывают!.. Видно, русского духа не жалуют...

То-то же!..

## IX

Остальное путешествие вплоть до Ливорно было благополучно. Пираты не встречались больше, погода стояла прекрасная, корабли иной раз плыли в близком расстоянии от берега, который был неизменно «по левую руку», и москвичи любовались чудными видами, красивыми городами. Все это было так непохоже на свое, русское, знакомое с детства, что нашим пловцам казалось, будто они совсем и не на земле даже, а на какой-нибудь неизвестной «планиде».

Алексей Прохорыч, выходя на палубу, подзывал к себе Александра, подталкивал его и, указывая на какой-нибудь живописный вид, говорил:

— А?! Это что ж, братец, такое?.. Деревья-то? Строение... гляжу я, гляжу — и вот так и чудится, что оно не наяву. Да и наяву ли, братец?.. Может, это так только... один отвод глазам... одно дьявольское прельщение?

— Какое там дьявольское прельщение, Алексей Прохорыч, — отвечал Александр, —

вон голландец говорит, что еще и не таких чудес наглядимся в Италии... А про Венецию что толкует... послушал бы...

— Что ж голландец толкует?

— А вишь ты, будто Венеция-то плавучий город, на воде построена... улиц нету... а все на воде...

— Ну это-то он уж врет, морочит тебя, а ты, дурак, развеся уши и слушаешь... а того сообразить не можешь: как же это, чтобы город был на воде построен?! Да и зачем его на воде строить, коли земля есть?! Ну, сам рассуди — как тому быть!..

— Эка, эка! Гляди-ка, это что ж такое? — И он показывал пальцем на обрисовывающиеся очертания какого-либо замка. — Церковь не церковь, дворец не дворец... сгинь, пропади, дьявольское наваждение! Да воскреснет Бог...

Он крестился, зажмуривал глаза и потом понемногу открывал их снова.

— Ишь ты, не пропадает...

— Да и не пропадет, — раздумчиво говорил Александр, жадно вглядываясь в очертания замка чудной, никогда не виданной постройки, в далекие силуэты гор, — хорошо здесь за

морем, и зимы вот нету... а у нас теперь что?

И он чувствовал, как начинает биться и щемить сердце.

— Алексей Прохорыч, ведь у нас теперь... ведь Рождество подходит... святки!

— Да, Алексаша... колокола теперь на Москве гудят... добрые люди к празднику готовятся... морозец... снегу-то, чай, снегу!.. Белый он теперь, чистый... ровно алмаз искрится на солнце... Эх, братец, ну чего мы тут попусту глазеем, эка невидаль! Да пропадай ты пропадом, прелесть басурманская! У нас куда лучше, куда лучше!

— Вестимо, у нас лучше! — из глубины сердца повторял Александр вслед за Чемодановым, но глаза все же невольно глядели и невольно любовались «заморскою прелестью»...

Приезд русского посольства в Ливорно не был для города неожиданностью. Недавно вернувшийся из Москвы дипломатический агент венецианской республики, Вимина, проездом через Ливорно сообщил властям, что вслед за ним должно появиться московское посольство, отправляющееся в Венецию.

В Ливорно уже имели кое-какое представление о Московии, так как между ливорнскими купцами и Архангельском существовали торговые сношения. Россия поставляла тогда в Италию весьма значительное количество икры и воску, а также собольих и иных мехов.

Богатый купец Лонглан, издавна торговавший с Архангельском, убедил своих сограждан сделать московскому посольству блестящий прием. Едва русские корабли показались у ливорнского рейда, как со всех стоящих в рейде судов раздались салюты, выстрелы из мортир. Чемоданов, нарядившийся в богатую посольскую одежду, в высочайшей своей шапке, важно стоял на палубе и, заслышав выстрелы, внезапно оживился. Его сердцу было отрадно это выражение почета, которым его встречали. Он немедленно же распорядился, чтобы отвечали такими же выстрелами из мортир.

— Пороху не жалеть! — крикнул он. — Царь-батюшка не станет мне пенять за порох... Коли нас почитают, то и мы должны почтением ответствовать... Ведь мы не простые

гости... мы посольство великого государя — и все должны видеть это и чувствовать...

— Иван Иваныч... Лександр Микитич! — кричал он. — Что ж это вы? В каком платье? Сейчас, скорее — дорогие кафтаны, шапки! Али забыли, кто вы?.. Пусть все видят... пусть все чувствуют!

Посников и Александр внезапно прониклись его словами, его чувство сообщилось и им — и через пять минут они стояли уже рядом с послом в кафтанах, парча которых сверкала на солнце, и в высоких собольих шапках.

— Чур, не сходить на берег, пока ихнее начальство не приедет к нам само на поклон и не пригласит в свой город! — торжественно объявил Чемоданов.

— Ну, а коли они о том не догадаются, ведь мы не в Ливурну посланы, — заметил было Посников.

— Посмотрю я, как они не окажут такого почтения послам его царского величества! — с все возраставшей важностью сказал Алексей Прохорович, и по его лицу видно было, что он не тронется с места, пока не явится ли-

ворнское начальство.

Ждать, однако, пришлось недолго. Губернатор Ливорно, Антонио Серристори, послал чиновника приветствовать приезжих.

Нарядный синьор, в сопровождении вооруженной стражи, взошел на палубу и почтительно раскланялся перед послами, причем Чемоданов важно кивнул головой, а Посников поклонился пониже.

— Александр, переведи... что он такое бормочет, этот куцый, и кто таков? — строго поводя глазами, произнес Алексей Прохорович.

Александр смущенно и несколько робея подошел к нарядному синьору и обратился к нему на латинском языке. Синьор стал вслушиваться, понял, любезно улыбнулся и, мешая латинские и итальянские фразы, объяснил Александру все, что было надо...

— Ну? — нетерпеливо вопрошал Чемоданов.

— Он послан здешним губернатором поздравить нас с приездом и просить сойти на берег... Жить нам предлагает в доме почтенного купца Лонглана... наш груз, пока его не перевезут в дом, будет охранять стража.

— Ладно! — сказал Алексей Прохорович. — Да спроси ты его — он-то кто? Что за птица?.. Уж больно что-то невзрачен...

Александр спросил и перевел.

— Он говорит, что он ближний человек губернатора и что губернатор сам бы приехал, да вот уж с неделю как нездоров, из дому не выходит.

— Ну, коли нездоров, так ты скажи, что в этом Бог волен и что мы его за болезнью извиняем... Скажи, что о купце Лонглане мы слышали и что ежели он сумеет принять нас, как подобает нашему достоинству, то мы погостить в его доме согласны...

Александр, конечно, смягчая высокомерный тон посла, передал его слова синьору и, выслушав все, что тот ему ответил, обратился к Алексею Прохоровичу:

— Он говорит, что город Ливорно радуется нашему приезду, что город готовит нам встречи, пиршества и всякие удовольствия... Он надеется, что послы московского царя останутся довольны приемом.

— Вот это он ладно говорит, — покровительственно кивая синьору, произнес Чемо-

данов. — Скажи ему, что я им доволен, пусть продолжает служить и почтительно вести себя... тогда я сделаю ему подарок.

Алексей Прохорович очень бы рассердился, если бы мог понять, что Александр ничего не сказал синьору, а только поблагодарил его от имени царского посольства.

## X

После нескольких месяцев морского пути, сопряженного с мучениями и опасностями, город Ливорно показался москвичам сущим раем. В первые два, три дня они просто не могли очнуться и понять, что вокруг не море, а твердая земля. У них кружились с непривычки головы, и нет-нет да все вокруг так и заходит ходуном, все будто шатается, качается...

Но мало-помалу эти неприятные ощущения прошли, и путники стали наслаждаться чувством безопасности, довольства и восхищения диковинками, которые их теперь окружили. Зимы, несмотря на вторую половину декабря, и в помине не было. Теплынь стояла будто весною. В чудных садах росли

невиданные лимонные и финиковые деревья, и были те деревья все в плодах, вкусных-превкусных, сочных и сладких.

Дом почтенного купца Лонглана оказался обширным, таким, какого на Москве не было и у самого богатейшего боярина. Убранство оказывалось тоже отменным. Покои, отведенные посольству, были светлые и большие, с высокими окнами, сквозь которые как есть все было видно, так как в окна эти вставлена была не слюда, как на Москве, а значительной величины чистые и чудесные стекла.

Посольская свита то и дело ахала, рты разевала и руками разводила от удивления.

Дивился всему и Чемоданов, но тем не менее в первый же день по приезде он созвал всех своих и строго-настрого приказал им ничему не удивляться.

— Рты разевать не сметь! — грозя пальцем, крикнул он. — Что бы ни увидели, делайте вид будто и не видите, а коли и видите, то не примечаете... Смотреть можете и про себя, коли охота, дивитесь сколько хотите... Только чтобы эти немцы али там тальянцы, что ли, вашего удивления не замечали. Ведь они, по-

ганцы, над нами издеваться станут. Ишь, скажут, серые мужики наехали, дома-то ничего, видно, изрядного нету, беднота, видно, голь перекатная...

— Так неужто у нас есть что-нибудь такое... подобное, батюшка Алексей Прохорыч?! — решился сказать кто-то из посольской свиты. — Ведь это что ж такое, ведь такого и во сне никто из нас никогда не видывал!..

— Как же бы это тебе во сне пригрезилось такое, чего ты наяву не видел никогда?.. Вот болван, право! — закричал Чемоданов. — Мало ли на свете разных диковин! Свет, вишь ты, как велик — и год, и другой плыви, так и то еще неведомо сколько плыть останется... Ну, что ж? Ну, нет у нас ничего здешнего, так зато есть у нас такое, чего здесь ни за какие коврижки не сыщешь. Да у нас, умный ты человек, неужто хуже жить? Куда лучше, только по-другому... А это только так спервоначалу да с непривычки все больно красиво и чудно кажется... Да не в том дело. Хорошо оно либо худо, не сметь удивляться, не сметь давать себя в насмешку! И ежели я кого из вас замечу, что стоит рот разиня, то больно пороть бу-

ду!.. Вот и весь мой сказ, и чтобы мне повторять этого не пришлось. Держите себя вежливо, да чтобы они, эти людишки здешние, уважали вас и знали, кто вы... Вы слуги царские, посольские — так и не забывайте этого!..

Сам Алексей Прохорович не забывал своего звания ни на минуту и вместе с Посниковым только и помышлял, только и толковал о том, как поступать надо, чтобы не нарушить этикета, не сделать чего-либо неподходящего. Александру поручено было всех здешних людей обиняком расспрашивать и от них выведать относительно «немецких» свычаев и обычаев.

В первое время, однако, приноровиться к итальянскому обращению москвичам было трудно, почти даже совсем невозможно. Уж чересчур велика была разница между московскою и итальянскою жизнью того времени. Когда послы выезжали осматривать городские достопримечательности или вообще показывались на улицах, вокруг них всегда собирались толпы народа, разглядывали их без всякой церемонии и, нисколько не стесняясь, подсмеивались над ними. У Александра, мно-

гое понимавшего из громких замечаний, не раз чесались руки, и он едва сдерживался, чтобы не поколотить какого-нибудь нахала.

Все в русских людях казалось итальянцам смешным и комичным. По городу сразу же стали ходить о московском посольстве всякие слухи и рассказы, далеко не всегда верные, с различными прибавлениями. Говорили, что московиты живут очень грязно и спят где ни попало, на полу, не раздеваясь, что они объедаются рыбой так, что все пропитаны рыбным запахом, что они опиваются водкой. Между тем одежда на них всегда оказывалась чистой и красивой, и пьяными их никто не видал.

# XI

Едва послы огляделись и отдохнули, как сам губернатор Ливорно Серристори сделал им визит.

Он оказался красивым человеком средних лет, в дорогой бархатной с позументами одежде, поверх которой была надета епанча, а на шее красовалась золотая цепь. На голове у него была шляпа с большим пером. Он явился в сопровождении ассистентов.

Чемоданов встретил губернатора приветливо, но не без важности, протянул ему руку, а затем сел в кресло и уже потом пригласил жестом сесть и гостя.

— Скажи ему, — обратился он к Александру, — что мы радуемся его видеть в добром здоровье и что он очень хорошо сделал, что к нам пожаловал. По возвращении на Москву мы похвально о нем отзовемся великому государю. Скажи ему, что город Ливорно нам пришелся по нраву и что мы погостим здесь некоторое время. Да еще скажи, что у нас с собою большой запас всяких товаров и мы намерены изрядную часть из продать здесь, в

Ливурне... так вот, чтобы он приказал купцам здешним приходить к нам и давать за наш товар добрые цены.

Александр передал губернатору все это, насколько умел почтительнее и любезнее.

Серристори отвечал, что рад гостям, чтобы они жили в городе сколько им будет угодно, и что купцов он пришлет.

Расспросив об их путешествии, губернатор, движимый некоторым любопытством, перешел к вопросам о Москве, о царе.

Когда Александр передал послу эти вопросы, Алексей Прохорович приосанился.

— Скажи ты ему, — горделиво закидывая назад голову и принимая важный вид, мерно начал он, — скажи ты ему, что наш государь — самый великий государь во всем мире, что богатства его неисчислимы, что страна наша самая великая страна и что всего у нас в изобилии — злата и серебра, мехов драгоценных, камней самоцветных и всякого богатства. Скажи ты ему, что у царя нашего рати верной видимо-невидимо и что царь-батюшка всякого врага и супостата с Божией помощью побеждает... Скажи ты ему, — возвы-

шая голос, сверкая глазами и даже вставая с кресла, продолжал Чемоданов, — что нет еще да и не будет в мире такого народа, который победил бы матушку Русь православную, ибо велика ее сила-крепость, велико ее терпение!.. Покорила она несметные полчища татарские, сбросила с себя иго поганых, невредимо вышла изо всяких смут — и во веки веков невредимой останется. Скажи ты ему все это, Лексаша, не пропусти ни единого слова, пусть все это поймет, и почувствует, и своим расскажет!

Вдохновение Алексея Прохоровича подействовало и на Александра. Он сам исполнился таким же вдохновением. Откуда что взялось — перевел он Серристори слова посла царя московского и ничего из них не выкинул, да еще и от себя прибавил. Красно говорил Лексаша.

Иноземец слушал внимательно — не зная, верить или не верить. Но и старый посол, и молодой переводчик говорили с таким жаром, с таким убеждением, что ливорнский губернатор невольно им поверил. К тому же и до того слыхал он, что Московия — государ-

ство сильное.

Он почтительно простился с Чемодановым и с Посниковым, дружественно с Александром — и уехал.

На следующий день к Александру явился тот синьор, который их встретил от имени губернатора, и, поговорив о том, о сем, сказал Александру, что губернатор ждет визита послов, который они должны ему отдать по правилам вежливости и не откладывая. Александр тотчас же сообщил об этом Алексею Прохоровичу.

Но посол ответил:

— Не знаю я про то, как это у них и какая тут вежливость... Посольского визита мы ему возвратить не можем, ибо от государя не получили на сей предмет никаких полномочий. Сам знаешь, посланы мы не в Ливурну, а в Венецию, а посему визита посольского губернатору отдавать нам не полагается. Ежели же он вечеринку для нас устроит и позовет нас с почетом на ту вечеринку, то мы сделаем ему честь, не откажемся. Так и передай.

— Только как же так, Алексей Прохорыч? — смущенно возразил Александр. — Ко-

ли и впрямь вежливость того требует. Ведь он первый был. К чему же обижать его...

— А так же вот, Лександр Микитич, не твоею ума это дело... что ты мне за указчик! Сам знаю. Нешто он король али там дук? Губернатор он, воевода значит. Ну, сам я тоже воеводой-то был, а теперь повыше его званием. Одно слово — пойди и передай ему, что я сказываю.

Делать нечего, пришлось Александру всячески хитрить перед синьором и плести какую-то любезную околесицу, в конце которой все же, со стороны москвичей, оказывалась крупная невежливость.

Однако губернатор не стал обижаться. Через несколько дней он устроил у себя в губернаторском доме бал и пригласил на него московское посольство.

## XII

Чемоданов, а вслед за ним и Посников в своей боязни уронить русское посольское достоинство, стали заходить несколько далеко. Получив приглашение на губернаторский бал, они потолковали между собой, решили, что отправятся лишь в том случае, если Серристори вышлет за ними парадные экипажи и почетную стражу под начальством уже знакомого им «синьора».

Губернатор спорить не стал и под влиянием полученных им от послов сведений о могуществе Московии решил исполнить все их причуды. К тому же оказываемый приезжим и поднимавший их значение почет в то же время льстил самому губернатору и городу Ливорно. «Вот, мол, какие важные люди к нам приехали!» Наконец — это посольство из неведомой, какой-то почти сказочной страны, эти удивительные парчовые кафтаны и меховые шапки, даже самые странности московитов — все это было зрелищем для народа, а южный народ жадно ищет зрелищ.

Когда парадные экипажи подъехали к до-

му Лонглана и «синьор» со стражей вошел в посольские покои, то Чемоданов приказал перво-наперво угостить гостей — как «синьора», так и стражу — водкой. Слуги внесли московскую водку, налили ее в большие чарки, и Александр объявил итальянцам, что по русскому обычаю они должны выпить чарку залпом до дна. Итальянцы набрались храбрости — и глотнули. Московитский напиток ожег их, огнем побежал по всему телу, так что они было в первую минуту перетрусили. Но затем все нашли, что напиток вовсе не так уж страшен, а даже имеет неоспоримые достоинства — сразу согревает и веселит сердце.

После угощения водкой послам принесли самые богатые одежды, и они торжественно облачились в них перед итальянцами. Когда все было готово, московитские послы стали молиться, крестились и клали земные поклоны перед своими, привезенными из Московии, образами.

Наконец послы отъехали к губернаторскому дому, сопровождаемые народной толпой, бежавшей за экипажами, дивившейся и кричавшей. При этом Чемоданов и Посников

важно кивали своими высокими шапками направо и налево, и один только Александр почему-то чувствовал себя не совсем ловко...

Приехали. Губернатор вышел в сени навстречу гостям и после церемонных приветствий ввел их в палату, сразу показавшуюся им храмом — так она была обширна, высока, чудно убрана и столько в ней горело свечей. Москвичи невольно оробели и, окруженные множеством разряженных мужчин и женщин, неловко кланяясь, прошли к стене и уселись в большие кресла, похожие по форме своей на царские троны.

Как сели, так уж и не трогались с места. Им то и дело подносили всякие угощения и вина. От угощений и вин они не отказывались, особливо Алексей Прохорович, любивший и могший, по своему сложению, хорошенько покушать и выпить.

Под влиянием нескольких кубков вина всякая робость прошла, и москвичи с любопытством глядели на то, что вокруг них творилось. По всей палате шел пляс, да такой, о каком на Руси никогда не было и слыхано.

— Ишь ты, ишь ты! — подталкивал Чемо-

данов Посникова. — Ишь, поганцы, ногами-то что выкидывают!.. Шабаш, как есть шабаш!

— Да, батюшка Алексей Прохорыч, верно твое слово — шабаш и есть... Известно — нехристи, басурманы... на такое позорище греховно и глядеть-то! — отвечал Посников, крестясь и жмуря глаза.

Но поглядеть все же тянуло.

— А бабы-то, девки-то! — продолжал Чемоданов. — Сраму-то, сраму! Голошеи, голоруки... ишь, увиваются, ишь, хихикают!.. Гляди, гляди... эта вот... в белом атласе... глазищами-то что делает!.. У-у, бесстыжая!

Посников глянул одним глазом, куда ему Алексей Прохорыч указывал, отвернулся и, не говоря ни слова, сплюнул.

Между тем лицо у Чемоданова раскраснелось, глаза блестели, он вышел из своей неподвижности и даже несколько раз привстал с кресла, чтобы хорошенько разглядеть то, что его занимало. А занимали его, по глазам было видно, именно басурманские бабы и девки, хоть и ругал он их.

— Ишь, шельма, ишь, греховодница! — шептал он, не отрываясь следя за какой-ни-

будь красавицей.

— Лександр Мититич, — подтолкнул он Александра, — ты это, брат, что же, чего уставился... ты бы и глядеть постыдился на срамниц этих.

— Вместе смотрим, Алексей Прохорыч, — с улыбкой отвечал Александр.

— Вместе... вместе... — ворчал Чемоданов, — я-то стар... мне то что, а тебе... должно быть стыдно... Ведь вот тебе небось они по нраву, здешние бабы да девки, а, признайся-ка!

— Не то что по нраву, а красивы они... это точно, что больно красивы.

— Вот то-то оно и есть!

Он обратился к Посникову и шепнул ему:

— Иван Иваныч, а ведь этакая баба в соблазн ввести может...

— Как кого, — презрительно косясь, отвечал Посников.

— А тебя нешто эти чертовки, прости Господи, не соблазняют?

Посников вместо ответа опять стал жмурить глаза и сплюнул. Человек он был богобоязненный и с юности воздержанный, человек

сухой, бесстрастный и потому ко всякой греховности суровый и беспощадный. Он с негодованием замечал оживление Алексея Прохоровича и думал про себя:

«Так вот ты каков, воевода!.. Я за тобою этого не знал еще... ах ты, старый греховодник!»

Вдруг несколько мужчин и красивых, веселых женщин, очевидно, сговорившись, окружили москвичей и с любезными улыбками и поклонами стали заговаривать с ними. Посников продолжал сидеть потупясь, но Чемоданов поднялся с кресла, улыбался дамам и даже одну из них, особенно его смущавшую, взял за руку, чему она не воспротивилась. Но сам он очнулся и быстро отдернул от нее руку.

— Чего им надо? — спросил он Александра. — Что эта баба мне говорит?

Александр сказал, что эта баба спрашивает, курят ли и нюхают ли табак на Руси.

Вдруг Чемоданов сделался серьезным.

— Дура она баба — и все тут! — объявил он. — То есть, ты ей этого не говори, а скажи, что великий государь наш набожен и потому

строго воспретил употребление табачного зелья. До сей поры люди только и не грешили что носом. Так вот враг рода человеческого дьявол и выдумал табак, чтобы люди даже и носом грешили. Посему православные и не употребляют табачного зелья.

Александр перевел. Дамы не утерпели и засмеялись.

— Нечего зубы-то скалить, бесстыжие озорницы! — внушительно сказал Чемоданов, сел в свое кресло и принял важный вид.

## XIII

Александр вернулся с губернаторского бала пьяным не от вина, а от впечатлений всего им виденного. Роскошь и пестрота красок этой чуждой жизни заставляли кружиться голову.

«В чужих краях люди живут куда лучше нашего, там науки, так искусство и мастерство всякое... и мы всеми мерами должны стараться, чтобы и у нас мало-помалу жизнь так же красна стала...» — говаривал своему любимому воспитаннику Федор Михайлович Ртищев.

Тогда горячее воображение Александра рисовало ему эту «красную» жизнь науки и искусства в чудных, но все же смутных образах. Теперь он видел въявь все то, о чем беседовал с Ртищевым, но оно оказалось совсем не таким, каким мерещилось не только ему, но и самому Федору Михайловичу. Теперь с утра и до вечера били в глаза именно те стороны этой чужой «красной» жизни, о которых никогда прежде не думалось и не говорилось. Представления о науках и искусствах совсем исчезли и не вспоминались — являлось совсем иное, били в глаза всякие соблазны. Чужая жизнь действительно оказалась «красной», она вся была — богатство, роскошь, яркий блеск солнца, красота земли и неба и... красота земных созданий.

Александр прежде всего был молод. Обстановка московской жизни, серьезное воспитание под руководством такого человека, как Ртищев, и строгих андреевских монахов — все это сохранило его чистоту, и когда в его грезы врывался женский образ, этот образ был образом невесты, любимой жены.

Явилась Настя — и молодость заявила все

права свои, началась неизбежная любовь, неизбежная, как почка цветка весною, как спеющий плод во дни уходящего лета, как снег зимою, как день и ночь, как жизнь и смерть.

Но ведь Настя была именно воплощением грезы прелестной невесты, будущей любимой жены и не могла быть ничем иным. Вообще, ничем иным не могла быть никакая женщина, потому что вне благословенной Богом семьи были только грех и унижение человеческого достоинства. Эти взгляды, эти убеждения богобоязненные андреевские учителя сумели крепко утвердить в Александре. Останься он в Москве, женись после неизбежной борьбы на любимой им Насте — он, вероятно, избегнул бы всякого соблазна, остался бы тверд в своих мыслях и чувствах.

Но вот он перенесен в эту лучезарную чужбину, жизнь которой, не только по словам Ртищева, но даже и строгих монахов, так завидна, прекрасна, так желательна для России. И первое, что встречает здесь, что бросается в глаза, овладевает молодым воображением, — женщина. Не невеста, не жена, не мать, а

женщина-соблазнительница, «бесстыжая срамница», по выражению Чемоданова.

В Москве ее совсем не было. Так, мелькало только нечто скрытое за фатою, бесформенно закутанное, робкое и молчаливое, чужое. Здесь же она всегда и везде. Фата не скрывает ее красивого лица, тяжелые, прямые складки одежды не прячут форм ее тела. Она манит к себе каждым своим движением, ее глаза обещают неведомое блаженство. Она — не чужая. Кто она? Где ее жених, где муж, где дети? Существуют они или нет — все равно она не чужая. Она только взглянет, только улыбнется — и уж протянулась от нее какая-то нить, обмоталась вокруг сердца — и щемит его...

Особенно после губернаторского бала почувствовал Александр, что вокруг его сердца обмоталось много таких нитей. Смелые, обетные глаза, ласковые улыбки, обнаженные, будто из мрамора выточенные, плечи так и мелькали перед ним, в его разгоряченном воображении...

«Да ведь это грех... это грех!.. А Настя?» — повторял он себе, стараясь отогнать соблазнительные призраки, не думать о них, заняться

делом. Перед ним лежала бумага, в руках было перо — он вносил в дневник своего путешествия подробности вчерашнего бала... но ведь все впечатления сводились к тому, о чем нельзя было писать в дневнике, предназначенном для чтения великого государя...

Вдруг в комнату не вошел, а против своего обычая почти вбежал Посников.

— Что случилось, Иван Иваныч? — спросил Александр, замечая в лице его все признаки раздражения и негодования.

— А то, Александр Микитич, что дело наше плохо! — воскликнул Посников, кидаясь в кресло и переводя дух. — Прибежал я за тобою... Старика нашего выручать надо... Поручал он тебе вечор, как на пляске-то мы были, узнать, кто такова та пучеглазая дьяволица, что его про табачное зелье спрашивала?

— Да, поручал, я узнал и сказал ему, что она жена искусного врача, а имя тому врачу Маноли, от разных болезней он помогает...

— Ну, вот! Так и есть! А где тот врач живет, ты сказывал?

— Сказал... тут недалече от дому, направо свернуть... площадь будет, пьяцца д'Арми

прозывается, так на самой этой площади он и живет! — простодушно и еще не догадываясь, в чем дело, отвечал Александр.

— Ну и дернуло же тебя! — раздраженно крикнул Посников. — А теперь вот и возись с ним... да и сраму не оберешься... Я весь вечер видел, что он греху поддается, на бесстыжих баб заглядывается... Это посол-то, воевода, в летах и с седой бородою!.. Как вернулись мы, ты-то ушел, а я с ним остался, так он, веришь ли, что ни слово, то про... табашницу эту. Хороша, говорит, баба... и глаза у нее там, и руки... Я ему: побойся, мол, Бога, Алексей Прохорыч, и слушать от тебя таких речей срамных не стану. А он охает. Что с тобою, Алексей Прохорыч? А он руку показывает: «Поднять, вишь, не могу, отяжелела, стреляет и ломит... к дохтору надо». Мне и невдомек, испужался даже. Что за притча такая. Сем-ка я, говорю, пошлю за дохтуром. «Нет, говорит, посылать не надо, сам схожу». Хотел я за тобой, чтобы ты проводил его да врачу рассказал про его немочь, а он мне: «Оставь Залесского, без него справлюсь, да и говорить ему про мою руку нечего, еще подумает, что поколотил кто ме-

ня, уважать перестанет». Оделся и пошел. А у меня что-то сердце не на месте. Я за ним. Вышли на площадь, он огляделся да прямо к крыльцу — и молотком стучит. Отперли ему. Женщина какая-то. Вижу — кажет он ей свою руку, охает и головой качает. Впустили его. Я ждать остался. Жду-пожду — а его все нет как нет. Вот я и прибежал за тобою. Идем скорее выручать его, может, там с ним, старым греховодником, невесть что сделали!

— Сделать-то с ним — ничего не сделают, а впрочем — пойдем, Иван Иваныч.

Александр наскоро собрался, и они двинулись на пьяцца д'Арми.

## XIV

Когда они подошли к дому, где скрывался Алексей Прохорович, Посников вдруг както засеменил на месте.

— А знаешь ли что, Александр Микитич, — запинаясь, проговорил он, — войди-ка ты один, а я тут постерегу и коли что — ты крикни, я и побегу за нашими людьми...

Александр засмеялся.

— Да ведь тут не пираты! — не удержавшись, сказал он.

Посников вспыхнул.

— Так нешто я что... нешто я боюсь чего, — стараясь придать себе храбрый вид и хорохорясь, отметил он.

— Бояться-то нечего... сам рассуди: как это царское посольство обижать тут станут... за это ведь ответ большой...

Слова эти успокоили Посникова.

— Ну, ладно, идем, что ли! — проговорил он и стукнул в дверь привешенным к ней молотком.

Молодая, лукавого вида служанка отворила дверь и, взглянув на прибывших, откро-

венно засмеялась.

— Чего ты смеешься? — спросил ее Александр по-итальянски.

Она очень удивилась, услыша хоть и не совсем правильную, но понятную ей фразу, но на вопрос не ответила.

— Синьора доктора нет дома, — сказала она, — но если и вы тоже хотите ждать его, то пожалуйте.

Она проводила их сначала по узенькой лестнице, потом отперла запертую на ключ дверь. Они вошли в эту дверь и услышали, как она заперлась за ними опять на ключ.

В комнате, на кресле у окна, сидел Алексей Прохорович. Увидя их, он совсем растерялся.

— А! Это вы! — косясь и избетая глядеть на них, прошептал он. — Зачем пожаловали? Али меня разыскиваете?.. Что ж я, малый ребенок, что ли? Иголка я, что ли?..

Но он быстро оправился и продолжал уже совсем иным тоном:

— А и то — хорошо, что пришли... вот я сижу здесь, сижу взаперти... дохтура этого дожидаюсь! Ну и порядки же здесь!.. На ключ запирают... А мы вот вышибем-ка двери, да и

уйдем — чего ждать-то...

— Нет, Алексей Прохорыч, дверей вышибать в чужом доме не след, — заметили разом Посников и Александр. — Подождем дохтура.

Вдруг Посников уставился на руку Алексея Прохоровича и ехидно усмехнулся.

— Перстень-то твой где? — воскликнул он.

— Какой перстень? — весь багровея и совсем теряясь, спросил Чемоданов, в то же время бессознательным движением пряча свою руку.

— Дорогой, большой, с камнем самоцветом?

— Перстень?.. А я, верно, дома его оставил.

— Как же это дома, если я видел его у тебя на пальце, когда ты пошел сюда.

— Тебе это почудилось, Иван Иваныч.

Посников покачал головою, а Чемоданов, еще более багровый, начал упорно глядеть в окно.

В это время внизу, у двери, раздался стук молотка; но прошло еще несколько минут — и никто не являлся. Наконец дверь отворилась, и в комнату вошел человек зрелых лет, большого роста, широкоплечий, сердитого

вида, весь в черном.

— Чего вам угодно, синьоры, я — доктор, — сказал он мрачным голосом и с довольно пренебрежительным кивком головы.

Александр по-латыни объяснил ему, кто они, а также и то, что у посла его царского величества болит рука.

— Пусть он покажет руку! — объявил доктор, отпер шкап, взял оттуда какой-то ящик и принес его на стол к окну, возле которого сидел Чемоданов. Затем он схватил руку Алексея Прохоровича, ловко засучил ему рукав, в мгновение ока вынул из ящика какой-то инструмент, вроде клещей, и так захватил им посольскую руку, что Алексей Прохорович выкатил глаза и рявкнул:

— Что это ты, разбойник, со мной делаешь?.. Ой, батюшки... Лександр Микитич, да спроси ты его... да прикажи ты ему отпустить мою руку!..

— Он говорит, — выслушав доктора, перевел Александр, едва сохраняя в лице своем серьезность, — что рука у тебя, Алексей Прохорыч, повреждена и что ее надо вправить... да и кровь тебе пустить не мешает.

— Врет! Врет, дьявол! — поднимаясь и тщетно силясь высвободить руку из клещей, закричал Чемоданов. — Скажи, чтобы сейчас же выпустил... не то я его в ухо!..

— Он говорит, что не может тебя выпустить, что, коли ты пришел к нему, он должен сделать свое дело.

— Врет, собака, врет... рука-то совсем здорова! — вдруг объявил Чемоданов, становясь в угрожающую позу и действительно собираясь «дать в ухо». Но Посников и Александр кинулись к нему:

— В уме ли ты!.. Хочешь беды нажить, срому всякого!..

— Он говорит, — переводит Александр, — что руку твою выпустит и насильно врачевать не станет, но что за напрасное беспокойство повинен ты уплатить ему два червонца...

— Как!.. Два... два червонца?! Ах он... пират!.. Да я... к губернатору сейчас на него... Нет, ты скажи ему, чтоб он у своей бабы мой перстень отобрал, да вернул мне его... не то я... к губернатору!..

Алексей Прохорович, протоворившись,

осекся и замолчал.

Александр улыбнулся.

— Нет, Алексей Прохорыч, ты уж лучше выложь ему, дохтуру-то, два червонца, а про перстень и не заикайся... ведь перстень дома остался, сам ты сказывал, — объявил Посников и прибавил: — Выложь деньги да пойдем-ка домой скорее, а то сраму мы с тобой не оберемся... Подумай-ка сам хорошенько!

Но Чемоданов упирался, особенно когда почувствовал свою руку на свободе. Он был расчетлив и даже иной раз скупенек, а главное — любил на своем поставить. Заплатить два червонца неведомо за что казалось ему, несмотря даже на некоторые совсем исключительные обстоятельства дела, невозможным.

— Бога побойся, Иван Иваныч, — вопил он, — нешто можно швырять такие деньги, да и дело совсем незаконное, разбойное, и губернатор строго с него взыщет, особливо по моему высокому званию.

Видя, что слова не действуют, Посников выложил на стол два червонца и почти силой увлек Алексея Прохоровича из комнаты, вниз

по лестнице и на площадь. Только благополучно добравшись до дому, он успокоился, и, когда Александр ушел и оставил их вдвоем, он стал допрашивать Алексея Прохоровича. Но тот и без всяких допросов, разозленный до последней степени, уже чувствовал непреодолимую потребность высказаться и отвести душу.

— Вот негодная баба! — воскликнул он. — Ну, сам посуди — где же такое видано! Пришел я за делом. Двери мне какой-то бесенок отпер. Объявил я, что мне дохтура надо. Бесенок меня сейчас в горницу... и заместо дохтура входит баба... та самая... вчерашняя, что на пляске про табачное зелье спрашивала. На кресло указывает, сама вертится, глазами так вот и жалит, «синьор!» — говорит... Ну, я ей тоже — «синьора». Она смеется — и я смеюсь... Слово за слово...

— Да как же это «слово за слово», каким же это ты способом изъяснялся с нею, коли поихнему окромя «синьора» ты ничего не смыслишь? — перебил Посников.

— А к чему ж смыслить-то в таком деле! Не важно, какая беседа... Вишь ты — мой пер-

стень ей по нраву пришелся, показать просит. Я снял и подал. Посмотрела она, посмотрела на него, залопотала что-то, потом вдруг поклонилась мне, рукой этак сделала, убежала и дверь за собой на ключ заперла... Я и остался, пока ты с Лександром не пожаловал... Ну, сам посуди — я-то тут при чем?.. Ведь это что ж такое? Грабеж, денной грабеж... ограбили, начисто обобрали, взаперти держали, всякую насмешку и издевательство учинили... Не могу же я сего дела так оставить!

— Только уж ты сие дело именно так вот и оставь, Алексей Прохорыч, — серьезно и внушительно сказал Посников, — радуйся, что так кончилось: могло бы во сто крат хуже быть... Дернула тебя нелегкая за бабами.

— Это ты что же?! — поднялся было Чемоданов. — Да как ты смеешь! Я... за бабами!

— А то как же... с чего ж это ты ей «синьору»-то свою сказывал, с чего перстень давал... Она небось по-своему-то тебе: «подари, мол, мне перстенек!», а ты его сейчас с пальца да ей в руки... Ну, она, не будь дура, тебе поклон, да благодарность, да вот рукой этак... Ушла — и двери на запор, чтобы ты не сбежал, чтобы

и мужу ее с тебя поживиться. Говорю — еще дешево отделался, а теперь ни гугу, не то они на тебя такое наплетут... Вперед наука!

Алексей Прохорович не нашел ничего возразить на слова эти. Он сам понял, что самое лучшее действительно «ни гугу». Совсем рассерженный и расстроенный, ушел он в свою комнату и завалился спать. Только сном и мог он успокоить себя, избавиться от весьма тягостного чувства недовольства собою и даже стыда, которое все сильнее и сильнее его охватывало.

## XV

Это приключение — результатом которого оказались: погибель дорогого перстня и двух червонцев, сознание своей греховности и крайне неловкое положение перед Посниковым, а пуще всего перед Александром, — заставило Алексея Прохоровича снова вернуть себе всю свою степенность и важность. Он усердно молился Богу, лежал на полу и бил себя в грудь, прося Господа простить ему его окаянство и избавить его от лукавого.

«Да, это все он, враг рода человеческого,

лукавый мне мешает!» — рассуждал он про себя.

Вспоминая синьору, он багровел от стыда и отплевывался.

«Чисто дьявольское наваждение! — шептал он. — И молод был — соблюдал себя всячески, а тут ишь ты... шестой десяток к концу подходит... тьфу ты пропасть... чисто дьявольское наваждение!..»

«Да нет, будет! Довольно! Теперь он меня, анафема, не поймает!» — решил он.

Во время следующей поездки по городу Алексей Прохорович сидел в экипаже, выпрямившись как истукан, а когда видел приближавшуюся женскую фигуру, то отводил от нее глаза с пренебрежительной миной.

Но от лукавого оказалось не так-то легко избавиться. Дня через три Алексей Прохорович, видно, не спохватился вовремя. Проезжая по улице с Посниковым и Александром и завидя женскую фигуру, он не отвел глаз, а, напротив, остановил их на молодом красивом лице итальянки, спешно проходившей мимо посольского экипажа.

Итальянка на мгновение остановилась и

загляделась на высокую шапку Алексея Прохоровича. Детское любопытство выразилось в ее чертах, а когда от шапки она перевела взгляд на бородатое важное лицо посла и заметила, что он глядит на нее чересчур пристально, она не могла уж, да и не сочла нужным удерживаться — и звонко рассмеялась.

Этот смех ее так пришелся по нраву Алексею Прохоровичу, что он не сообразил, что ведь это смеется-то лукавый, снова заманивающий его в свои сети. Итальянка между тем, пройдя несколько шагов, вошла в лавку, где продавалась неведомо какая всякая всячина.

— Стой, стой!.. Лександр, да скажи ты этому болвану, чтобы он остановил лошадей!.. — вдруг закричал Алексей Прохорович.

— Что такое, что? — спрашивал Посников, еще не догадываясь, в чем дело.

Александр приказал кучеру остановить лошадей.

— Пождите тут малость, — говорил Чемоданов, вылезая из экипажа, — вот мы лавку проехали... зайти мне надо... поторговаться...

И прежде чем Посников и Александр успели вымолвить слово, посол, забыв всю свою

важность, почти бегом устремился к лавке и вошел в нее.

— Батюшки, да ведь это он опять за бабой! Ступай ты, Лександр Микитич, вытащи его, срамника старого! — всплеснув руками, завопил Посников.

Но Александру не пришлось вытаскивать Алексея Прохоровича, он сам быстро покинул лавку, так как красивая итальянка скрылась за дверью в глубине помещения и перед послом предстал некто с засученными рукавами и с таким скверным видом, что все дьявольское наваждение сразу рассеялось.

— Показалось мне — парча тут продается... в лавке-то, ан то вовсе не парча, а морские улитки и всякая дрянь, какую жрут эти нехристи, — объяснил Алексей Прохорович, влезая в экипаж.

— Ла-адно! — протянул Посников, а потом, помолчав, прибавил: — Коли ты, батюшка Алексей Прохорыч, в другой раз, как мы поедем, вздумаешь у всяких лавок с морскими улитками останавливаться, так про то скажи заранее — я уж от сраму лучше дома оставаться буду...

Чемоданов только свирепо повел одним глазом и снова превратился в истукана.

С этого дня лукавый отступил, очевидно признавая себя побежденным.

Московиты посвящали каждый день несколько часов осмотру города, его достопримечательностей и окрестностей. Возвращаясь домой, Александр записывал в дневник подробный отчет обо всем, что они видели, читал написанное Чемоданову и Посникову, а они делали иной раз замечания, сообразно с которыми дневник пополнялся и исправлялся. Особенное любопытство московитов возбуждал осмотр церквей, и в дневнике подробно описывались образа, церковная утварь и тому подобное.

Занимали их также укрепления города и гавань, стоявшие на рейде корабли, из которых один военный был в 100 футов длины и 70 вышины, так, по крайней мере, после расспросов и разговоров с капитаном записал в дневнике Александр. На основании того же разговора с капитаном он прибавил, что на том корабле помещается 200 пушек и 500 матросов и что ходит корабль на войну с турец-

кими разбойниками.

Были также осмотрены все рвы, окружавшие крепость, все наведенные на тех рвах цепные мосты. Словом, ничего не забыли путешественники, все осмотрели, и обо всем было занесено в дневник.

Наконец Алексей Прохорович решил, что в городе Ливорно не осталось уже больше ничего достойного примечания и что пора ехать через Флоренцию в Венецию. Купцу Лонглану было поручено как можно скорее продать ревень и другие привезенные товары. Но самые дорогие вещи и главнейшим образом меха, которых было весьма много, отправлялись вместе с посольством в Венецию.

Серристори написал во Флоренцию великому герцогу Фердинанду о прибытии посольства и уже получил от него ответ, что московским послам будет оказана самая ласковая и почетная встреча.

Перед отъездом Чемоданов с Посниковым тщательно проверили все свои счета и записали расходы. Несмотря на то что они себе ни в чем не отказывали и жили, не унижая своего высокого достоинства, расходы оказались

невелики. Чемоданов потирал руки и приговаривал:

— Вот оно и ладно! На Москве, по крайности, комар носу не подточит, не больно-то басурманы с нас поживились, чай думали обчистить нас как липку, ан нет, не на таковых напали!..

— Так-то оно так, — возразил ему Александр, — только вот дело какое: вы-то с Иваном Иванычем по-здешнему не разумеете, вам и все равно, а я-то ведь слышу, как нас бранят за скупость.

— А ты не слушай, мимо ушей пропускай, — весело воскликнул Чемоданов, — всякая брань глупая, а уж тем паче басурманская, на вороту не виснет!.. В глаза небось ничего не смеют сказать. Скупость! Ишь ты! Так не прикажешь ли им, нехристям, деньги бросать?.. Небось деньги-то не чужие, а царские...

Уехало посольство из Ливорно, и долго после его отъезда шли толки о скупости московитов. Даже до сего времени в итальянских архивах сохраняются документы, где рассказывают, например, следующее:

«Недавно послы отправились принять ван-

ну. Так как ванное помещение давно не топилось, то надо было много дров. Московиты провели в ванном здании целый вечер. Их развлекали там музыкой, приносили разных благовонных эссенций и вообще всячески услуживали. За все это русские послы заплатили только две маленькие серебряные монетки...»

«Были московитские послы в числе приглашенных на вечере, где играли музыканты. Когда все по окончании музыки стали давать музыкантам деньги, старший русский посол сказал, что у него при себе денег нет, а когда ему заметили, что этого быть не может, он вынул два венгерских цехина. Почти силою пришлось их взять у него, и он вследствие этого весь вечер был в дурном расположении духа».

«Весьма часто послы не дают денег тем кучерам, которые их возят, но иногда зовут их в свои комнаты и угощают там водкой из золотого бокала...»

«Капуцинские монахи просили русских послов дать им небольшое количество ревеню. Послы долго обсуждали эту просьбу и да-

ли монахам меньше унции...»

«У Моисея Франка русские купили на тридцать цехинов разных вещей и приказали купцу прийти за деньгами к ним на дом. Но когда он пришел, они отдали ему назад все вещи, объявив, что у них нет денег. Франк стал настаивать, чтобы они оставили вещи и выплатили условленную цену. Тогда они стали грозить ему, что вытолкают его вон из дома. Наконец, после продолжительного спора, Франк согласился вместо денег принять в уплату ревень, и даже по весьма большой цене...»

«Петр Авах покупал у них меха, но они ему их не показывали до окончания торга...»

«Когда уезжали послы из Ливорно, то ничего не заплатили людям, им прислуживавшим. Хозяину своему Лонглану они дали восемь собольих шкурок весьма худого достоинства. Одна прислужница получила кошачий мех, который ровно ничего не стоит...»

Ни Чемоданов, ни Посников, ни Александр, конечно, не могли подозревать, что каждое их деяние записывается и оставляется на суд отдаленного потомства. Александр, ес-

ли бы и хотел, не мог сам ничем распоряжаться: к тому же его собственные средства были крайне недостаточны, так как отец не нашел нужным снабдить ею казною. Что же касается Чемоданова и Посникова — они знали одно: на Москве все иностранные послы, а в том числе недавний итальянский посол Вимина, всегда пользовались широким гостеприимством. Их всюду возили, кормили, поили, прислуживали им на царский счет и ни за что с них денег не спрашивали. Так же точно и в чужих краях должны поступать с царскими послами. Долг платежом красен. Притом же — чужую землю нечего кормить деньгами, добытыми русским потом и кровью.

## XVI

Великий герцог Фердинанд выслал навстречу послам нарядные кареты, запряженные мулами. Это очень понравилось Чемоданову. Он важно пересел из своего наемного экипажа в великогерцогскую карету и громко крякнул от удовольствия.

— Вот это рыдван! Сейчас и видно — настоящий, княжеский... ишь... сиденье-то!.. Червленого бархату!.. Истинный он князь... Фернант... царственного рода... Жаль вот только, что рыдваны запряжены не добрыми конями, а хоша и разукрашенным сбруей и лентами, но все же неказистым зверьем... Ну, что ж... нечего за сие взыскивать... коли нет у людей понятия...

Когда послы подъезжали к городу, их встретил Леопольд, брат великого герцога. Чемоданов, Посников и Александр вышли из карет, низко поклонились Леопольду, и Алексей Прохорович приказал Александру просить великогерцогского брата сесть к ним в карету. Александр почтительно передал эту просьбу, но Леопольд с любезной улыбкой от-

ветил:

— Благодарю, в карете я не люблю ездить... я поеду верхом... прошу синьоров занять их места.

Когда Александр перевел это, Чемоданов сказал ему:

— Проси еще! — и сам при этом опять низко поклонился Леопольду.

Однако великогерцогского брата уговорить сесть в карету не удалось. Поехали без него.

— Вот как нас здесь почитают! — говорил Чемоданов, самодовольно поглаживая бороду. — То не губернатор, а княжеский брат. Лиапольд-то этот, царственной крови, и все ж таки считает себя недостойным сесть в карету послов его царского величества!

— А может, он нас считает недостойными ехать с ним в одной карете! — невольно воскликнул Александр.

— Поди ты! И как это такое тебе взбрело в голову. Ясное дело... вежливость он оказал, почтение, а не обиду нам сделал.

Александр спорить не стал, но остался при своем мнении: выражение лица Леопольда и

его улыбка, когда он отвечал на просьбу послов сесть в карету, были довольно красноречивы. Великогерцогский брат только встретил гостей, но возвратился не с ними, а ускакал вперед, окруженный своей свитой.

Помещение для московских послов было приготовлено в знаменитом дворце, известном под названием палаццо Питти. Обширны и красивы были палаты в Ливорно, особливо в доме губернатора, но к ним москвичи уже привыкли. Здесь же их встретила такая роскошь, о которой до сих пор они не имели никакого представления. Величина и высота комнат с огромными окнами поражала их. Особенно же великолепными и чудными казались им громадные ковры, гобелены, висевшие по стенам. На коврах этих с необыкновенным искусством и живостью были вытканы картины, изображающие разные библейские сцены. Александр готов был часами любоваться этими картинами и разглядывать их, Чемоданов расспрашивал его о том, что именно изображено, и повторял:

— Ишь ты, до чего исхитрились немцы!

Что касается Посникова, то он только ка-

чал головою, когда Алексей Прохорович спросил его:

— Ну, что, братец, скажешь?

— Да что скажу, — отвечал он, — не ладно это, страшновато!

— Что так?

— К чему оно? На какую потребу сии лики? Образа, иконы в церквах — это дело, угодное Богу, святое... а сие — кощунственно оно как-то, да и сотворено неведомо каким способом, может, не без дьявольской помощи...

— Неужто?

— А ты как думал?.. Помысли-ка — нешто человек своим искусством до такой живости дойти может? Так кто ж ему поможет обнаженные-то телеса изобразить, как не дьявол?..

Рассуждение это, несмотря на свою неожиданность, показалось Алексею Прохоровичу весьма основательным и убедительным, и он старался не глядеть на гобелены, а когда нечаянно взглядывал, то сейчас же отводил глаза и про себя читал молитву.

Чудеса Флоренции оставили глубокое впечатление в умах москвичей. У Александра,

как и в первые дни пребывания в Ливорно, опять кружилась голова от чудес этих.

Назначенный состоять при послах маркиз Корсини всячески развлекал их и с утра до вечера показывал им достопримечательности. Прежде всего повел он их через мост Арно в Уффичи. Мост этот состоял из зал и галерей. Тут же были осмотрены монетные мастерские, оружейная, казначейство, драгоценные камни, удивительная посуда и столы из хитрой мозаики. Чемоданов особенно любовался магнитом, поднимавшим полтора пуда железа. Александр долго не мог отойти от двух больших, искусной работы шаров, «на коих написаны все государства и все планеты и небесные божества». Шары эти можно было поворачивать во все стороны, и назывались они глобусами.

Даже Посников, ко всему относившийся с некоторой подозрительностью и опаской и во всем видевший «дьявольские деяния», увлекся, когда в обширных конюшнях красивые, выхоленные лошади «по команде» стали плясать, кланяться и становиться на колени.

— Что ж это за притча? — смеялся он. —

Ведь и впрямь она мне кланяется!.. А ну-ка еще разок, еще разок! Вот так, вот так!

Радовался и Чемоданов.

— Дома-то рассказывать про сих коней будем, — говорил он, — так нам никто и не поверит... Да как тут и поверить-то! Кабы своими глазами не видел, отцу родному не поверил бы.

Великий герцог Фердинанд оказывал послам всякое внимание и ласково беседовал с ними. Они в свою очередь отнеслись к нему как к настоящей царственной особе и когда увидели его в первый раз, то склонились перед ним до земли и поцеловали полу его одежды. В его присутствии на придворном обеде они не решились даже есть, если верить итальянским документам.

Вслед за великим герцогом и все флорентийское общество ласкало гостей с далекого севера. Во дворец Питти являлись художники и просили разрешения сделать портреты послов. Чемоданов посетил несколько мастерских лучших художников, выбрал из них такого, искусство которого больше ему понравилось, и согласился, чтобы мастер снял с

него «парсуну». Посников же наотрез от этого отказался, боясь, что «немец» напустит на него какую-нибудь порчу.

Один из придворных поэтов написал сонет в честь Чемоданова и поднес ему. Алексей Прохорович долго не мог понять, в чем дело; но Александр наконец объяснил ему, что это большой почет, что вирши обыкновенно пишутся в честь государей, государынь, прославленных военачальников и вообще людей первейшей важности. Тогда Чемоданов принял сонет, угостил поэта водкой и даже подарил ему после некоторых размышлений изрядную шкурку.

Но тут случилась беда. Посников вдруг разобиделся, почему и в его честь не написано сонета. Он так ворчал и так приставал к Александру, что тот решился передать об обиде «второго посла» маркизу Корсини.

— Пожалуйста, успокойте его, — сказал маркиз, — я знаю, что и в его честь пишется сонет, только, вероятно, у поэта не хватает вдохновения. Но оно скоро явится.

Услышав это, Посников успокоился и стал ждать нетерпеливо. На следующий же день

сонет был ему поднесен и даже на гораздо более красивой бумаге, чем Чемоданову. Алексей Прохорович, увидя эту бумагу, с изображением птиц и трав по золотому полю, в свою очередь почувствовал себя обиженным, почти целый день не выходил из своей комнаты и долго косился на Посникова...

Перед отъездом послов великий герцог призвал их к себе и выразил им желание завести торговые сношения с Россией. Внимательно выслушав слова великого герцога, переведенные Александром, Чемоданов и Посников низко поклонились.

— Осмеливаюсь доложить твоей великогерцогской светлости, — начал Алексей Прохорович с большим достоинством, но в то же время с достодолжным почтением, — осмеливаюсь доложить... Лексаша, смотри, брат, не спутай, переводи слово в слово... что великий государь послал нас во град Венецию с поручением к дуку. Во граде же Фиренце мы лишь по пути и никаких полномочий на переговоры с твоей великогерцогской светлостью от великого государя не имеем...

— Так, что ли, Иван Иваныч? — покосился

он в сторону Посникова.

— Так, — ответил тот, — но теперь я говорить стану... Лександр Микитич, переводи: о желании твоей великогерцогской светлости нами будет доложено великому государю немедля по возвращении нашем на Москву, и полагать надо, что его царское величество не откажется исполнить твое желание, особливо узнав от нас о добродетелях твоей светлости и о ласковом приеме, тобою нам оказанном.

После этого Чемоданов и Посников, а за ними и Александр низко поклонились великому герцогу — и он отпустил их. Тогда маркиз Корсини сказал им, что великая герцогиня желает купить у них собольи меха. Чемоданов подумал с минуту и затем объявил:

— С великой герцогиней в торг вступать нам не приходится. Коли она о мехах заговорила — делать нечего — надо подарить ей, да и подарить-то меха хорошие... Ты что скажешь, Иван Иваныч?

— Вестимо, подарить надо! — ответил Посников.

В тот же день маркиз передал великой герцогине в подарок от послов несколько вели-

колепных собольих шкурок.

Флоренция вообще осталась гораздо больше довольной своими гостями, чем Ливорно. Москвичи уже успели оглядеться и по прирожденной русского человека способности достаточно приноровились к итальянскому обхождению.

Проводы их были торжественны. Великий герцог сам довел их до ворот дворца. Принц Леопольд со свитою в шестидесяти четырех экипажах провожал их из города. По улицам стояли густые толпы народа и кланялись отъезжающим.

— Знатно провожают! — радостно говорил Чемоданов, раскланиваясь на все стороны. — Добрый народ, вежливый, жаль вот, что немцы и басурманы!

## XVII

Эти приключения, эта пестрая вереница образов и свежих впечатлений проносилась перед Александром, когда он стоял у широкого окна, пораженный волшебным видом дворцов и каналов, озаренных утренним солнцем. Он не слышал, как скрипнула дверь, как к нему подошел Посников, говоря что-то.

— Да что ж это? Столбняк на тебя нашел, оглох ты, что ли, Лександр Микитич? — наконец расслышал он знакомый голос.

Он даже вздрогнул.

— Поневоле столбняк найдет, Иван Иваныч, — воскликнул он. — Гляди, каков город-то!.. Вот не верили вы мне с Алексеем Прохорычем, что Венеция на воде стоит — вот... гляди!

— Ну что ж, и гляжу, и диву даюсь — зачем это немцы ее на воде построили... неужто земли мало!.. Все не по-божески, все только грех один, одно дьявольское наущение!.. Не глядели бы глаза мои на эту твою Венецию — вот оно что! — ответил Посников и потом прибавил: — Алексей Прохорыч сказать тебе

велел, что с дороги он совсем размяк и нынче весь день с места не тронется, отлеживаться будет... Да и я тоже не двинусь... заняться надо, наказ, нам на Москве данный, подтвердить... Так ты весь день свободен, твоего толмачества не потребуется; иди себе, смотри свою Венецию, ко всему присмотрись — это нам на пользу будет.

— Ладно! — сказал Александр.

Он был очень рад этой свободе. Ему хотелось скорее, сразу увидеть, разглядеть, понять все чудеса этого нового, неведомого мира, который так манил его. Он не стал мешкать в беседе с Посниковым и, захватив шапку, устремился к выходу из палаццо. Но в передних покоях его остановил молодой человек в длинной черной одежде с бритым бледным лицом, большим носом и быстрыми глазами. Он узнал в нем аббата Панчетти, с которым беседовал накануне, тотчас по приезде в Венецию.

Панчетти заговорил быстро, мешая латинские фразы с итальянскими, любезно осведомился о здоровье благородного «форестьера», т. е. иностранца, и подвел к нему нарядного

миниатюрного синьора.

— Позвольте вам представить моего друга, синьора Нино, — говорил он, — синьор Нино музыкант и поэт, обладает большой ученостью и высокими качествами ума и сердца.

Молодые люди церемонно и вежливо поклонились друг другу. Александр изумился миниатюрности и женственности хорошенького Нино, а тот, складывая губы в любезную улыбку, сразу почувствовал непримиримую вражду к «мос-ковитскому медведю».

Он питал надежду, что Панчетти только дразнит его, говоря о красоте и достоинствах этого форестьера, он почти уверил себя, что увидит неуклюжего увальня, дикого человека, неловкого и смешного. Но вот перед ним высокий и стройный малый, с открытым красивым лицом, с ясными голубыми глазами, в богатом необыкновенном костюме, оригинальность и яркость которого еще более выделяет мужественную красоту его.

Он именно таков, каким ревнивое воображение рисовало бедному Нино опасного соперника. Он именно оригинален, а синьора Анжиолетта в последнее время только и гре-

зит об оригинальности.

Одна надежда — наверное, Панчетти все же преувеличивал, наверное, северный варвар не умеет правильно сказать ни одной фразы...

Но и эта надежда исчезла — молодой московит приятным голосом и довольно бегло ответил на любезные слова аббата и, обращаясь к Нино, сказал, что очень рад познакомиться с ученым, музыкантом и поэтом, потому что почитает науку и любит музыку и поэзию.

Нино еще раз поклонился; но если бы Александр разглядел выражение быстрого взгляда, брошенного на него его новым знакомым, если бы он мог понять, какая ненависть закипела в сердце этого маленького хорошенького человечка, — почувствовал бы себя очень неловко.

Между тем аббат Панчетти говорил:

— Я и мой друг Нино будем очень счастливы, если синьор пожелает провести несколько часов с нами. Мы с удовольствием познакомим синьора с Венецией и покажем ему достопримечательности нашего знамени-

того города. У ступеней палаццо нас ждет гондола... если синьору угодно — мы сейчас же можем сделать прогулку по каналам...

Александр так весь и засиял от этого любезного предложения. Один бы он не мог предаться чудным впечатлениям, он постоянно боялся бы заблудиться в волшебном лабиринте, и неведомо какие приключения и неприятности ожидали бы его. А теперь, с этими любезными людьми, ему не предстоит ничего, кроме удовольствия.

Он стал кланяться и Панчетти и Нино, благодарил их как умел — и через минуту легкая гондола уже несла его с ними по тихой воде канала. С обеих сторон мрачные, величественные палаццо сменяли друг друга. По временам в чистом и свежем воздухе раздавались неведомо откуда звуки мелодической песни, страстные аккорды мандолины. Все чаще и чаще рядом с тондолой появлялась другая, такая же гондола, и на Александра с любопытством глядели глаза из-под черной маски... Вот и его спутники надели маски. Александр долго крепился, но наконец не выдержал и спросил, что это значит, что почти

все в масках. Он уж и в Ливорно, и во Флоренции видал маски, но там их не носили на улицах.

— Ношение маски — это один из самых хороших наших обычаев, — отвечал Панчетти. — В маске очень свободно и безопасно. С какой стати показывать свое лицо посторонним и любопытным людям? Маска спасает иной раз от больших неприятностей, от клеветы... да и мало ли от чего она спасает!..

Но Александру очень трудно было согласиться с Панчетти и понять его... Ему даже как-то жутко было глядеть на эти черные «хари», превращающие человека в какого-то черта. Он готов был согласиться с Посниковым относительно «греха» и «дьявольского наущения».

Однако у него не было времени предаваться этим размышлениям. Гондола остановилась, и он вслед за своими спутниками поднялся по каменным ступеням. Он увидел перед собою величественные, причудливые здания, увидел высокую колонну, на вершине которой был изображен лев. Они обошли эту колонну, свернули направо и очутились пе-

ред громадной площадью, со всех сторон заключенной красивыми каменными строениями, нижний этаж которых представлял крытые переходы. Александр заметил потом высочайшие шесты с развевающимися флагами и за ними чудную церковь, напоминавшую ему что-то свое, родное, православное.

— Это площадь Святого Марка, — сказал Панчетти.

— А это, это? — спрашивал Александр, указывая на чудное, родное и святое здание.

— Это — собор Святого Марка.

## XVIII

Было уже около полудня, и народу на знаменитой площади собралось великое множество. Когда Александр, отведя глаза от поразившего его собора, взглянул на шумную и пеструю толпу, охватившую его со всех сторон, он даже ахнул от изумления. Кого, кого здесь не было! Сюда сошлись люди изо всех стран — и немцы, и испанцы, и французы, и англичане. Все они отличались друг от друга, хотя костюмы их, парики, шляпы с перьями и епанчи были похожи.

Но вот между ними оказывались люди, уже совсем на них непохожие, совсем иного типа и в иных, по большей части длинных, одеждах. То были греки и всякие азиаты. Наконец, к изумлению своему, Александр увидел людей с лицами черными и блестящими, с толстыми синими губами и сверкавшими белками глаз, в тюрбанах, расшитых куртках и широчайших шароварах.

Между всем этим пришлым людом, разглядывая его и не стесняясь делать свои замечания, бродили взад и вперед венецианцы и венецианки, по большей части в масках, но иногда и без них.

Александр заметил несколько прелестных молодых женских лиц, не совсем того типа, к которому он уже привык в Ливорно. Венецианки с нежным и светлым цветом лица, часто с русыми волосами нравились ему гораздо больше ливорнских смуглянок, попадавших туда из Рима и южной Италии.

— Сегодня, верно, праздник? — спросил он Панчетти.

Он обращался почти исключительно к молодому аббату, который был с ним очень лю-

безен и словоохотлив, тогда как Нино отвечал на его вопросы односложно и по временам как-то странно и неприятно глядел на него.

— Никакого праздника нет, и карнавал еще не начался, — ответил Панчетти.

— Отчего же здесь так много народу?

— Здесь всегда так, с утра и до поздней ночи. Ведь это наш зал, только под открытым небом...

При этих словах Александр огляделся кругом и был поражен сходством огромной площади с залом, потолок которого оказывался голубым безоблачным небесным сводом. До приезда в Италию ни о чем подобном у Александра не было представления, но с тех пор, как он попал в большие ливорнские покои, как он увидел обширную и высокую палату в губернаторском доме, где больше ста человек свободно танцевали, — ему все грезились самые необыкновенные вещи. Грезились бесконечные мосты, громадные залы, потолки которых терялись в тумане, и все тому подобное. Но волшебный зал — площадь, среди которой он теперь находился, далеко оставил за собой все его грезы и все его представления...

«Не праздник... всегда так бывает, с утра и до позднего вечера...»- невольно повторил он про себя слова Панчетти.

— Так, значит, у здешних людей нет никакого дела, они всегда свободны? — наивно спросил он аббата.

Тот скривил тонкие губы в усмешку.

— Мы предоставляем сидеть над работою тем, у кого есть на это охота, такие люди всегда найдутся, если и не по охоте, то по необходимости... А все-таки в Венеции достаточное количество и таких людей, которые могут посвящать много часов веселью и ничегонеделанью... Однако, синьор форестьер, ведь и московитские желудки устроены так же, как наши, а потому вы, вероятно, проголодались не менее, чем я... не зайти ли нам пообедать? Вот тут сейчас, под этими аркадами, очень хорошая траттория, где всегда собирается интересное общество...

До сей минуты Александр не думал о еде, но когда о ней заговорили, то он почувствовал, что сильно проголодался. Он ощупал свой карман и, убедившись, что кошелек его с несколькими золотыми монетами цел, ра-

достно изъявил согласие зайти пообедать вместе с Панчетти и Нино.

До этого дня он всегда ел со своими, в посольских покоях или на званых обедах, и таким образом еда ему ничего не стоила. Но возвращаться домой было далеко, и от приглашения Панчетти он нашел неловким отказываться. Главное же, хотелось посмотреть — какие такие венецианские траттории, о которых в разговоре не раз упоминал Панчетти.

Пройдя под аркады, они вошли в широкую стеклянную дверь и оказались в обширном помещении, богато убранном зеркалами и шелковыми тканями, уставленном во всех направлениях небольшими мраморными столами и мягкими скамьями и стульями.

В траттории народу было много, за столами сидели мужчины и женщины. Прислуга сновала взад и вперед, разнося блюда и разные кувшины с напитками.

Александр и его спутники поместились к столу. Пока Панчетти заказывал обед, Александр оглядывал своих соседей и, конечно, в особенности женщин. Направо от него, через стол, сидела прелестного вида разряженная

венецианка, пила из бокала какую-то светлую, прозрачную влагу и весело и оживленно разговаривала с двумя молодыми людьми, находившимися с нею.

Вот она обернулась в сторону молодого московита, на мгновение остановила на нем взгляд больших выразительных глаз и будто обожгла его этим взглядом.

— Вы не знаете, кто эта синьора? — спросил Александр у Нино, так как Панчетти все еще был занят беседой со служителем, которому заказывал обед.

— Она вам очень нравится? — вдруг оживляясь и как бы соображая что-то, сказал Нино.

— Да, очень красивая синьора. Вы ее знаете?

— Знаю, — ответил Нино, — и вся Венеция ее знает. Это синьора Лаура, прелестная женщина. Она знаменита не только своей красотою, но так же умом и образованием. Она очень добра и в особенности любит иностранцев. Она живет в богатом палаццо, и у нее собирается по вечерам очень хорошее и веселое общество.

Проговорив это, Нино вдруг вскочил и,

прежде чем Александр успел опомниться, подбежал к столу, за которым сидела синьора Лаура, и что-то шептал ей, указывая на московита.

Еще мгновение — Нино вернулся и, сверкая глазами, весело говорил:

— Идем скорей, синьора Лаура желает познакомиться с вами... Я вас ей представлю...

Александр смутился, растерялся, покраснел как маков цвет. Никак он не ожидал ничего подобного.

— Да как же это? Зачем?.. Я не могу... — отчаянно шептал он Нино.

А тот смеялся.

— Как не можете? Молодая, прекрасная синьора глядит на вас, улыбается вам, желает с вами познакомиться, а вы говорите, что не можете!.. Нет, вы не сделаете такой невежливости, пойдемте скорей!

Александр, не помня себя, очутился перед синьорой. Она ему говорила что-то, но он стоял молча, глупо улыбаясь и не понимая, что это такое она говорит ему. Однако ведь он был не из робкого десятка, да и самолюбие заговорило.

Была не была! Не оставаться же дураком на общее посмешище!

Он пробормотал что-то и низко поклонился молодой женщине. Она все улыбалась и протянула ему руку, сверкавшую дорогими кольцами.

— Прелестная синьора так любезна, — шептал Нино, — а вы что же?.. Целуйте скорей ее руку!

Но этого Александр не мог. Его губы прикасались к руке только двух женщин — матери и Насти. Он пожал протянутую ему, блиставшую драгоценными камнями руку и, полуобернувшись к Нино, шепот которого был достаточно громок, чтобы все его слышали, сказал ему:

— Синьора извинит меня и не обидится: на моей родине нет обычая целовать руки чужих женщин.

— Вот как! — воскликнула синьора Лаура. — Так, значит, для того, чтобы я добилась такой чести, я должна породниться с вами?.. Вы слишком спешите, синьор.

Кругом раздался смех, но Александр решительно не понял, чему это смеются. Синьора

Лаура сама налила бокал вина и протянула его Александру. Тот не нашел возможным отказаться, встал, поклонился и выпил. Вино — легкое, душистое, сладковатое — показалось ему очень вкусным.

— Нравится вам мое вино? — спрашивала синьора Лаура.

— Очень нравится...

— В таком случае я угощу вас сегодня вечером еще более вкусным... — Нет, — вспомнила она, — сегодня не могу, завтра. Приведите его ко мне завтра, синьор Нино.

В это время подошел слуга, посланный Панчетти, и сказал, что обед подан. Александр опять почтительно поклонился синьоре и ее кавалерам, причем она уже не протянула ему руки, отошел к своему столу и вздохнул с видом облегчения.

Он чувствовал себя во время разговора с этой женщиной очень неловко, да и сама она, показавшаяся издали такой красавицей, вдруг как-то перестала ему нравиться.

Вблизи она была уже не так молода и красива. Она глядела слишком смело и странно, так что взгляд ее почти сердил его, и ему ста-

новилось от этого взгляда просто совестно чего-то.

Через несколько минут синьора Лаура и ее кавалеры вышли из траттории. Проходя мимо Александра, она кивнула ему головою, опять обожгла его взглядом и будто обронила:

— До завтра!

— Не правда ли, прелестная синьора? — спрашивал Нино.

— Да... нет... — замялся Александр. — Да, конечно, она очень красива...

— Но она не совсем по вашему вкусу, — вдруг досказал его мысль аббат Панчетти. — Она вас звала к себе завтра, но сегодня вы увидите другую синьору, совсем иного рода, красота которой бесконечно выше красоты этой Лауры... Да их и сравнивать нельзя!

— Кто же это?

— Это синьора Анжиолетта Капелло. Она одна из самых знатных и важных дам Венеции... Я говорил ей о приезде московитского посольства и о вас, любезный синьор, и она разрешила мне и Нино привести вас сегодня к ней.

Александр опять растерялся.

— Извините, — говорил он, — мне нельзя... у меня есть дело.

— Нет, не отказывайтесь! — перебил его Панчетти. — Когда вы увидите синьору Анжиолетту, то будете нам благодарны. К тому же от приглашения знатной дамы молодой человек не должен отказываться. Если вы сделаете это, то очень повредите себе, и о вас будут дурно думать в Венеции. Зачем вы смущаетесь, синьора Анжиолетта прекрасно говорит по-латыни...

Он начал так восторженно описывать красоту и высокие достоинства своей патронессы, так сумел затронуть самолюбие и любопытство молодого человека, что тот наконец согласился быть представленным синьоре Капелло.

Между тем обед подходил к концу.

— Как вам нравятся кушанья? — спрашивал Панчетти.

Александр не умел да и не находил нужным лгать.

Он ответил:

— Одно хорошее, а другое дурно...

Некоторые кушанья ему даже очень не

нравились, так как они были приготовлены на оливковом масле, к которому он не привык. Ему невольно вспомнились пышные пироги и кулебяки Антониды Галактионовны, московские индюшки и гуси, начиненные всякой всячиной, и прочие сладости, которых он не ел с самого отъезда из Москвы и которые представлялись ему теперь еще более вкусными.

Зато венецианские вина были хороши. То Панчетти, то Нино все подливали ему в бокал и уверяли, что вино легкое, что его можно пить сколько угодно.

Александр и пил. Но когда после обеда он вышел снова на площадь, то почувствовал значительную тяжесть в ногах и некоторое головокружение. На сердце, однако, было хорошо и весело, какая-то особая, подзадоривающая смелость охватывала его, и он все спрашивал Панчетти:

— Когда же мы к вашей синьоре?

— А вот погодите, — отвечал аббат, — теперь еще рано... когда закатится солнце, когда зажгутся огни в окнах и начнется dolce far neinte — тогда и поедем в палаццо Капелло...

Маленький Нино шел молча, и из-под маски глаза его зловеще блестели.

## XIX

При постоянной смене внешних впечатлений минуты незаметно шли за минутами. Зимний день догорал, с моря потянул холодноватый ветер. Легкое опьянение, вызванное выпитым за обедом вином, проходило, и вместе с ним исчезла и возбужденность.

Александр уже снова начинал чувствовать неловкость и нежелание отправляться к какой-то синьоре. Он уже поговаривал о том, что с самого утра не был дома, что ему пора вернуться, так как он может понадобиться послам.

Но тут не только Панчетти, но и Нино стал его всячески отговаривать. Нино вообще сделался гораздо оживленнее, разговорчивее, и хитрый Панчетти, наблюдавший за ним, давно уже сообразил, что ревнивый музыкант, наверно, затеял нечто опасное для молодого московита.

— Однако сильно свежеет, — говорил Нино, кутаясь в свою епанчу.

— Неужели вы не чувствуете холода, синьор? — обратился он к Александру.

— Холод! Вы это называете холодом... в январе месяце!.. Вот у нас в Москве теперь так холодно, стоят лютые морозы, без шубы на улицу не выйдешь, а как здесь — у нас только весною да ранней осенью бывает... Мне жарко в моем теплом кафтане.

Ах, этот кафтан! Этот кафтан был такой красивый, богатый, зашитый донизу золотыми позументами и отороченный темным пушистым мехом, он так шел к высокой мужественной фигуре московита, что Нино с ненавистью во взгляде смотрел на него.

— Да, вам хорошо, ну а нам с аббатом холодно, и если мы теперь не согреемся, то в гондоле совсем продрогнем. Надо зайти в тратторию и выпить бокал-другой вина. Тут вот, в «Aquila Nero», отличное вино... и недорого. Не так ли, синьор аббат?

Аббату было холодно, и он чувствовал, что не худо бы выпить. «Ну да, ты хочешь напоить московита, чтобы он неприлично вел себя перед синьорой, — подумал он, — что ж, посмотрим, что из этого выйдет».

— Да, в «Aquila Nero» вино хорошее, — сказал он громко.

И они вошли в двери, над которыми помещалась вывеска с изображением большого черного орла.

Нино тотчас же исчез куда-то и затем возвратился в сопровождении служителя, несшего две бутылки и бокалы.

— Уходи, Антонио, уходи, я сам разливать буду! — суетливо проговорил он, завладел обеими бутылками и быстро стал наливать из них в бокалы.

Панчетти заметил, что в два бокала он налил из одной бутылки, а в третий из другой — и этот третий бокал подал московиту.

— Попробуйте, синьор, какое вино, — говорил, суетясь и сверкая глазами, Нино, — удивительный напиток... Какая густота! Будто масло... а аромат?..

Александр хлебнул. Вкусно! И в то же время будто огонь разлился по его жилам.

— Ну, что? Каково вино?

— Хорошее, только оно, кажется, очень крепко.

— А вы боитесь крепких вин? Разве у вас

такая слабая голова? — насмешливо спрашивал маленький музыкант, отпивая из своего бокала.

— Нет, голова у меня не слаба, — добродушно ответил Александр и осушил до дна крепкий, благоухавший напиток.

— И еще можно?

— Можно и еще, — с таким же добродушием сказал Александр, подставляя свой бокал.

Нино торопливо налил его до краев.

Когда они вышли из «Aquila Nero», Александр был опять в таком же возбужденном состоянии, как и после обеда. Щеки его покраснели, глаза подернулись влагой. Нино внимательно глядел на него.

«Посмотрим, каков ты будешь перед синьорой, — злорадно думал он, — останется ли она довольна пьяным варваром с далекого дикого севера?..»

— Теперь можно и в палаццо Капелло, — объявил Панчетти.

Совсем уже смеркалось, вода канала казалась густой и черной, когда они прыгнули в гондолу. На темном небе уже горели звезды, но луна еще не показывалась. Кругом, со всех

сторон, мелькали огоньки. Мимо, одна за другою, как призраки, скользили темные гондолы, слышался взмах весел, да время от времени раздавались то звонкий смех, то мелодия страстного мотива, то отрывистый крик гондольера.

Александр почти упал на скамью в каюте гондолы, у него закружилась голова. Но это продолжалось несколько мгновений. Выпитое вино подействовало на него совсем иначе, нежели бы подействовало оно на Нино и Панчетти. Опьянение охватило его сразу, но тотчас же и стало проходить, оставалось только вернувшееся веселое настроение и стремление к чему-то, жажда чего-то неизвестного.

Гондола остановилась. Нино быстро пошел вперед, а Панчетти с Александром медленно подвигались по слабо освещенным залам палаццо. Александр уже совсем пришел в себя и с изумлением озирался на окружавшее его великолепие.

«Ровно сон, ровно сон...» — невольно, почти громко, несколько раз повторил он.

Вот большие высокие залы сменились значительно меньшими, но еще более роскош-

ными покоями, со стен которых, озаряемых лампами, будто живые, глядели человеческие лица. Под ногами мягкие восточные ковры причудливых узоров. Аромат курильниц стоит в теплом воздухе.

— Вот и синьора, — шепнул Панчетти, медленно отворяя дверь.

Александр увидел перед собою такую красавицу, какая ему никогда и во сне не снилась, перед красотой которой совсем исчезал и казался жалким не только образ смутившей его в траттории синьоры Лауры, но даже и дорогой, привлекательный образ Насти.

Анжиолетта Капелло полулежала на низенькой софе, когда аббат подвел к ней Александра. Она не переменила положения, не приподнялась, не протянула ему руку, а только кивнула своей прелестной головой и грациозным движением руки указала на кресло недалеко от себя.

Александр поклонился низко, по московскому обычаю, потом тряхнул кудрями и неловко сел в кресло. Он не отрываясь глядел на прекрасное лицо синьоры и не мог от него оторваться. Теперь уж ему совсем казалось,

что все это не наяву, а во сне. И сон был такой волшебный, такой сладкий, что не хотелось бы никогда проснуться. Она заговорила — и ее звучный и нежный голос только прибавил очарования.

— Я вам очень благодарна, синьор, что вы меня посетили, — проговорила Анжиолетта, — аббат Панчетти насказал мне вчера таких необыкновенных вещей о вашей родине, что я непременно хочу слышать от вас, правда ли все это...

Александр глядел широко раскрытыми глазами, и растерянное выражение его лица, сразу же ей понравившегося, казалось ей таким смешным, что она, сдерживая улыбку, прибавила:

— Вы ведь говорите по-итальянски?

— Un poco, signora... — даже вздрогнув от необходимости отвечать ей, от необходимости выйти из блаженного созерцания, прошептал Александр.

— Но он прекрасно изъясняется по-латыни, — сказал аббат.

— В таком случае... будем говорить по-латыни! — не то что с ласковой, а с какой-то

ободряющей, притягивающей, едва заметной улыбкой воскликнула синьора Анжиолетта.

## XX

— Синьор московит, как ваше имя?

— Меня зовут Александр Залесский.

— Александр? — удивленно воскликнула она. — Но ведь это... ведь это христианское имя!

Александр вспыхнул и потом побледнел. Все очарование исчезло, исчезли и последние признаки опьянения. Теперь он владел собою. Невольное восклицание красавицы задело его за живое, обидело и возмутило. Перед ним так и встали беседы андреевских ученых монахов о разности между православной верой и католической.

— Я христианин, — сдержанно отвечал он, — и... даже более христианин, чем вы, синьора.

Она пристально взглянула на него, но теперь его лицо уже не показалось ей смешным, а понравилось еще больше.

— Вот как! — медленно сказала она. — Почему же вы считаете себя более христиани-

ном... это любопытно!

— А вот почему: я, так же как и вы, верую в Святую Троицу, и хотя между нашей верой и есть разница, но дело не в этой разнице, а в том, что вместо Господа нашего Иисуса Христа вы поставили человека — папу и дали ему такую власть, какая человеку дана быть не может.

— Синьор, вы говорите о том, чего не знаете! — сверкнув глазами, перебил аббат.

— Я говорю о том, что знаю, — с достоинством, обращаясь к нему, сказал Александр, — в другое время, если угодно, я буду рассуждать с вами и поведу спор за истинность православной греко-русской веры против заблуждений римского папства... но теперь говорить об этом не буду, ибо здесь не место для богословских прений... синьор, они могут показаться скучными.

Ей не захотелось углубляться в значение его слов, может быть, даже и потому, что она почувствовала возможность открыть в них нечто для себя обидное. Она с изумлением вглядывалась в этого северного варвара, который сразу же заявил о своей образованности,

пожалуй, даже учености.

— Я с вами согласна, — проговорила она, — мы можем найти для разговора менее серьезную тему... Во всяком случае, я очень довольна, что вы христианин, синьор Александр За... Извините — как вы сказали?

— Залесский.

— Вот это не легко... Залэзки... Зальески...

— Почти так! — улыбаясь, заметил Александр. — И видите — вовсе не так уже трудно...

— Скажите же мне, синьор За... Зальески, правда ли, что у вас по целым месяцам на небо совсем даже не восходит солнце, что вы полгода живете под снегом, что у вас лопаются глаза от холода и что вас поедают белые медведи?

— Вы, конечно, шутите, синьора? — в свою очередь, спросил Александр, чувствуя, как к груди его подступает что-то, почти злоба, почти ненависть к этой прелестной женщине.

— Нисколько не шучу, уверяю вас, что аббат (она указала на Панчетти) рассказывал мне все это о вашей родине.

Злоба и ненависть Александра теперь все-

цело перешла на аббата, и он рад был мысленно примириться с синьорой. Она не смеется над ним, она сама введена в заблуждение и не виновата в своем неведении. Это все вот этот носатый, облизанный папский прислужник!

— Аббат рассказал вам сказку, синьора. Если же он сам в нее верит, то, значит... значит, образование его недостаточно. Я сам знаю очень мало, но, собираясь ехать в Венецию, наверное, знал, что вы не живете под водою, что у вас не растапливается мозг от жары и что вас не поедают акулы...

— Браво, синьор! — весело рассмеялась Анжиолетта. — Вы даете хороший урок и мне, а главное — аббату Панчетти... Впрочем, я заслуживаю снисхождения; я хоть и ничего не знаю о вашей родине, но все же не решалась ему верить. Итак, Московия не настолько страшна, как мне ее описали. Может быть, она еще прекраснее нашей прекрасной Италии?

Не то свет, не то тень скользнули по лицу Александра, и выразительные глаза его, светясь каким-то особенным светом, останови-

лись на синьоре. В сердце у него заныло и потом загорелось что-то. На него вдруг будто пахнуло родным воздухом.

— Я скажу вам истину, — дрогнувшись голосом отвечал он. — Ваша страна прекрасна, климат у вас благословенный, науки и искусства процветают... Много, много здесь есть такого, чего у нас нет; но не меньше хорошего и у нас, только все это совсем иное.

Он все больше и больше одушевлялся. Перед ним рисовались картины родины в самом привлекательном свете, и, быстро подбирая латинские слова, он горячо передавал все, что видел взором воспоминания.

# XXI

Синьора склонила голову на свою полуобнаженную, будто из мрамора выточенную руку, задумчиво глядела на красивого чужестранца и вслушивалась в звук его голоса. Она не замечала ошибок и неправильностей его латинской речи, ей даже не очень интересно было то, о чем он рассказывал, она не понимала, чем он восхищается.

Та жизнь, о которой он говорил, те картины, которые он рисовал, были слишком для нее чужды, а потому и мало занимательны. Но ей нравились звук его голоса, его одушевление, его горящие глаза, его красивая, казавшаяся ей такой оригинальной, новой, необычной фигура.

— А ваши московские женщины? — вдруг спросила она. — Хороши они? Лучше они или хуже итальянок?

Милый образ Насти мелькнул перед Александром.

— Они красивы, но мало кто видит красоту их, — проговорил он.

— Как? Почему? — удивилась синьора Ан-

жиолетта, и, когда он рассказал ей о теремах, о почти затворнической жизни русской женщины, она всплеснула руками.

— Santa Maria! — в искреннем ужасе воскликнула она. — Какие несчастные!.. Нет, синьор Александр, не говорите мне больше о вашей стране — я не люблю ее!.. Бедные, бедные... да ведь это вечная тюрьма!.. Это хуже смерти!.. Вы совсем расстроили меня вашим ужасным рассказом. Нино, — прибавила она, — сыграйте что-нибудь, спойте, чтобы рассеять этот ужас!

Нино, все время мрачно сидевший в углу и не проронивший ни звука, теперь сразу вышел из своего оцепенения. Она все же его вспомнила. Она дает ему возможность выказать его искусство. Он взял мандолину, струны застонали — и полилась мелодия страстной песни.

Нино пел очень недурно, его небольшой баритон был хорошо обработан, и он вложил много огня в звуки, вылетавшие из его груди.

Александр слушал с удовольствием, но по мере того как Нино пел, ему все сильнее и сильнее хотелось тоже петь. Один за другим

вспоминались и просились наружу с детства знакомые напевы.

— Синьор? А вы... вы не поете? — спросила Анжиолетта, когда Нино кончил.

— Пою! — вдруг решительно воскликнул Александр, тряхнув кудрями.

Нино позеленел. Панчетти криво усмехнулся. Синьора вся так и насторожилась.

Еще несколько мгновений — и увешанные чудными картинами стены гостиной палаццо Капелло огласились русской песней. Александр пел о том, как красная девица поджидает друга милого, как не спит она долгу ноченьку, все глядит на путь-дороженьку...

Немного слов было в этой песне, да и мотив ее незамысловатый, но звучала в ней тоска великая и еще более великая любовь, любовь терпеливая, мало просящая, а отдающая все, все без остатка.

Александра охватила такая внезапная тоска по далекой родине, в его душе зазвенели такие струны, что молодой звучный его тенор вложил в песню целый мир тончайших ощущений.

Когда замер последний звук, последняя вы-

сокая нота, синьора Анжиолетта во все глаза глядела на певца, и из этих прекрасных глаз тихо скатывались одна за другою слезы.

— О, как это странно!.. Как это печально... и как это хорошо! — наконец произнесла она совсем растерянно. — Но вы очень расстроили меня, синьор Александр... До свидания... у меня голова сильно заболела... надеюсь, вы вернетесь и вернетесь скоро?

— Вы очень добры, синьора! — проговорил Александр, до глубины души тронутый ее слезами. — Я вернусь, я вернусь непременно.

Она поднялась, ласково кивнула ему и, удаляясь, сказала своим чичисбеям:

— Синьоры, прикажите подать нашему гостю сорбеты

Но, когда она скрылась за дверью, Александр отказался от всякого угощения, объяснив, что ему давно уже пора домой. Панчетти и Нино, оба недовольные и смущенные, не стали его удерживать, проводили до ступеней крыльца и стояли, пока он не сел в гондолу.

— Ну, что вы скажете? — ядовито почти прошипел Панчетти, когда гондола отчалила.

— Я убью его! — мрачно произнес Нино.

— Вы этого не сделаете — он принадлежит к иностранному посольству, и вы знаете, как пришлось бы ответить за его смерть.

— Увидим!

Нино хотел еще прибавить что-то, но повернулся и молча стал подниматься по ступеням.

## XXII

Прошло дня четыре, и все это время Александр почти не отлучался из дому, так как послы не могли обойтись без него ни часу. Приходил Нино и уговаривал его отправиться вместе с ним к синьоре Лауре, которая очень обижена таким к ней пренебрежением со стороны иностранца. При этом Нино красноречиво описывал все достоинства синьоры, уверял, что у нее так весело, как нигде, и что нельзя быть в Венеции и не воспользоваться возможностью такого интересного знакомства. Самые важные и богатейшие иностранцы всеми мерами добиваются чести попасть к знаменитой красавице, и эта честь достается с большим трудом, а часто даже и все ухищрения пропадают даром. Тут же счастье

само дается в руки. Очевидно, «синьор московит» очень понравился — о нем спрашивают, его ждут, за ним присылают. Нельзя же ему отказываться.

Александр отвечал, что он и рад бы посетить эту синьору, но дела не позволяют — он занят с утра и до вечера.

Нино, очевидно, очень заинтересованному в том, чтобы ненавистный московит пошел к Лауре, пришлось уйти ни с чем.

Александру легко было отказаться от посещения особы, к которой теперь ничто не влекло его; но когда явился аббат Панчетти и тоже передал ему приглашение, но уже не от Лауры, а от Анжиолетты Капелло — отказ оказался тяжелым и неприятным.

— Передайте синьоре, — говорил Александр, — что я очень глубоко сожалею... сегодня никак не могу освободиться и завтра, верно, тоже... но только что будет у меня свободное время — я сейчас же, сейчас сяду в гондолу — и приеду...

— Я передам это синьоре, — с полуулыбкой, которая неизвестно что выражала, отвечал Панчетти, — но ведь синьора часто выез-

жает, застать ее не так легко, да она, если и у себя, не всегда вас принять может.

— Что же мне делать! Я связан обязанностями... я один во всем посольстве могу изъясняться на латинском и греческом языках... вот вчера, только что собрался прогуляться — явились греки, наши единоверцы... завтра — греческий митрополит приедет. Никак нельзя мне отлучиться...

И бедный Александр, говоря это, не замечал, какое жалобное выражение у него в лице, не давал себе отчета в том, что в эти минуты он ненавидит и свои обязанности, и Чемоданова, и Посникова, и всех, с кем ему приходится разговаривать за послов, что ему безумно хочется бросить все, забыть обо всем — и бежать к синьоре Анжиолетте. Слезинки, выкатившиеся из ее чудных глаз во время его пения, так и сверкали перед ним, будто озаренные солнечным светом переливчатые алмазы, и усиленно бившееся сердце соблазнительно, страстно шептало ему, что алмазы эти дороже всех сокровищ и чудес волшебной Венеции.

— Bene, bene! — повторял между тем Пан-

четти. — Я передам синьоре.

Он откланялся и удалился все с той же загадочной полуусмешкой на тонких губах...

«Однако что ж это я? — думал Александр, отгоняя от себя смутные грезы, влекшие к неведомому блаженству. — Будто дурманом кто опоил меня!.. Нет, пустое!.. Дело надо делать, самое время приспело... ведь это служба царская, на пользу земле русской...»

Он тряхнул по привычке своей кудрями — и переливчатые алмазы померкли в его воспоминании.

«Дело надо делать... самое время приспело!» — так думал теперь и Алексей Прохорович Чемоданов. До сих пор была одна забава. И в Ливорно, и во Флоренции можно было отдыхать от долгого, трудного пути, любоваться басурманскими прелестями, наедаться заморскими яствами, угощаться винами романейскими... Ныне же одна забота — исполнять наказ великого государя, непостыдно отслужить службу царскую, не уронить чести русской и перехитрить «немца».

Венецианское правительство, серьезно рассчитывая на поддержку со стороны Мос-

ковского государства в своей борьбе с Турцией, решило принять царское посольство со всяким почетом. Бывший в Москве Альберт Вимина получил назначение состоять посредником в сношениях послов с республикой. Чемоданов и Посников видели Вимину в Москве не раз и встретились с ним как со знакомцем.

Первый вопрос Чемоданова был, конечно:

— Когда можно видеть дука Молена и вручить ему царскую грамоту?

На это Вимина отвечал:

— Дук Молена правил Венецией десять лет и более года тому назад волею Божиею скончался. После него было еще два дука, которых теперь тоже нет, а правит новый дук, по имени Вальеро.

Этот ответ так поразил послов, что оба они совсем растерялись и только молча переглядывались между собой.

— Вот тебе раз! — в смущении и почти ужасе воскликнул наконец Алексей Прохорович. — Как же нам теперь быть? Ведь грамота-то царская к дуку Молену писана, и к нему мы от великого государя поручение имеем, а

про Валеру у нас слыхом не слыхано, и кто таков сей Валера — мы того не знаем... Иван Иванович, как ты полагаешь?

Посников почесал у себя в затылке.

— Да-а! — протянул он. — Вишь ты, дело-то оно какое!.. Однако так сказать надо: в животе и смерти Господь волен, и ежели дук Молен преставился, то царской грамоты вручить ему не можем. А так как сия грамота и посольство наше к дуку венецейскому, и ежели ныне Валера в дуках, то мы должны почитать его яко Молена и за сие в ответе перед царским величеством быть не можем.

— Верно твое слово! — по малом размышлении радостно воскликнул Алексей Прохорович и успокоился.

Однако спокойствие его продолжительным не было. На повторенный вопрос: «Когда можно видеть дука?» — Вимина через Александра отвечал:

— Дук нездоров и принять царского посольства никак не может, но это ничего: он назначит своим представителем высшего сановника республики, и послы обо всем будут договариваться с верховным советом и с

представителем Дука.

— Что он врет! — весь багровея, воскликнул Чемоданов. — Ты, Лександр, лучше мне таких глупых его речей и не переводи! Какой такой представитель? Какой совет? Никакого представителя и никакого представления совета мы не знаем и знать не хотим! Великий государь приказал нам ехать к дуку и собственноручно вручить ему свою царскую грамоту. Так мы и должны сделать. Когда же дук от нас получит грамоту и выслушает все, что мы ему сказать имеем, он волен назначить своих сановников вести с нами дальнейшие переговоры... Ведь так, Иван Иваныч?

— Так, так! — решительно подтвердил Посников.

— Ну, и переведи ты это, Лександр, Вимине и скажи, что иначе не будет.

Вимина долго объяснял, что Венеция — республика, что власть дука ограничена и самовольно, без согласия верховного совета, он распоряжаться не может.

— Врет! Врет! — в один голос твердили Чемоданов и Посников. — Кабы так было, то на государственных бумагах стояла бы подпись

не дука, а того самого верховного совета. Ан на бумагах-то чья подпись? Дукова небось... Так, значит, это подвох один.

Вимина увидел, что все доказательства и объяснения бесполезны, и удалился.

## XXIII

«Пока дук не назначит приема, будем сидеть и ждать, не тронемся с места!» — решили послы и действительно не выходили из своих покоев. Между тем к ним постоянно кто-нибудь являлся. Первым приехал секретарь резидента герцога Мантуанского и поздравил их с приездом.

— Это еще что за птица? — с явным пренебрежением заметил Алексей Прохорович, величественно сидя перед мантуанцем и слушая его любезные фразы, переводимые Александром. — Не слыхать что-то про такого!.. Велика ли честь в его почтении — неведомо. Скажи: спасибо, мол!.. Да не толкуй ты с ним много — не стоит...

Посетил «московитов» также и французский резидент, посетил самолично. Ему было любопытно взглянуть поближе на северных

варваров. Любопытство свое он удовлетворил; возвратясь, послал в Париж сообщение о «московитах», в котором правды было много — целая десятая часть, но ответного визита послов не удостоился.

Пождал француз день, другой, третий и кинулся к Вимине. Так, мол, и так: «московиты» чинят французской нации крайнюю обиду, визита не возвращают. Вимина объяснил это Александру и просил убедить послов в невежливости их поведения относительно французского резидента. Но послы и слышать ничего не хотели: «Дука еще не видали, а к какому-то вертопраху ездить будем!»

Только после убедительных уговариваний добился Александр, что его послали во французское посольство осведомиться о здоровье резидента. Французу на этом пришлось успокоиться.

Приехал Вимина и сообщил, что папский нунций просил его узнать: поедут ли русские послы к папе в Рим?

— Скажи ты ему, Лександр, — важно ответил Чемоданов, — что от великого государя нам к римскому папе поручения никакого не

дано и что в Рим нам ехать незачем, ибо мы русские, православные и папе римскому вовек не поклонимся.

Александр перевел эти слова Алексея Прохоровича с большим удовольствием.

— А что же дук? — спросил Посников. — Когда он нас примет?

Вимина поморщился. Нелегкой оказывалась его обязанность. Решено было уступить послам, но предварительно требовались сведения о цели их посольства.

— Дук готов с удовольствием дать аудиенцию послам московского государя, — сказал Вимина, — готов принять от них царское письмо и выслушать все, что они скажут, но ведь он нездоров и не встает с постели. Придется ждать его выздоровления.

— Будем ждать, — спокойно ответили послы, и тон их ясно показывал, что они дождутся.

— Будьте уверены, — заговорил Вимина, — что дук и верховный совет весьма счастливы видеть в Венеции посольство из славной Московии... но... в чем же, собственно, заключается дело, по которому вы приехали?

Когда Александр перевел этот вопрос, у Чемоданова даже глаза налились кровью.

— Хорош гусь! Ишь ты, с чем подъезжает! — воскликнул он. — Да что он, на дураков напал, что ли? Скажи ты ему, что, пока мы дука не повидаем, никто слова от нас не услышит.

После этого ответа Вимина сказал:

— Я вовсе не желаю быть нескромным, и не мне надо знать о цели вашего приезда, а верховному совету и самому дуку. Так всегда делается. Необходимо — звать обо всем заранее, до аудиенции, для того чтобы приготовиться к ответу. Дук иначе и не принимает иностранных послов.

— Батюшки! Да тут ухо востро держать надо! — воскликнул Посников. — Только не остерегись, как раз подведут и погубят!

— А ты как думал? — сказал Алексей Прохорович. — Нет, этот-то каков! На Москве был, русскую хлеб-соль ел — и первый же предатель оказывается... Скажи ты ему, Лександр, что стыдно нам и глядеть-то на него. Мы его за человека почитали, а он силится подвести нас под гнев государев... государеву тайну

хочет от нас выведать. Так пусть нос свой немецкий утрет: тайны государевой мы ему не выдадим, а коли он подослан к нам этим самым советом, то подобные деяния — один лишь позор для венецейского государства!

## XXIV

Со всеми резидентами покончили, Вимину в своей непреклонности убедили, так что он перестал подъезжать с допросами, ждали аудиенции у дука и сидели в своих покоях, никуда носу не показывая, охраняя свое посольское достоинство.

— Вот как с дуком переговорим да увидим, что он к его царскому величеству надлежащее почитание чувствует, — тогда и покажемся народу венецейскому. А пока что — из дому выходить не след! — говорил Чемоданов.

Посников с ним был совершенно согласен, но Александр стал возмущаться от такого решения; ведь пройдет еще дня три-четыре, может, и вся неделя до дуковой аудиенции — так неужто сидеть? Оно, положим, и из окон широких можно на многое любоваться. Весь

день под окнами взад и вперед снуют гондолы, каких-каких народов не проедет... Но это все не то...

Александр объявил послам, что как они там хотят, а он сидеть больше не желает, да так объявил это решительно, что ни Чемоданов, ни Посников спорить с ним не стали.

Алексей Прохорович проворчал, однако:

— Ишь зуд у тебя в ногах!.. Ну и ступай, а только ежели что, ежели какая ни на есть пакость с тобой случится, — на себя пеняй, я же чтобы не был за тебя в ответе...

— Какой же ответ!.. Что случится со мною — нешто мы у разбойников?

— Вестимо, разбойный здесь народ... предатели... в Фиренце не в пример лучше.

— Да ты и народу здешнего, почитай, не видал еще совсем, Алексей Прохорыч!

— Вот еще — не видал! Довольно навидался... один Вимина чего стоит!

Совсем не в духе был Чемоданов и по первым, неожиданно встреченным затруднениям сильно боялся за исход своего посольского дела.

Александр под вечер нарядился и кликнул

гондолу.

«Была не была!» — подумал он, нетвердым голосом приказав везти себя на палаццо Капелло.

Мог ли он знать, мог ли подозревать, что синьора Анжиолетта вот уже третий вечер ждет его в своей уютной, полной всяких дорогих вещей и картин гостиной. Мог ли он знать, мог ли подозревать, что она велит отказывать всем стремящимся к ней венецианским синьорам, сказывается нездоровой, а медиков к себе не пускает, что она до отчаяния доводит Нино и Панчетти своею раздражительностью.

Оба чичисбея, прежде проводившие с нею почти весь день, теперь почти лишены ее общества. Музыка Нино, та самая музыка, которую она всегда любила, кажется ей теперь унылой и однообразной; его баритона она слышать не может. Саркастические усмешки Панчетти и его злой язык ей невыносимы. Тщетно влюбленные чичисбеи из кожи вон лезут, чтоб чем ни на есть развлечь ее. Она слушает их рассеянно, а иногда и совсем даже не слышит, что такое они говорят ей.

Наконец они довели ее, безо всякой вины со своей стороны, до негодования.

— Удивительно! — воскликнула она. — Вы считаете себя серьезными, образованными людьми, а между тем какую пустую жизнь вы ведете — обидно смотреть на вас!.. Неужели вам не надоело еще с утра и до вечера вести вздорные разговоры, перебирать то того, то другого, бранить, язвить, клеветать? Вы, верно забыли, что в палаццо Капелло одна из лучших библиотек Венеции. Ступайте в библиотеку, читайте, и если в какой-нибудь книге найдете что-либо очень, очень интересное — придите и расскажите мне...

«Неужели это московит всему виною?» — спрашивал себя Панчетти и решил, что, пожалуй, оно так и есть.

Но когда он заговорил о московите, синьора только усмехнулась, и ровно ничего нельзя было вывести из этой ее усмешки.

Третий вечер, едва смеркалось, чичисбеи совсем «отпускались», и синьора оставалась одна, на своей любимой софе с книгою в руке, с лицом как бы вянущим и скучающим, с померкшими глазами.

Она призывала старую Эмилию, которая вынянчила ее и была ей безгранично предана, и поручала ей следить за тем, чтобы никого не принимали, никого... за исключением молодого форестьера, поющего такие странные, сладкие песни. Старая Эмилия не имела обычая рассуждать и вдумываться в приказания своей красавицы-синьоры; ее дело было — повиноваться, и она спешила исполнять возложенное на нее поручение.

Настал третий вечер напрасных ожиданий, и Анжиолетта дошла до высшей степени нетерпения и обиды. Ведь она посылала за ним, звала его... Ведь она никогда никого не звала, ни за кем не посылала! Как смеет он, этот варвар, выказывать ей такое пренебрежение! Она хочет еще раз послушать его странное, дикое пение... Пусть еще раз попоет ей, а потом уезжает навсегда в холодную страну, где несчастных женщин всю жизнь держат в неволе...

Как скучно, как невыносимо скучно!

Да, не будь этой скуки, Анжиолетта, быть может, и не подумала бы о московите, а пение его показалось бы ей только диким. Но

давнишняя скука, пустота сердца, склонность к мечтательности и искание чего-нибудь необычного — все это громко твердило о московите. К тому же ее каприз был не сразу исполнен; ее заставили ждать — и на третий вечер, когда старая Эмилия доложила ей, что форестьер явился, — ее сердце вдруг сильно забилось, глаза блеснули, на щеках вспыхнул румянец.

Проведенный Эмилией Александр, в свою очередь, весь так и загорелся, когда увидел перед собою синьору. В прошлый раз она была удивительно хороша; но за эти несколько дней ее красота удвоилась.

Бедная Настя была совсем забыта, как будто ее никогда и не существовало на свете. Вместе с нею забылась и далекая родина, Москва златоглавая, забылось все — и весь Божий мир вдруг сузился и поместился без остатка в этой озаренной таинственным светом высоко поставленных ламп, увешанной картинами и тяжелыми драпировками гостиной.

Но вот и лампы, и картины, и все, что было вокруг, исчезло. Божий мир стал еще меньше

и уменьшался до тех пор, пока не заключился во взгляде чудных глаз, хотевшем казаться равнодушным и в то же время громко зовущем и обещавшем все цветы земли, все звезды неба — и даже много такого, чего никогда не бывает ни на земле, ни на небе.

Тут произошло то, что обыкновенно случается в подобных обстоятельствах. Анжиолетта и Александр говорили. Он объяснял ей, что только теперь получил возможность уехать из дому. Она слушала эти объяснения, спрашивала об его занятиях, задавала ему один за другим всякие пустые вопросы и получала на них обычные, хорошо ей заранее известные ответы. Но ни он, ни она не интересовались этим разговором нисколько и вели его совсем машинально.

Между ними неслышно велся глазами и сердцем совсем другой разговор. С каждой минутой они делали новые открытия, поверяли друг другу тайны.

Все это творилось с удивительной быстротою, и, конечно, никто из них не мог бы постичь и объяснить, каким это образом он вдруг очутился на коленях перед нею, каким

образом в душистой тишине гостиной палаццо Капелло прозвучал долгий поцелуй...

## XXV

— Что ж это за наказанье такое! Пришел Вимина и показывает, что принес вести важные...

Так говорил Посников, с сердитым и раздраженным видом входя к Чемоданову, который после сытного и вкусного обеда, распоясанный и расстегнутый, с растрепавшейся бородой и покрасневшим лицом, лежал у себя на широком восточном диване.

— В чем же наказанье-то? — сладко и громогласно зевнув, спросил Алексей Прохорович и лениво спустил на ковер одну ногу.

— Что вести важные принес Вимина — это я разумею, а какие такие вести — нешто мы с тобой разберем, когда глупый немец самого простого слова сказать не может, а все по-немецкому лопочет! — еще раздраженнее воскликнул Посников, очевидно сгоравший от нетерпения скорее узнать вести Вимины.

— А Лександра нешто нету?

— Лександр наш, батюшка Алексей Прохо-

рыч, вот уже третий день с раннего утра и до поздней ночи пропадает!

Чемоданов спустил на ковер и вторую ногу, даже слез совсем с дивана, но ему очень не хотелось выходить из своего блаженного послеобеденного состояния, а потому он даже не рассердился на Александра.

— Небось вернется парнишка, а Вимина и подождать может... Мы вот ждем же столько дней, — снова громко зевая, с полным равнодушием сказал он.

Посников совсем рассердился, проворчал что-то себе под нос и вышел из комнаты.

По счастью, Александр скоро вернулся. Он прямо прошел в свое помещение и через несколько минут намеревался снова выйти из дому. Но Посников поймал его и накинулся на него с бранью:

— Бога ты не боишься!.. Стыда в тебе нет! Что Ртищев за тебя перед государем заступник, так ты на голове ходить начинаешь!.. Постой, брат, погоди... вернемся на Москву, так я о твоем беспутном поведении молчать, думаешь, стану? Как же! Жди!..

Александр за эти последние три дня сде-

лался действительно очень странным, даже лицо у него совсем стало новое. Он слушал Посникова, но, очевидно, не понимал его.

— Да ты пьян, что ли? — тряхнул его за плечи Иван Иванович.

Александр с бессознательным вздохом покинул тот лучезарный, очарованный мир, где находился безотлучно всем своим внутренним существом, и с изумлением взглянул на Посникова.

— А?.. Что?.. Что ты говоришь?

— Олух ты — вот что! Вимина тут... сто лет тебя дожидается!

Александр даже побледнел при вести о невозможности сейчас же устремиться туда, куда притягивали его невидимые, но крепкие, неразрывные нити. Однако делать было нечего — он пошел к Вимине и вместе с ним предстал перед послами.

— С чем этот нехристь опять пожаловал? — строго спросил Чемоданов.

— А вот говорит, что у дука нога болеть перестала и что завтра прием назначен.

Чемоданов и Посников оживились.

— Наконец-то! Слава Тебе, Господи! — в

один голос сказали они.

— Однако прием... — вдруг становясь озабоченным, прибавил Чемоданов. — Каков нам прием будет? Ты спроси немца, будут ли нам оказаны всякие почести, какие подобают послам великого государя?

Александр спросил и перевел, что почести московскому посольству будут оказаны такие, каких доселе не делалось никаким послам.

— Ладно, коли не надуют! — проворчал Чемоданов.

Когда Вимина ушел, Александр хотел за ним последовать, но Посников так в него и вцепился. Пришлось весь вечер оставаться дома и приготовляться вместе с послами к завтрашнему приему.

На следующее утро — это было 22 января по русскому стилю — к палаццо, занимаемому посольством, подплыло несколько богато разукрашенных гондол. Чемоданов и Посников стояли у окна, глядели, и с каждым мгновением лица их прояснялись больше и больше. Из первой подплывшей гондолы вышел Вимина, хотя и одетый куцым немцем, но

очень богато. За ним, тоже в богатых, блестевших золотом одеждах, стали выходить неведомые люди, и было их всего тридцать человек. Они разместились по двум сторонам ступеней, ведших в палаццо.

Послы нарядились в самые парадные свои кафтаны, опушенные драгоценными соболями, зашитые золотом и жемчугом, и усердно помолились Богу. Посников торжественно взял царскую грамоту, завернутую в парчовый плат, и они вышли к Бимине. Через некоторое время со всех сторон собравшийся к палаццо народ венецейский увидел, как они в своих драгоценных и странных нарядах важно сошли со ступеней, сели в гондолу и отъехали. При этом Посников все время высоко держал обеими руками парчовый плат с царской грамотой.

# XXVI

Та же оторопь взяла послов, когда они, окруженные блестящей свитой, очутились перед палаццо дожей. Поразительная и странная красота этого здания произвела на них сразу какое-то жуткое впечатление. У Посникова невольно опустились руки с царской грамотой, а Чемоданов забыл всю свою важность и самообладание. У него пробежали по спине мурашки, будто он шел не к дуку, а к самому царю, в его кремлевские палаты.

Представились эти палаты воображению посла, и показались они в сравнении с дуковым жилищем такими малыми, такими невзрачными. Стало вдруг стыдно и обидно — зачем у царя такие малые палаты. Но и стыд, и обида исчезли без остатка, прогнанные такой мыслью: «Не красна изба углами, а красна пирогами, пуще ж того красна она хозяином... Тут, в этом диве заморском, невиданном, живет дук басурманский — выберут его — живет, а не выберут — прочь пойдет, и вся цена ему грош будет!.. А там-то, в тех малых кремлевских палатах, — кто живет?.. Он!

Справедливый и милостивый, великий и могучий, прирожденный, Богом на царство поставленный, свой, родной, православный!..»

При мысли этой прошла вся оторопь, и дуковы чертоги вдруг как бы уменьшились, потеряли грозное величие. Высоко поднялась голова посольская и вся широкая, облаченная в золототравчатый бархат фигура верного слуги царского получила истинную важность. Мысль и настроение Алексея Прохоровича будто передались Посникову — и тот выпрямился, поднимая перед собой, как святыню, царскую грамоту.

Подошли к широкой лестнице, медленно поднялись на несколько ступеней.

— Что ж это дук не идет навстречу? — воскликнул останавливаясь Чемоданов. — Нога-то у него выздоровела... Лександр, спроси Вимину, отчего нет дука?.. Ведь было нам сказано, что примут нас со всяческим почетом!

На вопрос Александра Вимина отвечал, что этого никогда не делается, что дук ни к кому не выходит навстречу.

— Нам нет до того дела, — заговорил Посников, — дук может не выходить к другим

послам, а к царскому посольству выходит султан турецкий, даже шах персидский!

— Верно, верно! — подтверждал Чемоданов, не только не подвигаясь вперед, но даже сойдя назад две-три ступени.

Вимина совеем растерялся и только повторял, что этого никак нельзя, что этого никогда не бывает.

— Глупый ты человек, совсем глупый, — обратился к нему Чемоданов, — неужто того не понимаешь, что мы не за себя стоим и не себе хотим почестей... Нам что! Мы сами по себе люди не великие, и дук твой Валера нам как есть ни на что не нужен, из почтения его сапог мы себе не сошьем... Но ведь ныне мы представляем его царское величество, как бы носим на себе государев образ, и дук должен на поклон выйти к великому государю!

Но Вимина только повторял: «Нельзя! Никогда не бывает!» — и упрашивал не делать задержки, идти дальше.

— Дурачье, как есть дурачье!.. Совсем темный народ! — наконец презрительно выговорил Алексей Прохорович и с таким величием стал подниматься по лестнице, будто все до-

жи Венеции, начиная с Анафеста и Орсо, составляли его свиту.

Однако послам пришлось еще раз смутиться и растеряться. Вимина ввел их в такой невероятно громадный и великолепный зал, что они остановились, не веря своим глазам. Изукрашенный картинами, лепною работой и золотом потолок, уходивший в удивительную высь, держался как бы волшебством. В глубине зала, на возвышении, сидел человек степенного вида, но одетый без всякой роскоши и богатства. Вокруг него, на бархатных сиденьях, устроенных перед длинными столами, помещались еще какие-то люди, тоже в скромных, темных одеждах.

— Это дук и члены совета, — перевел Александр слова Вимины.

— Что же они в простых одеждах? — воскликнул Чемоданов, забывая впечатление зала и свое невольно мелькнувшее было сомнение относительно того, что «а вдруг этот чудодейственной силою держащийся потолок возьмет да и обрушится?» — Было говорено о почете, какой же тут почет, коли царское посольство принимают в темных и простых

одеждах?! Мы вон как обрядились да и дуку богатейшие меха в подарок несем. Скажи, Лександр, Вимине, что обманно поступил он с нами и что мы на такие обиды жалобу принесем великому государю...

Вимина только кланялся, улыбался и указывал на дожа.

Делать нечего — пошли через зал, стараясь не поскользнуться на гладком полу. Впереди шел Чемоданов, за ним Посников с грамотой, потом Александр и человек пятнадцать русских посольских людей, несших подарки.

Приблизясь к дожу, послы низко поклонились, в то же время зорко и тревожно следя, как ответят на их поклон. «Дук Валера» встал со своего места и поклонился: ничего — хорошо поклонился, так что обижаться было нечего.

Тогда Алексей Прохорович, сделав Александру знак, чтобы он приблизился, начал говорить — приветствовать дука от имени царя Алексея Михайловича. Гулко раздался по всему залу длинный титул русского государя, произносимый зычным посольским голосом. По мере того как Александр переводил этот

титул, изумление выражалось на лицах дожа и членов совета: они не слыхали никогда такого длинного титула, никогда не слыхали наименований стран, находившихся во владении русского самодержца.

— Великий государь, — говорил дальше Алексей Прохорович, — вашему княжеству и честным владетелям (при этом он указал рукою на членов совета) поклон посылает и мне, слуге и послу своему, приказал сказать вам свою царскую милость: дозволяет он венецианам торговать у Архангельска повольною торговлею с платою обыкновенных пошлин.

Когда Александр перевел это на латинский язык, дож стал отвечать по-итальянски, а переводчик его переводил по-латыни:

— Благодарствуем его величество царя московского за его к нам внимание, за его поклон и разрешение венецианам торговать в Московии. Со вниманием и почтением готовы слушать все, что вы должны сообщить нам от имени вашего государя, и желаем знать цель вашего посольства.

Когда Александр перевел это, Алексей Про-

хорович обратился к Посникову и тихо сказал ему:

— Ишь ты, чего захотел! Сразу-то мы ему ничего не скажем, к этому надо подойти с опаской и осторожностью. Иван Иваныч, передавай скорей грамоту... затем подарки... и на первый раз будет с него...

Посников выступил вперед и, преклонясь перед дуком, передал ему письмо царя Алексея Михайловича, объяснив, что хотя это письмо и к дуку Молену, но так как дука нет в живых, то и он, дук Валера, прочесть его может.

Дук принял письмо, распечатал его, развернул, оглядел с любопытством и положил на стол перед собою.

— Так как письмо это написано на языке, нам неизвестном, то мы не можем тотчас прочесть его. Разобрав его, мы своевременно ответ приготовим.

По знаку Чемоданова приблизились посольские люди, развернули и разостлали перед дуком богатые меха соболиные. У дука при этом глаза разбежались, и, услыша, что это ему от царя подарки, он поблагодарил по-

слов с большим жаром за меха, чем за разрешение венецианам торговать в Московии.

Затем послы стали откланиваться, объясняя, что, пока дук не прочтет царской грамоты, говорить им больше не полагается. Так ни дож, ни члены совета и не узнали пока цели московского посольства.

Когда русские, выйдя из двора палаццо дожей, подходили к гондолам, они увидели огромную толпу народа. На воде, вокруг их разукрашенных гондол, собрались другие гондолы. Тысячи глаз глядели на них с любопытством, но что всего хуже, много глаз глядело на них из-под масок — и это было совсем уже невтерпеж Чемоданову. Посников же, увидя маски, начал без церемоний отплевываться.

— Вот нехристи, вот идолы! — повторял он. — Хари черные надели, чертей, прости Господи, изображают! Много всяких грехов навидались мы, а такого еще не видали...

Александр пробовал было объяснить послам, что это такой обычай или что в нем нет ничего греховного, но Чемоданов на него прикрикнул:

— Чего доброго и ты напялишь такую харю!.. Так вот тебе мое слово: коли я тебя чертом увижу — запру и выпускать не стану... ведь я за тебя перед царем в ответе... так ли я говорю, Иван Иваныч?

— Так, так! — кивал головой Посников. — Да и то за малым надо приглядывать... с пути начал сбиваться...

В это время с гондолой, в которой сидели послы, поравнялась другая гондола и поплыла рядом. Александр и Чемоданов выглянули из каютки. Вдруг из соседней гондолы раздался звонкий женский смех. Красивое лицо венецианки бросилось в глаза Алексею Прохоровичу.

Каково же было его изумление, когда эта красавица (это была синьора Лаура) назвала Александра по имени и что-то стала говорить ему, а он, несколько смущаясь, ответил ей. Потом она так взглянула на посла, что у него мороз по коже, и что-то ему, да, ему крикнула. Гондола скользнула мимо.

— Что она мне сказала? — помолчав и стараясь сделать суровое лицо, спросил Чемоданов.

— Она зовет тебя в гости, Алексей Прохорыч, — отвечал Александр, едва заметно улыбаясь.

— Врешь ты!.. Вот дура... ай да дурища!

Алексею Прохоровичу ужасно хотелось спросить — кто она такая, но он боролся с собою.

## XXVII

После приема у дожа послы решили, что теперь нечего уж сидеть в палатах, а можно и людей смотреть, и себя им показывать. Первым делом отправились в греческую церковь. Греческое духовенство встретило царское посольство с большою торжественностью. После амвонной молитвы молодой и красноречивый дьякон говорил, обращаясь к послам, такую речь:

«Род греческий, живущий в сем православном граде Венеции, молит Вседержателя: дай Господи, чтобы пресветлый, непобедимый, сильный, преславный, благочестивый и благоверный защитник церкви Божией восточной, рачитель благочестия, великий государь, царь и великий князь Алексей Михайлович,

утешитель рода христианского, здрав был на многие лета. Как пресветлое солнце, восстал он на искоренение тьмы неверия, на соблюдение и соединение благочестивой христианской веры, на побеждение врагов Божиих; как второй Константин явился для освобождения верных христиан греков из рук поганых турок; молим всемогущего Бога, чтобы всегда от его царского пресветлого меча мусульмане в порабощении и побеждении были».

После обедни греки пригласили русских послов к трапезе и угостили их на славу. Александр, хоть и трудно это ему было, сосредоточил все свое внимание на том, что греки говорили, обращаясь к Чемоданову и Посникову, и переводил.

«Ездим мы из Венеции в Турцию со всякими товарами часто и с турками торгуем; многие турки говорили нам: Бог дал Московскому государю победу над поляками и другими государствами, и у нас в Турции слава о том великая. Султан и паши, сыскав в своих гадательных книгах, говорят, что пришло время и Цареграду быть за русским государем, живут

с великим опасением, в Цареграде на долгое время ворота бывают засыпаны; боясь русских, турки стали сильно притеснять нас, греков; но мы надеемся на милость Божию и на заступление великого государя, что он высвободит нас из басурманских рук...»

Слушая слова эти, Чемоданов важно поглаживал бороду и, возвращаясь домой, удобно развалясь на бархатных подушках в каютке гондолы, толковал Посникову:

— Вот это так! Греческие люди хоть и не смыслят по-нашему, да и с лица черноваты и страшноваты, но чувство в них настоящее... Почитают великого государя... их разные дуки не проведут, знают они, что только один царь-батюшка может за них заступиться.

— А все отчего? — отвечал Посников. — Оттого, что веру истинную Христову православную исповедуют... Беспременно о них на Москве ласково нам говорить надо!

— Вестимо так! — соглашался Чемоданов.

Дома послов ожидали иные люди, тоже пострадавшие от турок, но имеющие несравненно больше прав на заступничество великого государя, чем греки. Это были свои, русские,

числом более пятидесяти человек, бежавшие из турецкого плена. Измученные, обессиленные долгими странствиями и крайней нуждою, они насказали послам таких ужасов о перенесенных ими бедствиях, что не только Чемоданов, человек сердца хоть и горячего, но доброго, совсем расстроился, а даже весьма нечувствительный Посников вышел из своего равнодушия. Послы забыли свою скупость, о которой итальянцы распускали самые нелепые басни. Чемоданов оделил несчастных соотечественников богатой милостыней, разрешил им забирать из посольских запасов всякое продовольствие и обещал сделать для них все, что будет в его власти.

Не успел он окончить свои распоряжения относительно пленников, как посольская прислуга объявила, что к дому причалили лодки, из тех лодок вышли мужчины и женщины в черных харях и почти силою ворвались в посольские покои.

Алексей Прохорович сразу даже оторопел, но затем вспомнил о своем посольском звании и рассердился.

— Это еще что за притча? — закричал

он. — Лександр, подь-ка ты к этим нехристям и спроси, чего им от нас надо, как смеют они врываться в посольские покои, да еще и в богопротивных своих харях, в скоморошьем виде? И знаешь, ты этак, построже спроси их, чтобы они почувствовали, скажи им, что за их предерзость они в большом будут ответе!

Александр скоро вернулся, хоть и несколько смущенный, но не без лукавой улыбки на лице.

— Они, Алексей Прохорыч, говорят, что силой не врывались, а просто приехали и вошли.

— Да кто же они такие?

— Здешние нобили, значит, благорожденные господа и госпожи. Прибыли они для привета царского посольства и для знакомства с тобою.

— Ну, это другое дело! — сказал Чемоданов и погладил себе бороду. — Только хари-то зачем? Ныне не святки, пусть снимут хари, тогда я к ним выйду... Ну а... госпожи, ты говоришь? Какие такие госпожи?.. Может, между ними и та дура, что вчерась, как мы от дука возвращались, мне из лодки кричала?

Выражение лица Александра стало еще лукавее.

— Именно, Алексей Прохорыч, она самая тут и есть и желает тебя видеть...

— Эка дурища, ну что с такой дурищей делать!

Проговорив слова эти с каким-то особенным тоном, Чемоданов вынул из кармана гребешок, расчесал себе бороду, крякнул, оправился и важно вышел к гостям. Он увидел довольно многочисленное и нарядное общество, только, к ужасу его, все были в черных «харях».

Но вот вперед выступила, снимая маску, синьора Лаура. Она была так ослепительна своей красотою и так сверкнула на него глазами, что он мигом забыл обо всех «харях» и только не отрываясь глядел на нее.

Она подошла, улыбаясь, и протянула ему руку. Он взял эту руку в обе свои и не знал, что с нею делать, — однако тотчас же, очевидно, сообразил и стал ее поглаживать, пока синьора не нашла нужным хоть и осторожно, но нерешительно воспротивиться этому выражению его почтения.

— Что же она такое лопочет? — ухмыляясь, спрашивал он Александра.

— Она говорит, — отвечал тот, едва удерживаясь от смеха, — что ты очень ей по нраву пришелся, что она звала тебя к себе, а ты не пожаловал, так вот она сама приехала и просит тебя к себе в гондолу покататься и потом к ней ее угощенья отведать... говорит, у нее вина хорошие и сорбеты вкусные...

Алексей Прохорович подумал несколько мгновений. Что-то внутри его как бы шепнуло: «Не поддавайся дьявольскому наваждению, не срами себя... не езди!» Но этот голос замер, всякое благоразумие исчезло.

— Что ж... зачем обижать... Я обижать добрых людей не люблю... отчего не прокатиться, коли она честью просит... Лександр, поедем! — решил он.

— Меня-то уволь, она не меня зовет, а тебя! — взмолился Александр.

— Вот тебе на! — крякнул Чемоданов. — Как же я без тебя буду... без тебя мне никак невозможно.

Пришлось повиноваться.

Через несколько минут Посников, бывший

все время у себя и не знавший о приезде гостей, подошел к окну, привлеченный звуками голосов и смехом. Он увидел, как со ступеней к причалившей гондоле сходил рядом с какой-то женщиной и окруженный толпою черных «харь» Алексей Прохорович. «Хари» лопотали по-птичьему и непристойно смеялись.

Посников всплеснул руками, плюнул и отвел душу горячей бранью. Поступок Алексея Прохоровича так возмутил его, что он не мог приняться ни за какую работу.

## XXVIII

Не в очень-то хорошем настроении духа чувствовал себя Александр, сопровождая Алексея Прохоровича и переводя ему слова синьоры Лауры. Прежде всего он ясно видел, что и она, и вся ее компания просто смеются над русскими людьми. Он уже расслышал несколько насмешливых замечаний, садясь в гондолу. Но замечания эти были сделаны замаскированными людьми, поместившимися к тому же в других гондолах.

Даже то, что казалось ему сначала забав-

ным — мины и ужимки Алексея Прохоровича, старавшегося показать, что он ничуть не заинтересован красивой венецианкой, а только вынужден принимать ее любезности, — даже и это перестало забавлять. Он вовсе не желал, чтобы над почтенным послом смеялись чужестранцы, и решил при первой же возможности прекратить все это.

Сама синьора Лаура, веселая, любезная и насмешливая, той дело пытавшаяся обжечь его своим красноречивым взглядом, была ему как-то особенно невыносима.

Он с ужасом помышлял, что вот уже около трех суток не был там, в палаццо Капелло, и не знал, когда-то еще освободится. Оставить Алексея Прохоровича и скрыться, воспользовавшись первой для того возможностью, он, однако, не решился.

Палаццо, принадлежавший синьоре Лауре, был не обширен, но отделан богато и со вкусом. Когда веселая компания увлекла «московитов» в столовую, где было приготовлено угощение, хозяйка отстала в одной из комнат, пропустила всех вперед и стояла, будто чего-то или кого-то ожидая. Действительно, че-

рез несколько мгновений к ней подошел неведомо откуда взявшийся человек очень небольшого роста и в маске.

— Это вы, Нино? — спросила синьора.

— Это я, прелестная Лаура, — отвечал он. — Что ж, удалось вам похищение медведей?

— Как видите, оба здесь...

— Синьор Фоскатти будет вам очень благодарен, и считайте так, что то, чего вы желали, — уже сделано. Завтра утром еврею будет уплачен весь ваш долг, и я принесу вам ваши расписки. А теперь скажите мне, сколько времени медведи у вас пробудут?

— Это зависит от вас.

Нино подумал и сказал:

— Два часа. Старика напоить не трудно... Но тот...

— Не беспокойтесь, от одного моего стакана у него в глазах двоиться станет... Вы знаете мой порошок: он безвреден, но действует отлично, в самую меру....

— Итак, через два часа! — повторил Нино, послал воздушный поцелуй синьоре Лауре и быстро скрылся.

Вино и сорбеты оказались чудесными. В голове Чемоданова еще не совсем улегся хмель, оставшийся после обеда, данного посольству греками, и теперь каждый новый стакан быстро подбавлял этого хмелю. Старик совсем развеселился, всякое смущение исчезло, он давно позабыл о том, что вокруг него ненавистные «хари», и, когда многие из компании сняли маски, он даже не мог и разобрать, у кого чертовская харя, а у кого личина прирожденная.

Незаметно прошел час, и другой уже приближался к исходу. Синьора Лаура сама поднесла Александру стакан золотистого вина и заставила его выпить. После этого стакана бывший до того почти трезвым Александр вдруг опьянел, да так, как вряд ли и бывал когда в жизни. Веселье Алексея Прохоровича сообщилось и ему, все вокруг стало изменяться и становиться совсем новым, приятным.

Даже синьора Лаура вдруг сделалась такой привлекательной, милой. Каждое ее слово нравилось, ее улыбка заставляла улыбаться, ее смех вызывал смех.

Вот она положила руку на спинку кресла,

на котором сидел Александр, и показалось ему, что это совсем не ее рука, а другая, милая, любимая, которую он научился целовать. Но чья это рука — он не мог припомнить...

Какое-то имя будто прозвучало над ним, чей-то образ будто мелькнул перед его глазами, но это было лишь мгновение... Он видел смеющееся лицо Лауры, ее белую руку, украшенную дорогими перстнями, с длинными розоватыми ногтями... Он хотел уж было склониться к этой руке, но в то же время как бы кто в нем, в груди его, в его сердце крикнул: «Что ты, что ты! Это не она... не она!»

Но вдруг Лаура вынула платок и стала им обмахиваться. На Александра пахнуло ароматом, знакомым, тем самым — и он уже не слушал, что «это не она», он почувствовал ее возле себя... Это она, это ее рука! Он порывисто склонился к синьоре Лауре, безумно схватил ее руку и покрыл ее поцелуями.

— Браво, синьор московит! Браво! — смеялась веселая компания...

В это время разукрашенная гондола Анжиолетты Капелло скользила по воде канала. На парчовых подушках, следя из окошка каюты

ленивым взором за мимо бегущими мутными струями, сидела сама синьора. В этой же каюте помещались оба чичисбея. Нино говорил, по-видимому, очень равнодушным тоном, но в то же время взгляд его быстрых глаз жадно следил за выражением лица синьоры. Нино говорил:

— Да, эти московиты совсем дикий народ, и в палаццо дожей все смеялись над таким странным посольством... А посмотрели бы вы, синьора, как они едят.

— Едят как и все, — небрежно, будто уронила Анжиолетта.

— То-то и есть что не как все, потому что, когда они одни, между собою, то все едят руками, а не понравится кушанье, так они вынут кусок изо рта и опять положат его на блюдо. Но так как теперь они уже знают, что надо есть с вилки, то берут с блюда кусок руками, потом втыкают в него вилку и отправляют в рот...

— Не клевещите, Нино, — перебила синьора, — я еще могла бы вам поверить, если бы вы не знали синьора Александра, но ведь я его знаю, да и вы тоже...

Нино так весь и насторожился.

— Синьор Александр действительно исключение между ними, — сказал он, — у него манеры гораздо лучше, но он такой же пьяница, как и все они... и нравы его далеко не безукоризненны.

Анжиолетта как ни владела собою, а все же покраснела от негодования.

— Синьор Александр у меня принят, — гордо закидывая голову и почти с ненавистью взглянув на Нино, произнесла она, — и я запрещаю вам лгать... К тому же вы не можете изменить моего доброго о нем мнения.

Нино опустил глаза и смиренно выговорил:

— Конечно, я не могу изменить мнения синьоры, но это легко сделать, если вы позволите мне сказать гондольерам, чтобы они везли нас к жилищу музыкантши Лауры.

— Лауры? — едва заметно вздрогнув, прошептала Анжиолетта.

— Точно так, синьора, около двух часов тому назад, случайно проезжая, я видел, как она с синьором Александром выходила из гондолы...

И, не дожидаясь разрешения или, вернее, для того, чтобы не смущать Анжиолетту необходимостью дать это разрешение, он крикнул гондольерам и прибавил «скорее!».

Гондола понеслась. Нино вышел из каюты и глядел во все глаза.

— Поворачивай за гондолой и держи рядом с нею! — вдруг крикнул он, а потом снова пошел в каюту. Через две-три минуты молчания он спокойно сказал Анжиолетте:

— Синьора взгляните!

Она взглянула по указанному им направлению и увидела в двух шагах от себя, в каюте рядом плывшей гондолы, известную всей Венеции Лауру, а возле нее — прислонившегося к ее плечу и обнявшего ее стан Александра.

# ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

## I

С каждым днем венецианский карнавал становился все веселее, шумнее, фантастичнее. Собственно говоря, он начался уже давно, с ноября месяца, но до этого времени ограничивался, главным образом, разрешением всему населению Венеции носить маски. Теперь же, так как пост был уж не за горами, начиналось настоящее бешенство народного веселья.

Нигде во всем мире и никогда не существовало такого количества годовых празднеств, как в Венеции; нигде и никогда не оказывалось так мало будних дней, как в этом удивительном городе, где тишина воды и полное отсутствие грохота экипажей по мостовой как бы вознаграждались несмолкаемым гулом вечно кричащего, смеющеюся, поющего, играющего на всяких музыкальных инструментах и празднующего народа...

Бесчисленные народные праздники соблю-

дались свято. Справлялись годовщины то какой-нибудь победы, взятия какого-нибудь города, то освобождение от чумы, то государственного переворота. Но самым торжественным праздником был день Вознесения. В этот день происходило знаменитое обручение дожа с морем, и на площади Святого Марка открывалась громадная ярмарка, где Венеция щеголяла своими разнообразными произведениями и куда со всего мира свозились всевозможные товары.

С раннего утра звонили во все колокола и стреляли изо всех пушек арсенала и крепостей Лидо. Дома быстро пустели, и в них оставались только тяжкобольные да бессильные старцы, покинутые на произвол судьбы. Все городское население, начиная с нобилей и кончая нищими, мужчины, женщины и дети устремились к площади Святого Марка и к набережным, а также наполняли и украшенные бесчисленными флагами гондолы и барки. Эти гондолы и барки окружали «Буцентавра», еще с вечера вывезенного из арсенала и стоявшего у подножия колонн на Пьяцетте.

«Буцентавр» — была гигантских размеров.

галера, управляющаяся двумястами отборными моряками флота республики. На галере было устроено несколько обширных помещений, отделанных с поразительной роскошью, и в одном из них возвышался трон дожа. «Буцентавр» украшался множеством золоченых скульптурных фигур, изображавших «справедливость», «мир», «море», «землю», сфинксов, всевозможных морских чудовищ. Надо всей палубой раскидывался громадный шатер из яркого бархата, залитого золотом, с золотой бахромой и кистями, а над комнатой дожа развевалось знамя Святого Марка.

Наконец раздается полуденный бой часов. Через двери Делли Карта из палаццо выходит дож в сопровождении иностранных послов, папского нунция, членов синьории и многочисленной свиты. Перед дожем, по два в ряду, выступают знаменосцы с красными, голубыми, белыми и фиолетовыми знаменами республики; за ними шесть трубачей оглашают воздух пронзительными звуками серебряных инструментов. Потом следуют музыканты — пифферари с флейтами, в сопровождении двух разряженных в ленты и кружева хоро-

шеньких детей. Далее — свита послов, секретарь дожа, его капеллан, двое служителей, несущих кресло и подушки дожа.

За этими людьми показывается великий капитан Венеции, нечто вроде начальника полиции, одетый весь в малиновый бархат и с длинной, волочащейся по земле саблей. Вслед за великим капитаном — великий канцлер в сенаторском одеянии. Потом маленький «Баллотино», нарядный красивый мальчик, обязанность которого — вынимать из урны шары баллотировки при избрании дожа.

Наконец появляется сам дож в длинной мантии. На голове у него коническая шапка, верхушка которой загнута в виде фригийского колпака. Шапка эта книзу, вокруг головы, переходит в корону, изукрашенную драгоценными каменьями огромной стоимости. На ногах у дожа золотые сандалии. По правую его руку — папский нунций, в своей четырехугольной шапке и сутане, застегнутой сверху донизу. По левую его руку — имперский цесарский посол, в плаще со стоячим воротничком и в бархатном токе. Сзади — прочие по-

слы, одетые по последней моде, и многочисленная свита, завершающаяся членами синьории и великого совета.

Это блестящее шествие медленно направляется через Пьяцетту к «Буцентавру». На палубе, в четырех рядах кресел, восседает толпа патрициев. Дож поднимается по ступеням трона, свита размещается вокруг него, адмиралы подают сигнал — и гигант «Буцентавр» снимается с якоря.

Со всех сторон раздаются залпы орудий, музыка играет и на галере, и на окружающих ее барках и гондолах, бесчисленные красные весла морского чудовища ударяют в такт по воде — и «Буцентавр» плавно движется среди всеобщего ликования, в сопровождении целого флота самых разнообразных, больших и малых, лодок. Все это приближается к острову Св. Елены, возле которого на «Буцентавр» поднимается венецианский патриарх и его клир, выехавшие навстречу в золоченой барке.

На палубе патриарху подносят сосуд с водою, которую он освящает, а затем выливает в море, чтобы утишить его.

Через порт Св. Николая «Буцентавр» выхо-

дит в открытое море. Тогда дверь, устроенная за троном, отпирается, дож появляется на маленькой галерее, висящей над самой водой, и бросает в море золотой перстень, произнося: «desponsamus te, mare, in signum veri perpetuique dominii», т. е. «обручаемся с тобою, море, в знак постоянного и действительного владычества». Громогласные клики триумфа и радости служат ответом на эти слова. Церемония обручения дожа с морем окончена...

В палаццо дожей весь день идет пир, на площади Св. Марка вся Венеция производит осмотр открывшейся ярмарки.

Эта ярмарка длилась пятнадцать дней; товары помещались в наскоро выстраиваемых, но чрезвычайно красивых зданиях. Здесь были разложены удивительные ткани — бархат, парчи, шелка, кружева, — тайна производства которых теперь утеряна, тончайшей работы золотые цепочки, подобные шелковинкам, знаменитые зеркала из Мурано, блестящие стеклянные изделия, которых нельзя было найти нигде, кроме Венеции, золотые браслеты, мозаики, дорогое оружие. Здесь же вы-

ставлялись также картины и статуи — на этой ярмарке венецианцы в первый раз увидели лучшие произведения Тициана, Тинторетто и в другие времена знаменитую группу Кановы — «Дедал и Икар».

В свою очередь, патриции и патрицианки превращали площадь Св. Марка в выставку богатейших нарядов, фамильных драгоценностей, красоты, веселости, остроумия и такой легкости нравов, какой в те времена не было еще нигде в Европе.

На многочисленных эстрадах давали свои представления певцы, музыканты, танцовщики, марионетки, всякие фокусники. С утра и до поздней ночи вся Венеция шумела, кричала, смеялась, наслаждалась зрелищами и поедала разные frittola и свои любимые сласти.

Но все же эти дни торжеств «delia Sansa» были только полукарнавалом. Правители венецианской республики ставили своей задачей как можно больше развлекать народ для того, чтобы ему некогда было останавливаться на многих явлениях их мрачной и подозрительной политики. Почти ежедневно «исчеза-

ли» люди в тайных судилищах инквизиции; но вечный шум и блеск, постоянно сменявшиеся празднества заставляли забывать об этих исчезавших людях.

## II

Настоящий карнавал появлялся в виде несказанно-фантастических процессий. То том, то здесь, во всех местах города, мелькали, будто призраки, толпы «говорящих», а то и «немых» масок.

Вот адвокат в огромнейшем парике, весь в черном, со свертком бумаг под мышкой, что-то или кого-то защищает кричащим, шутовским голосом и выкидывает лицом, руками и ногами такие фокусы, что неумолкаемый хохот сопутствует ему всюду.

Вот французские франты, в удивительных костюмах, пристают к хорошенькой венецианке и нашептывают ей такие невыносимые комплименты, что она не знает — смеяться ли ей или считать себя оскорбленной.

Далее — Полишинель выкрикивает что-то на полуптичьем неаполитанском жаргоне. Арлекин, вооруженный деревянной саблей,

крутится волчком и вертится колесом среди толпы, посылая воздушные поцелуи встречным красавицам и отпуская иногда очень тяжеловесные удары всем, кто стесняет свободу его движений. Уже больше часу он гоняется за своей Коломбиной, с которой его разлучила толпа контрабандистов, появившихся на площади в сопровождении ослов, собак и тюков с запрещенными товарами.

Бедный Арлекин мечется во все стороны и время от времени жалобно выкрикивает милое имя Коломбины. Где же она? Быть может, вот тут, среди толпы, собравшейся вокруг доброго доминиканца, который, взгромоздясь на переносную кафедру, из себя выходит, призывая всех к раскаянью? Или не увлеклась ли она этими испанскими солдатами, маневрирующими с кастильянской быстротой и ловкостью? Не поверила ли она широковещательным обещаниям этого «эмпирика» и не покупает ли у него любовный напиток — «elissire d'amore» или «воду вечной юности»?

Хорошенькая Коломбина склонна ко всему чудесному! Вот старый магик, в очках, в остроконечной шапке, с длинной седой как лунь

бородою. Он делает астрологические предсказания, открывает будущее и говорит с такой серьезностью, с таким спокойствием и убежденностью, что ему нельзя не верить. Не пытается ли Коломбина с его помощью отдернуть таинственную завесу будущего?

Или она пленена кем-нибудь из этих рапсодов, этих импровизаторов, вместо лиры аккомпанирующих себе на кричащей скрипке и распевающих какие-то очень длинные, очень звучные песни, до смысла которых добраться нет никакой возможности?

Бедный Арлекин — он долго бы искал свою подругу, если бы не встретился с паяцем. Этот старый друг с наивно-простодушным видом, с каким обыкновенно друзья извещают о беде, объявил ему, что видел его Коломбину с прекрасным иностранцем у входа в театр Сан-Кассиано, где дают новую оперу.

Театр Сан-Кассиано был в середине XVII века самым модным. Здесь давали оперы, и представления эти приводили в восторг как жителей Венеции, так и съезжавшихся со всех концов Европы иностранцев. Каждый вечер густая толпа народу кричала и беснова-

лась у входа в театр, и места брались с бою. Ложи, за которые в дни представления новых опер приходилось платить большие деньги, были почти все абонированы венецианской знатью. Иностранец, пробившийся в Сан-Кассиано, мог смело говорить, что он видел всю Венецию. Он получал возможность вдосталь налюбоваться знаменитейшими красавицами «царицы моря», и рядом с ним, будто по волшебству, всегда оказывался любезный и всезнающий «чичероне», который в ожидании щедрой награды от тороватого «форестьера» рассказывал ему интимнейшую историю каждой синьоры и передавал такие подробности, какие только и может знать венецианский «чичероне».

Дож оказал любезность московскому посольству и прислал через Вимину приглашение в театр Сан-Кассиано. В распоряжение послов была предоставлена одна из лучших лож. Но тут главным образом сказывалось не желание сделать им удовольствие, а просто решили, что в разгар карнавала, на представлении новой оперы необычные фигуры северных варваров в их оригинальных, богатых

одеждах произведут впечатление, развлекут «публику». А, как уже сказано, правители Венеции пользовались всяким случаем, чтобы развлекать и веселить народ и постоянным разнообразием развлечений мешать ему думать о таких вещах, о которых лучше всего было вовсе не думать.

— Это что же такое? Куда нас зовет дук? Какие еще чудеса показать нам хочет? — спрашивал Александра Чемоданов.

Важный посол был теперь в духе и даже нисколько не смущался тем обстоятельством, что никак не мог вспомнить, как это он два дня тому назад вернулся от синьоры Лауры. Он помнил только, что ему там было очень весело, что проснулся он утром у себя, на своей постели, с тяжелой головою, но все же с полнейшей нераскаянностью.

— Комедийное, ты говоришь, зрелище? — продолжал он. — Это что ж, как у нас в Коломенском — медвежий бой, львиная потеха?

— Вимина говорит, опера, — уныло отвечал Александр, томившийся два дня, так как два раза после вечера у Лауры был в палаццо Капелло — и оба раза не был принят.

— О-о-пера! — протянул Алексей Прохорович. — Не слыхал я что-то о таком звере и, каков он видом, не ведаю... Любопытно!

Александр даже не улыбнулся — такой мрак был у него в сердце.

— Да то не зверь, а так самое это действо комедийное прозывается.

— Так бы и говорил, братец. Что ж они, немцы, там изображают?

— Всякое, полагать надо, поют, играют на скрипицах и прочих инструментах, пляшут... Вимина говорит, что плясуньи в Венеции пречудесные.

— А!.. Это хорошо... посмотрим... Подь-ка ты, Лександр Микитич, к Ивану Иванычу и его извести о дуковом приглашении.

Александр исполнил это, но Посников, выслушав, в чем дело, решительно объявил:

— Я позорить себя не стану и в такое поганое место не пойду.

— Да ведь нельзя этого, Иван Иваныч, — заметил Александр, несколько оживляясь, — от дукова зова не след отказываться, за невежливость сочтет он, коли тебя не будет.

— И пусть считает. Меня великий государь

за делом сюда послал, а не за тем, чтобы я по всяким местам срамным и поганым таскался... К тому же и без меня есть кому срамиться.

Посников был глубоко возмущен поступками Алексея Прохоровича и не только перед Александром, но и перед самим послом не скрывал этого.

— Эх, брат Лександр, жаль мне тебя: совсем погибаешь от дурного примера старших! — прибавил он, покачав головою.

Но Александр оставил без всякого внимания слова его: он надеялся увидеть в театре синьору Анжиолетту и решил во что бы то ни стало объясниться с нею.

## III

Так и поставил на своем Иван Иванович Посников — смотреть басурманскую потеху не поехал. Тщетно Чемоданов стращал его, что от такого пренебрежения к луковому приглашению могут произойти большие неприятности и вред их посольскому делу, — уперся на своем Иван Иванович и ни с места.

— Никакого убытку и повреждения посольскому делу я не чиню, — говорил он, — а душа у меня своя, не купленная и не продажная, и никакая сила человеческая не принудит меня влечь на погибель сию Богом мне данную душу, поклоняться дьяволу и его бесовским прельщениям.

Алексей Прохорович, слыша такие слова, обиделся.

— Так это, по-твоему, я свою душу гублю? — спрашивал он.

— Сам знаешь! — по-видимому, очень спокойно, но с большой ядовитостью отвечал Посников.

— Нет, ты скажи мне прямо, не чинясь, гублю я свою душу?

— А коли прямо говорить приказываешь, так я и скажу: вестимо губишь. Кабы знал я, что ты такой человек, то вот, ей-ей же, не поехал бы с тобою, пусть бы кого другого из думы назначили...

Кровь бросилась Чемоданову в голову, кулаки у него чесаться стали, и неведомо чего в нем было больше — злобы и обиды или какого-то раздражающего и принижающего чувства, подсказывавшего ему, что ведь в словах-то Посникова есть правда, что дуково приглашение и посольское дело сами собою, а и помимо них — бес над ним потешается и победу празднует.

— У-у ты! Кабы на Москве мы были, я бы тебе показал, как меня такими словами порочить! — проворчал он, едва себя сдерживая и порывисто уходя от обидчика.

Посников ему вослед презрительно усмехнулся.

— Не любишь! Небось правда-то глаза колет! — прошептали его тонкие губы.

Вимине было сказано, что «младший посол» — под таким наименованием Посников обозначался с Италии — занемог и, к вели-

чайшему своему сожалению, не в состоянии выехать на вечернее представление в театр Сан-Кассиано. Чемоданов же к назначенному часу облекся в парадную одежду и в сопровождении Александра и еще трех человек из своего штата с видимым удовольствием поехал в разукрашенной дуковой гондоле наслаждаться невидимым зрелищем, нисколько не подозревая, что сам он окажется интересным зрелищем для «венецианских немцев».

Обширный и высочайший театральный зал, залитый светом бесчисленных свечей и почти до самого куполообразного потолка, в несколько ярусов, наполненный людом, помещенным в какие-то клетки, ошеломил москвичей. Они сразу не могли сообразить, что и сами находятся в клетке. Но Алексей Прохорович, по свойству своего характера, очень скоро справился с собою, поместился в кресле, на самом виду, впереди ложи, — и стал важно озираться. Он сейчас же заметил, что возбуждает всеобщее любопытство, что на него указывают, о нем говорят...

Вдруг перед его изумленным взором

взвился громадный занавес, и за этим занавесом оказались лес, горы, а поближе — дом. Дверь дома отворилась, и из нее вышло несколько человек мужчин и женщин. Все они, сделав несколько шагов вперед, остановились и стали ему вежливо и почтительно кланяться. Да, он не ошибается: они глядят прямо на него и кланяются. Кто ж они? Судя по богатой одежде, должно полагать, люди важные. Алексей Прохорович в свою очередь поднялся с кресла и отвесил им низкий поклон.

Так как многие из зрителей не успели еще отвести глаз от ложи московского посольства, то это движение посла было замечено и произвело всеобщую веселость. Весь театр, позабыв сцену, глядел теперь на Алексея Прохоровича, ему хлопали в ладоши, смеялись, делали какие-то непонятные знаки, что-то кричали. Он ничего не понимал, но чувствовал что-то неладное и начинал уже обижаться. Александр, понявший, в чем дело, дергал его сзади за кафтан и шептал:

— Да садись же, Алексей Прохорыч, садись, Бога ради.

По счастью, в это мгновение раздались звуки музыки, и бывшие на сцене люди запели. Зрители успокоились, стали слушать.

— Эге! Да это, никак, потешники! Чего ж это я им кланяться-то вздумал! — самым равнодушным тоном проговорил Алексей Прохорович и строго поглядел на свою свиту. Но москвичи, за исключением Александра, глядели рты разинув на сцену и вряд ли понимали неловкость, сделанную послом.

Александр сразу забыл все и жадным взтлядом оглядывал ложи. Сердце его шибко забилось — он увидел наконец синьору Анжиолетту. Она сидела как раз напротив, а за нею, в глубине ложи, виднелись Нино и Панчетти.

Она спокойна, в ней незаметно никакого волнения. Минуты бегут, Александр изо всех сил, не отрываясь, глядит на нее, и взгляд его молит: «Да взгляни же, взгляни на меня!» Но она не внемлет мольбе его взгляда... Наконец, будто против воли, голова ее повернулась в его сторону, и взгляды их встретились на мгновение. Ему показалось, что он прочел в ее глазах гнев, презрение, почти ненависть, и

в то же время он заметил через ложу от нее Лауру — разряженную, сиявшую драгоценными украшениями.

Сердце у него упало, он опустил глаза и так остался до тех пор, пока пение прекратилось и сцена опустела. Среди зрителей началось движение. Многие вставали со своих мест и выходили из зала.

Он решился. Быстрый взгляд, брошенный им на ложу Анжиолетты, сказал ему, что пора. Себя не помня и не слушая, что говорил ему Алексей Прохорович, он вышел в коридор и, быстро осматриваясь и соображая, достиг двери, которая, по его расчету, была дверью ложи его синьоры. Резким и сильным движением он рванул дверь и очутился лицом к лицу с Лаурой.

— Добро пожаловать, синьор московит! — громко сказала она.

Еще мгновение — дверь за ним захлопнется, так как Лаура ловким движением старается запереть ее. Он, перед всем театром, окажется в ложе музыкантши. Но он грубо отстранил Лауру и уж отворял другую дверь. Нино хотел загородить ему дорогу, от от-

швырнул его и был перед Анжиолеттой.

Она покраснела, потом побледнела.

— Я не приглашала вас в мою ложу, синьор! — дрогнувшим голосом и гневно сверкнув глазами прошептала она.

Но он не смутился.

— Синьора! — сказал он. — Я должен говорить с вами. Умоляю вас разрешить мне это... я не уйду, синьора. Пусть меня убьют на этом месте — я не уйду.

Он так сказал это, с такой решимостью отчаянья, что она увидела необходимость согласиться на его просьбу. Этот северный варвар способен на все; он легко может сделать ее сказкой всего города.

## IV

Она выразительно взглянула на своих чичисбеев. Нино позеленел, мелкие черты его красивого лица исказились. На губах Панчетти скользнула едва заметная, обычная его саркастическая улыбка. Тем не менее оба они, хорошо зная, что синьоре нельзя не повиноваться, вышли из ложи.

— У него вид дикого зверя, он, того и гляди, убьет ее! — шепнул аббат музыканту.

— Нам нельзя уходить, — вне себя от злобы и отчаянья ответил тот, — останемся у двери и, если услышим что-нибудь подозрительное, вернемся.

Они так и сделали, поместились часовыми у дверей ложи, и Нино, не обращая внимания на то, что мимо него взад и вперед ходили люди, приложил ухо к двери и жадно прислушивался.

Между тем синьора Анжиолетта, оставшись вдвоем с Александром, удалилась в глубину ложи, за тяжелый спущенный занавес, где никто не мог их видеть.

— Синьор, вы поступаете не как порядоч-

ный человек, а как разбойник! — почти задыхаясь от волнения, тоном глубокого негодования произнесла она. — Вы силою заставляете меня слушать вас... Не испытывайте долго моего терпения... чего вы от меня хотите? Говорите скорее... иначе — я не побоюсь ничего... я заставлю вас выйти из моей ложи... и вы ответите за свою дерзость...

Александр вовсе не имел вид разбойника, он был очень бледен, хотя глядел ей прямо в глаза. Он так давно — ему казалось, что бесконечно давно, — не видел этого дорогого, прелестного лица, не слышал ее голоса.

— Анжиолетта, — сказал он, вкладывая в это имя всю нежность своего влюбленного сердца, — когда человек тонет, разве может он разбирать, за какой предмет хватается?! Я не могу так жить... я тону, и, если бы мне надо было убить кого-нибудь, чтобы дойти до тебя, я, кажется, не задумался бы и убил...

— Бессовестный! — воскликнула синьора. — Можно подумать, что он меня любит, что он не обманул меня самым низким образом, что он не виноват передо мною!

— Я люблю тебя, Анжиолетта, люблю боль-

ше жизни, я не обманывал тебя и не виноват перед тобою! — твердо и все так же прямо глядя ей в глаза сказал он.

Она всплеснула руками и почти в ужасе от него отстранилась.

— Santa Maria, был ли когда на свете такой бессовестный лжец!.. Да ведь я сама, сама, вот этими глазами видела тебя в гондоле этой... этой отвратительной Лауры... ты был у нее, ты ехал с нею, ты обнимал ее.

Даже слезы брызнули из прекрасных глаз Анжиолетты. Никто бы теперь не узнал ее — будто это была совсем не она. Всегда гордая, недоступная, холодная, умевшая так владеть собою, насмешливая, одним словом, одним взглядом уничтожавшая самого смелого и решительного человека — она ли это? Куда же делась ее сила! Она превратилась в слабую, беззащитную, обиженную женщину, забывшую под влиянием ревности и свою врожденную гордость, и даже чувство собственного достоинства.

Она, патрицианка, она, Капелло, первая красавица Венеции, унизительно плачет перед этим полудиким юношей, которого две

недели тому назад совсем не знала, который явился из какой-то далекой, холодной варварской страны и который уедет, быть может, тоже через две недели, уедет навсегда!

Недоступная синьора, слушавшая с насмешкой и презрением пламенные признания лучших женихов, превратилась в жалкого, безвольного ребенка в руках этого неведомого человека... Какими же чарами поработил он ее? Каким elessire d'amore ее опоил?

Никогда и никого не любила синьора Анжиолетта, не любила даже своего храброго Капелло, хоть и думала тогда, что любит, хоть и оплакивала долго и горячо преждевременную смерть его. Сердце красавицы долго молчало, и, чем дольше молчало, тем страстнее, неудержимее оно вдруг заговорило.

Какая любовь наполняет теперь ее, гордую и прекрасную синьору? Пришла ли эта любовь с тем, чтобы не уходить больше, не допустить рядом с собою и на свое место никакого нового чувства и навсегда озарить всю жизнь своим ярким роковым светом? Или это гроза налетевшая, скопление стихийного электричества, которая после могучего удара разре-

шится и рассеется, будто никогда и не опаляла молнией, не потрясала громовыми ударами? Или, наконец, это каприз скучающего воображения?

Будущее, очень близкое, быть может, будущее, решит эти вопросы, а покуда, какова бы ни была сущность ее чувства, Анжиолетта полна страсти и самых женственных, естественных ее проявлений. Быстрое, неизбежное превращение совершилось над нею, она такова, какою бывает всякая женщина, когда любит, — все равно, воображением ли, сердцем или душою.

Неизвестно, чем бы окончилась эта сцена, если бы Александр растерялся. Но северный варвар, несмотря на то что и в нем разряжалось электричество, сверкала молния и грохотал гром, все же достаточно владел собою.

— Ты это видела, Анжиолетта? — сказал он, не опуская глаз. — Значит, так оно и было, но я этого не помню, клянусь тебе — не помню... Я не могу постигнуть, как это могло случиться, но все, что могу вспомнить, все, что знаю, я сейчас расскажу тебе, и ты суди сама, ты не можешь мне не верить.

Он правдиво рассказал ей всю историю злополучного посещения палаццо Лауры. С первых же слов его Анжиолетта стала жадно слушать и только все торопила его. Но он не мог говорить скоро: латинский язык хоть и хорошо ему был знаком, но все же непривычен.

Он еще не успел окончить рассказа, как уже ее руки были в его руках, и она, впиваясь в него взглядом, говорила:

— О, я начинаю понимать!.. Да, да, ты не можешь выдумывать... ты не обманываешь меня, мой дорогой Александр! О, какая гнусная интрига!..

Она склонилась к нему и прошептала:

— Прости меня за то, что я могла в тебе усомниться... но подумай сам, ведь я видела, я видела своими глазами!

— Если бы я тебя так увидел — я не поверил бы глазам своим! — отвечал Александр, счастливый, сияющий, окрыленный. — А теперь ведь все это прошло, это мне так тяжко... не будем вспоминать... Ведь ты уж не прогонишь меня? Ты позволишь мне прийти к тебе?!

— Но только нет, я не могу так оставить этого! — вдруг вспыхивая, воскликнула она, подходя к двери и отворяя ее.

Она чуть с ног не сшибла Нино, который так и прильнул к этой двери, стараясь подслушать, что говорят в ложе.

— Что прикажете, синьора? — оправляясь, прошептал он.

— Войдите.

Он повиновался.

— Синьор, — спокойно и презрительно сказала Анжиолетта, — если когда-нибудь вы осмелитесь войти в палаццо Капелло или где бы то ни было подойти ко мне и мне поклониться — я попрошу дожа избавить Венецию от вашего присутствия... а вы знаете, обратит ли дож внимание на слова мои.

Нино широко раскрыл глаза, побелел и остался неподвижным. Он не верил ушам своим.

## V

– Нет, синьора, хоть вы и сердитесь на меня, а подвергаться вашему неудовольствию для меня очень прискорбно, я все же повторяю: напрасно вы так поспешно и оскорбительно изгнали Нино...

Это говорил аббат Панчетти на следующий вечер после спектакля в театре Сан-Кассиано.

Анжиолетта полулежала на своем обычном месте в уютной гостиной палаццо Капелло и, хотя было еще довольно рано, не намеревалась покидать своего прелестного домашнего туалета. Бесчисленные звуки карнавала, доносившиеся сквозь спущенные занавеси окон, не прельщали ее. В первый раз в жизни карнавал казался ей надоедливым, несносным вздором, и она не понимала, каким образом люди могут находить веселье в этих шутовских процессиях, представлениях, криках и шуме.

Ее веселье было здесь, в четырех стенах ее гостиной. Оно чуть было не погибло, но вернулось к ней снова. Он, ее милый северный варвар, проводил ее вчера из спектакля, он

три счастливых часа провел у нее сегодня утром и должен был снова явиться после заката солнца.

Но солнце зашло давно, а его все нет... Конечно, у него есть обязанности, он не всегда свободен, но, Боже, как это томительно, скучно! Ей невыносимо стало это одиночество, это ожидание, так невыносимо, что она даже призвала Панчетти.

Но аббат не развлекает ее; он сидит в почтительной позе, загадочно и как-то неприятно глядит на нее и вот начинает уверять, что она дурно сделала, прогнав этого ненавистного Нино, который чуть было не погубил ее счастья. При одной мысли о поступках этого интригана краска гнева залила ее щеки.

— Молчите, аббат! — воскликнула она. — Человек, способный на такую интригу и клевету, на такие бессовестные поступки, не может быть моим чичисбеем, и с вашей стороны очень, очень нехорошо за него заступаться.

— Я не заступаюсь за него нисколько, я согласен с вами, что поступки его отвратительны... но я жалею синьора московита.

И при этих словах его взгляд так и пронизал Анжиолетту. Она не могла скрыть своего беспокойства, но представила себе мощную фигуру «московита», как бы созданную для борьбы с белыми медведями под снегами страшного и непонятного севера, и, вспомнив крошечного, слабенького Нино, рассмеялась.

— Ваш музыкантик нисколько не опасен... Синьор Александр одним пальцем его уничтожит.

Аббат нервно задвигался в кресле.

— О, конечно! — сказал он. — Но слыхали вы когда-нибудь о Луиджи Пекки, синьора?

— Луиджи Пекки?.. Да разве он здесь?

— Здесь, и я еще на этих днях с ним встретился. Он сумел выпутаться из всех неприятностей и опасностей, вернулся в Венецию и по-прежнему силен, как слон, храбр, как лев, по-прежнему он самый страшный «браво» Венеции, готовый за несколько золотых монет отправить на тот свет кого угодно.

Анжиолетта хотела говорить — и не могла. Она будто застыла на месте и быстро, быстро соображала.

«Вот Александра нет, а он обещал быть

непременно... Нино действительно имеет дерзость быть в меня влюбленным... ненавидит Александра всем своим мстительным сердцем... Ведь это из ревности он придумал адский план, который совсем было и удался ему... Но его замыслы разрушены, он посрамлен, выгнан... Можно себе представить, какая ненависть, какая жажда мщения теперь в нем бушуют!.. Он не остановится ни перед чем... если страшный „браво“, наемный убийца, ловкий и хитрый, здесь, если Нино с ним сговорился... О, Боже!..»

— Панчетти, — прерывающимся голосом прошептала Анжиолетта, — зачем вы заговорили о Луиджи Пекки?.. Разве вы знаете что-нибудь?.. Или это одни ваши предположения?

— Таких вещей, пока они не случатся, знать нельзя, — спокойно сказал аббат, — конечно, Нино не сообщил мне о том, что он нанял Луиджи Пекки для того, чтобы подкараулить синьора московита и умертвить его... но...

— Что «но»?.. Да говорите же скорее!

— Но... — продолжал невозмутимо и медленно аббат, — несчастный Нино безумен от

страсти к вам, синьора.

— Да как же он смеет! Разве я подавала ему когда-нибудь повод...

Панчетти пожал плечами.

— Даже picolla bestia имеет право любоваться солнцем и любить его, — сказал он с самым серьезным видом, — так и сердцу человека, кто бы он ни был, нельзя запретить обуявшей его страсти... Другое дело, если он позволит себе выражать ее... Так вот, видите ли, синьора, еще после того, как синьор московит был здесь в первый раз, Нино объявил мне, что он так или иначе изведет его.

Анжиолетта уже не думала ни о какой сдержанности — она вся превратилась в ужас и волнение.

— Изведет? — воскликнула она. — Как же вы мне тогда же не сказали?

— По какому бы праву стал я передавать вам такие вещи?

— Право!.. По какому праву! Santa Maria... оставьте это... ну, да, вы видите, вы знаете... и я не хочу скрываться... Я люблю синьора Александра... да, люблю его, слышите ли вы это! Так не томите же меня... говорите все,

что знаете!

Хотя ничего неожиданного не было для аббата в признании синьоры, но все же то, что она так прямо решилась говорить об этом, его озадачило. «Значит, это не шутка, не простой каприз... она так полна страстью, что не находит даже нужным скрываться... А, впрочем... ведь московит скоро уедет, и после такого признания она невольно станет ко мне ближе... бездна между нею и мной с этой минуты перестанет существовать... мостик через эту бездну построен, готов... это хорошо!»

— Конечно, я скажу вам, синьора, все, что знаю, — опуская глаза, произнес он, — я знаю, что вчера, после спектакля, Нино отправился к Луиджи Пекки, а сегодня, когда синьор Александр выходил отсюда и садился в гондолу, я видел, как один замаскированный человек указал его другому. Нино указал его Пекки — я уверен в этом, я сразу же узнал их обоих.

Бедная Анжиолетта вся похолодела.

— Боже мой, Боже, что же нам делать?

Она заломила руки, подняла глаза к нему — и стала до того прелестной, что Пан-

четти не мог выдержать и совсем наклонил голову, лишь бы не видеть ее.

— Но вы-то, вы! Вы такой же враг мне, как Нино, вы еще хуже его! — задыхаясь, говорила синьора, начиная, как безумная, метаться по гостиной. — Ведь если бы тогда же вы мне сказали... я бы успела написать, предупредить... инквизиция в мгновение послала бы сбиров... они схватили бы Пекки и Нино... А теперь... теперь, быть может, уже поздно!.. Бегите... вот... я напишу...

Она кинулась к столу, трепетными руками искала бумагу, чернильницу, перо.

— Успокойтесь, синьора, — сам начиная несколько волноваться, говорил Панчетти, — это не так еще скоро делается... Пекки хоть и очень ловок и опытен, но все же ему в один день невозможно напасть на синьора московита...

— Отчего, отчего невозможно?

— Пекки, как и всякий «браво» высшего сорта, всегда производит свое «dar uno sfriso» таким образом: он под верхнее платье надевает подушки и крепкую сетку и прежде всего старается встретиться со своей жертвой и

затеять ссору за бутылкой вина. Если же это окажется невозможно, он выжидает в удобном месте и, приготовясь к защите, загораживает человеку дорогу. С ним поневоле приходится вступить в поединок... ну, а исход такого поединка всегда один и тот же...

— Так что же? Разве это может меня утешить? — стонала Анжиолетта.

— Может, потому что в один день вряд ли Пекки найдет случай встретиться с синьором Александром.

Анжиолетта наконец нашла перо и принялась писать одному из своих дальних родственников, члену совета Десяти, объясняя ему, что узнала об опасности, грозящей иностранцу, и прямо называя имена Пекки и Нино.

Запечатав письмо, она подала его Панчетти.

— Скорее, скорее пошлите с этим Антонио — он расторопен, пусть доставит письмо синьору Риччи, пусть найдет его где бы то ни было... А вы сами ступайте в московитское посольство... если он там — скажите ему, чтобы он не выходил из дому, пока я не извещу

его о том, что опасность прошла... Если его нет — ищите, ищите его всюду и не возвращайтесь, не найдя его... Я буду ждать здесь. Буду ждать... и увижу — действительно ли вы мне преданы... или и вы — враг мой!..

Панчетти поклонился и молча вышел из гостиной.

Анжиолетта осталась одна. Она упала на колени, залилась слезами и стала молиться. Она всегда считала себя доброй католичкой; но если бы могла теперь сознавать что-либо, то поняла бы, что молится в первый раз в жизни.

# VI

Найти кого-либо дома в Венеции в этот день было довольно трудно. В палаццо московитского посольства, кроме прислуги, никого не оказалось. Младший посол, т. е. Посников, хоть и был у себя по обыкновению, но заперся и не впускал к себе. К тому же Панчетти от него все равно ничего бы не мог добиться, потому что они имели возможность объясняться друг с другом толы о знаками.

Один из штата итальянских служителей, состоявших при посольстве по распоряжению венецианского правительства, объяснил Панчетти, что тот, кого он спрашивает, возвратился в палаццо на короткое время часа через два после полудня, а затем ушел снова вместе с главным послом и небольшою свитой.

— Куда же они отправились?

— Куда? Конечно, глядеть на драку, которая до вечера шла между Костеллани и Николотти... Я вот весь день нынче не трогался с места по обязанности... ничего тут не знаю... не слыхал ли синьор аббат, кто на этот раз победил? В прошлом году Николотти остались

победителями, ну а нынче кто? Не слыхали?

— Ничего я не слыхал, — с неудовольствием ответил Панчетти и знакомыми ему закоулками, проходами и дворами, всячески сокращая дорогу, направился пешком к площади Святого Марка, приказав гондольеру дожидаться его у Пьяцетты.

Борьба Кастеллани и Николотти после обручения дожа с морем была чуть ли не самым любимым зрелищем в Венеции. Издревле на противоположных берегах канала Гранде находились два квартала, из которых один носил название Кастелло, а другой — Сан-Николо.

Жители первого назывались Кастеллани, а второго — Николотти. С незапамятных времен они враждовали друг с другом, ненавидели и презирали друг друга самым искренним образом, со всею страстностью своей итальянской натуры. В пределах Кастелло слово Николотти означало отчаянных негодяев; в пределах Сан-Николо обозвать кого-нибудь Кастеллани значило объявить ему, что он последний из мерзавцев. Зарезать жителя враждебного квартала — признавалось лучшим

подвигом.

Эти чувства и понятия всасывались с молоком матери, и даже нет ни одной легенды, по которой бы какой-нибудь Ромео нашел свою Джульетту во враждебном квартале.

Но время делает свое дело. Прошли века — и вражда между Кастеллани и Николотти истощила весь яд свой и затихла. В XVII столетии о ней сохранились только кровавые предания и обычай ежегодно, в один из самых шумных дней карнавала, поминать ее примерным побоищем.

К этому дню в том и другом квартале выбирались молодцы, отличавшиеся ловкостью, удалью и силой. Они наряжались в самые разнообразные костюмы, выбирали с каждой стороны предводителя и сходились на мосту. Задача была — пробить себе дорогу на противоположный берег канала. Единственным оружием оказывались кулаки и сильные мускулы.

Однако хоть и примерная, без ненависти и жажды крови, а все же борьба эта была довольно опасной. На мосту не существовало парапетов, и многие из сражавшихся не толь-

ко падали в мутную воду канала, но иногда, обессиленные и избитые, шли прямо ко дну...

Алексей Прохорович разохотился на всякие зрелища: карнавал, несмотря на «хари», все больше и больше занимал его, оперное представление он одобрил, когда же ему сказали, что будет на мосту «потешный бой между немцами», он пришел в большую даже радость. Сызмальства любил он кулачные бои на Москве-реке, не пропускал ни одного, многочисленная его дворня очень хорошо знала, что после каждого кулачного боя, которому он бывал свидетелем, у него особенно как-то кулаки чешутся. Лучше ему и на глаза не попадаться: за всякую малость такого тумака задаст, что инда искры из глаз посыплются.

А тут вдруг случай посмотреть немецкий бой, сравнить его с московским — все сердце закипело у посла и воеводы.

— Едем, что ли, едем скорее! — торопил он Александра. — Это, братец, позанятнее твоей оперы будет!.. Посмотрим-ка немецкий бой... хитры они, немцы, на всякие измышления, ну и коли дело до кулаков, я так полагаю, что против наших молодцов они вконец осрамят-

ся... А что, не пустить ли на них Петру с Архипкой?! А, как ты думаешь?

— Что ты, Бог с тобой! Мы тут гости, смотреть можем, а вступаться нам негоже.

— И то правда, а жаль! Петра с Архипкой так бы их поучили, таких бы волдырей им понаделали, что вовек бы немцы нас не забыли!.. Ну, так хоть посмотрим.

Посмотреть хотелось и Александру. Он только что вернулся от синьоры Анжиолетты, обещал быть у нее вечером, но до вечера долго — бой засветло кончится.

Поехали, вышли на берег из гондолы, протискались сквозь толпу, нашли себе место, с которого все хорошо было видно.

Бой уже завязался на самой средине моста, и ни одна из партий не подавалась ни на шаг. Свалка была ужасная. Бойцы схватывались, удары сыпались. Вот один, вот другой и третий полетели в воду. Один сам выплыл, двоих вытащили гондольеры.

Алексей Прохорович жадно следил за боем и громко выражал свои впечатления.

— Ай да молодцы, не ждал я от немцев такой удали!.. Ловко жарят!.. Эвона, глянь-ка,

глянь! Ишь ты, как он его под микитки!.. Так, так... это по-нашему!.. — весь красный от волнения, с блестевшими глазами кричал Чемоданов.

Вокруг него собралась густая толпа, и неизвестно, кто доставлял этой толпе больше удовольствия — Кастеллани и Николотти или этот бородатый форестьер в удивительной богатой и длинной одежде, с высокой меховой шапкой и говоривший на непонятном, странном языке.

Наконец, к удовольствию толпы и Алексея Прохоровича, Николотти оттеснили Кастелланов и прорвались на берег. Солнце уже заходило, Александр просил Чемоданова вернуться домой, но тот и слышать ничего не хотел. Он видел, что не все еще кончено, что толпы народу вместе с Кастеллани и Николотти стремятся куда-то, и решил тоже идти и посмотреть, что еще будет. Он почти силой увлек за собой Александра, и они скоро очутились на залитой огнями иллюминации площади Святого Марка.

Александр расспросил и узнал, что те же Кастеллани и Николотти сейчас будут пока-

зывать «le forze d'Ercole» (работы Геркулеса). Из каждой партии вышло по десяти человек атлетического сложения. Народ расступился перед ними, и вот с необыкновенной ловкостью эти люди стали вскакивать на плечи друг к другу, все выше и выше, так что образовались две живые пирамиды, в основании которых было четыре человека, потом три, потом два и, наконец, наверху один.

Алексей Прохорович никогда не видал ничего подобного и в себя не мог прийти от удивления. Когда же обе живые пирамиды двинулись, он пришел в настоящий восторг.

— Лександр, глянь-ка, глянь, это что ж такое!.. Нет, братец, что скажешь — силища-то, силища у нижних какова!

Он хотел дернуть Александра за рукав, оглянулся — Александра не было. Он оказался один среди сдавливавшей его со всех сторон толпы, среди «немцев и немок, на все лады лопотавших по-птичьему». Прошло еще несколько минут — Александра и след простыл, будто сквозь землю он провалился. Алексей Прохорович стал чувствовать себя неловко. На грех, свиту свою он отправил с

итальянцем домой еще до окончания боя на мосту.

## VII

Оборванный и всклокоченный мальчишка лет двенадцати с черными как уголья и беспокойно бегающими глазами, извиваясь, как змея, пробирался сквозь густую толпу, собравшуюся на площади Святого Марка. Этот мальчишка, очевидно, кого-то высматривал. Вот глаза его сверкнули, он весь нервно вздрогнул и стал протискиваться с изумительной ловкостью и не обращая на себя ничьего внимания в ту сторону, где стояли два человека в меховых шапках и богатых одеждах странного покроя. Он очутился рядом с одним из них и, приподнявшись на носки, явственно, но очень тихо шепнул ему:

— Синьора Анжиолетта прислала меня... Она ждет вас неподалеку... ей очень надо немедля вас видеть...

Александр, всецело поглощенный в это время гимнастическими чудесами, вздрогнул от неожиданности и обернулся. Кругом его были мужчины и женщины, в масках и без

масок, и все внимательно глядели на представление, то и дело громко выражая мысли и чувства, возбуждаемые в них ловкостью и необыкновенной силой гимнастов.

«С нами крестная сила! — подумал Александр, даже несколько оторопев. — Что мне это почудилось?!»

Он снова стал глядеть на «forze d'Ercole», но вот опять, почти у самого его уха, прозвучал явственно какой-то свистящий шепот:

— Синьора Анжиолетта просила не медлить... очень надо... прошу вас следовать за мною...

И кто-то слегка дернул его за рукав.

Теперь он наконец заметил всклокоченного мальчишку, пристально глядевшего на него огненными глазами, загадочно ему улыбавшегося и выразительными знаками подтверждавшего слова свои.

— Идите, синьор, за мною... я вам буду расчищать дорогу, я проведу вас.

Александр ни на одно мгновение не усомнился в действительности посольства Анжиолетты и не стал разбирать, почему это она прислала какого-то оборванца, каким

образом ждет его где-то на улице, когда несколько часов тому назад сказала ему, что будет ждать его у себя и весь день никуда не выйдет из дому. Он сознавал только, что она близко, что она ждет его, что он должен сейчас же идти к ней.

Сказать Чемоданову, что он оставит его одного, — нечего и думать: тот силою удерживать станет. В толпе же легко можно потеряться, толпа может оттереть их друг от друга! И бедный Алексей Прохорович был безжалостно забыт и предоставлен на волю судьбы.

«Не пропадет... что с ним станется... сядет в гондолу — и его прямо привезут домой», — подумал Александр, решительно пробираясь по стопам мальчишки, ловко расчищавшего дорогу.

Вышли они из толпы, миновали залитую огнями площадь и очутились среди темных, сплошных громад зданий, в грязном переулочке, всего шага в два-три шириною. Хотя площадь была очень близко и явственно слышался ее немолчный гул, здесь царствовало полное безлюдье. Ночной мрак кое-где лишь слабо озарялся тусклым фонарем, висевшим

на железном пруте, проведенном через переулок от одной стены к другой.

— Где же это? Далеко? Я ничего не вижу, — говорил Александр, пробираясь почти ощупью.

— Синьор, не беспокойтесь, — своим странным, свистящим шепотом отвечал ему мальчишка, — идите только прямо, за мною, держитесь за меня.

Он шел, увлекаемый мальчишкой все дальше и дальше, по еще более темным и узким переулкам и закоулкам. Вот и гул площади совсем затих; наступила жуткая тишина... заплескалась было под маленьким темным мостиком вода канала, но опять закоулок, другой, третий...

Вдруг мальчишка шепнул: «Стойте!..» — побежал, и скоро замер звук его шагов по гулким камням.

Прошла минута, другая. Александр стоял среди полнейшей тишины и мрака, решительно не имея никакого понятия — где он. Прошло еще несколько минут — и ему стало казаться, что он ждет уже очень долго, что мальчишка должен был бы давно вернуться.

И зачем он убежал? Если ему было поручено проводить его к Анжиолетте — он и провел бы его туда, где она. Что же все это значит?..

А время идет, кругом та же тишина, тот же мрак. Прошло всего семь, восемь минут, но Александру показалось, что он ждет здесь не меньше получаса, а быть может, и гораздо больше. Это ожидание в темном пустынном закоулке было так невыносимо, что наконец явилась мысль, которая у человека более опытного и более знакомого с венецианскими нравами явилась бы давно.

«Мальчишка подослан кем-нибудь... меня обманули... это ловушка!» — решил он.

Он огляделся. За ним мрак, поворачивающие то направо, то налево закоулки и переулки, и он, конечно, не может вспомнить, каким образом шел. Впереди издали мелькает фонарь.

Он пошел на этот свет, миновал фонарь, опять очутился в полнейшей темноте и, наконец, пройдя еще шагов сто, наткнулся на стену. Как ни обшаривал вокруг себя холодные, серые стены — не мог заметить ни малейшего признака какой-либо двери или вообще от-

верстия. С трех сторон возвышались задние стены домов. Может быть, там, выше, и были окна, но теперь там ничего не светилось, и только над самой головой ярко горели две звезды на узенькой, остающейся свободной между тесно сошедшимися стенами полоске черного неба.

Куда же девался мальчишка? Ведь он побежал по этому направлению, ведь должен же он был проскользнуть где-либо?.. Но это был праздный вопрос, и Александру представилось самым вероятным, что мальчишка... или чертенок, заведший его сюда, просто проложил себе путь через стену.

Александр, однако, не мог прошибить стену лбом, сама она перед ним не открывалась, и единственное, что оставалось делать, — идти назад. Он и пошел. Миновал фонарь, завернул, по памяти, направо и все шел, соображая и прислушиваясь.

Вот ему и послышался где-то вблизи плеск воды. Это, наверное, тот мостик... Так и есть... на углу, у самого мостика, фонарь. Скорее!..

Но на мостике Александр прямо натолкнулся на что-то, и, прежде чем он оглянулся

от неожиданности, строгий и внушительный голос произнес:

— Синьор, по какому праву вы меня так толкнули?

Александр различил в полутьме перед собою закутанную в плащ и с маской на лице огромную человеческую фигуру.

— Извините, — сказал он, — я вовсе не хотел толкать вас, я вас не видел... здесь так темно.

— Пустые отговорки, синьор! — с мрачной важностью сказала фигура. — Здесь вовсе не так темно, чтобы не заметить меня... я не насекомое... и вы напрасно к оскорблению, нанесенному мне вашим дерзким толчком, прибавляете еще новое оскорбление...

— Уверяю вас... — начал было Александр, но тот не дал ему договорить.

— Смею вас уверить, синьор, что еще не родился человек, который мог бы безнаказанно оскорблять меня, да, надеюсь, он и не родится...

Александр понял не столько умом, сколько внезапно охватившим его ощущением, что перед ним убийца, что жизнь его в опасности,

что ему надо защищаться. В один миг, без всякого соображения, повинуясь инстинкту, он напряг все свои силы, кинулся на стоявшего перед ним человека и оглушил его ударом своего железного кулака. Удар был случайный, но пришелся прямо по виску. Огромная фигура пошатнулась, поскользнулась, упала на сторону, видимо, хотела подняться, но движение было неловко — и тяжелое тело грохнулось прямо в воду канала.

Всплеск воды отрезвил Александра. Он со всех ног кинулся вперед, сам чуть не соскользнув с мостика, на котором не оказалось никаких перил. Он выхватил из-за пояса кинжал с твердым намерением всадить его, без всяких объяснений, в каждого, кто заступит ему дорогу, и начал плутать по темным закоулкам.

Наконец, при мерцании фонаря, он разглядел какую-то женщину. Она, очевидно, не имела никаких ужасных замыслов и сама перепугалась и закричала при его приближении. Он перевел дух, успокоил ее, и она указала ему, как выбраться на площадь Святого Марка.

Когда блеск иллюминации и шум толпы окружили его, он почувствовал себя как человек, зарытый заживо в могилу и из нее вырвавшийся. Блаженство жизни наполнило его всего. Ему хотелось петь и кричать: «Я жив! Я жив!»

## VIII

Это неожиданное приключение заняло немало времени. Было уже поздно. Конечно, благоразумие и даже долг требовали от Александра, чтобы он поспешил домой и прежде всего удостоверился, вернулся ли Алексей Прохорович. Но именно боязнь, что он еще не вернулся и что придется его разыскивать, заставила его впрыгнуть в первую свободную гондолу и приказать везти себя, да еще как можно скорее, в палаццо Капелло.

«Ведь она давно уже ждет... может, беспокоится!» — при этой мысли забылся не только Чемоданов, но забылась и только что отступившая опасность.

Когда Александр отворил дверь маленькой гостиной, он увидел Анжиолетту всю в слезах.

— Кто это?.. Это вы, Панчетти?.. Ну, что? — воскликнула она, устремляясь к двери, и остановилась, будто окаменев, не смея верить своим глазам, боясь, что перед нею не живой человек, а призрак, который вот-вот сейчас испарится, исчезнет.

Но призрак не исчезал... Он протягивает руки, привлекает ее к себе.

— Это ты!.. Друг мой, ты жив... невредим!..

Она пронзительно вскрикнула и обняла его шею руками с такою силой, что ему стало больно. Она все еще боялась, что не удержит его, что он исчезнет.

— Разве ты знала, что я встречусь с убийцей?.. Как могла ты знать это?.. Разве это ты послала за мной мальчика? Куда же он скрылся и почему убежал?

— Я не понимаю... о каком мальчике ты говоришь... я никого не посылала... или, мажет быть, это Панчетти? Где был ты?

Наконец они мало-помалу успокоились, и Александр рассказал ей все, что с ним случилось.

— Так он, этот ужасный Пекки, там, на дне канала?

— Не знаю, ничего не знаю... может быть, он выплыл...

— Надеюсь, что нет... Ты избавил Венецию от величайшего негодяя, от самого страшного убийцы... ты герой! Да иным ты и быть не можешь... О, если бы ты знал, какие часы я пережила!..

Она стала с живостью и красноречием страсти, с восторгом радости передавать ему все муки, испытанные ею с той минуты, когда она отправила Панчетти его разыскивать. Для него рассказ этот был лучшей музыкой, он наполнял его сердце блаженством, и ему хотелось бы еще и еще подвергаться всяческим опасностям, лишь бы она так ждала его, так терзалась и мучилась и так чудно рассказывала ему про свои страдания.

## IX

Панчетти так и не явился. Очевидно, не найдя Александра, он не смел и глаз показать синьоре Капелло. Он, конечно, не мог себе представить, что предмет его заботы и бесплодных скитаний по городу, невредим и счастлив, как только способен быть счастливым юноша в бреду любовной горячки.

Но если Александр среди этого бреда позабыл всякую действительность, синьора Анжиолетта все же ее не забывала. Она вовремя вспомнила, что свидание их не может длиться всю ночь. Она приказала подать гондолу и отпустила Александра не иначе, как в сопровождении нескольких надежных людей, хоть он и просил ее не принимать этих предосторожностей.

— Это надо не для тебя, а для меня, — решительно объявила она, — неужели ты захочешь, чтобы я снова мучилась? Я не буду спокойна, пока не вернутся мои люди и не скажут, что ты вошел в свой дом невредимым.

Пришлось ей повиноваться.

Через полчаса ее люди вернулись и доло-

жили ей о благополучном прибытии домой синьора форестьера. Она успокоилась, и ничто в ее сердце не шепнуло ей, что синьор форестьер в эту самую минуту снова на гондоле совершенно один с первым попавшимся гондольером спешит к жилищу ненавистной Лауры.

Дело в том, что Александр застал в своем посольстве большое волнение. Несмотря на приближавшееся уже утро, никто не спал.

— Что такое? Что случилось? — спросил Александр, чувствуя себя виноватым.

Ему отвечали:

— Алексей Прохорыч изволил пропасть.

Вдруг кто-то тряхнул его за ворот и прохрипел:

— Где посол? Говори, что ты с ним сделал? Утопил его, что ли?

Александр увидел совершенно искаженное от бешенства лицо Ивана Ивановича Посникова. Иван Иванович схватил его за руку, потащил в пустой покой, крепко запер за собою дверь и с кулаками подступил к нему.

— Говори, изверт, признавайся, где этот старый срамник? У каких чертей, в какой

преисподней ты его оставил?

— Да успокойся же, Иван Иваныч, чего это ты на меня лезешь с кулаками... я тебе не холоп... на случай чего и у меня кулаки приготовлены, — проговорил Александр таким тоном, который мигом подействовал на Посникова.

Почтенный дьяк опустил руки и даже отскочил в сторону, но бешенство и негодование по-прежнему кипели в нем.

— Да ты пойми только, — шипел он, — ведь утро скоро... думал я, по крайности, вы вместе вернетесь... ан ты один... Что ж, не может он, что ли, и на четвереньках до дому добраться?.. Так ведь это такое дело, что завтра про то весь город узнает, мигом до дука доведут и такого позору будет, что впору с моста броситься да и утопиться, прости Господи!.. Где же он? Где?

— Не знаю, — растерянно прошептал Александр, сознавая, что Посников говорит правду, что поведение посла действительно может обратить на себя внимание и что, во всяком случае, царь за такое поведение не похвалит.

— Как не знаешь?! Да, — кричал Посников, — так это, значит, ты его бросил одного, среди нехристей! Что ж ты, о двух головах, что ли?

Александр и сам чувствовал себя так, будто две головы у него вырастают и в тех головах что-то не совсем ладно.

— Я, Иван Иваныч, я сейчас... я знаю, где он, я приведу его!

С этими словами Александр кинулся из палаццо, крикнул проезжавшего гондольера, прыгнул в гондолу и направился к синьоре Лауре. Где же ему было искать теперь Алексея Прохоровича, как не у нее!

Он не ошибся. Палаццо музыкантши был еще освещен, и слуги у входа удостоверили его, что важный старый форестьер здесь, что его привезла синьора Лаура часа три тому назад, встретив его на площади Святого Марка.

Александр не хотел входить в этот дом. По счастью, в кармане у него был листок бумаги, пенальчик с пером и маленькая походная чернильница, с которыми он, по своим секретарским письменным обязанностям, никогда не разлучался. При свете фонаря он, как мог

крупнее и разборчивее, написал: «Алексей Прохорыч, я здесь и жду тебя, выходи — иначе большая беда будет». Написав это, он дал слуге монету и просил передать записку старому форестьеру.

Слуга согласился и понес записку. Алексей Прохорович, уставший, но довольный, сидел среди веселой, потешавшейся над ним компании и нежно глядел на синьору Лауру. Когда слуга подал ему записку, он сначала не хотел брать ее, не понимая, в чем дело. Но потом взял, прочел и мгновенно преобразился. Он пытался жестами объяснить Лауре, что должен ее покинуть, схватил ее руки, прижал их к своему сердцу и затем решительно направился к двери.

Его хотели удержать, но Лаура крикнула:

— Оставьте! Неужели он еще не надоел вам... Мне он надоел... да и поздно... спать пора!

Алексей Прохорович был навеселе, но не пьян. Он очень твердо сошел со ступеней и без посторонней помощи сел в гондолу. Поплыли.

— Что ж это ты, разбойник, меня бросил на

площади! — сердито проговорил наконец посол.

— Я не бросал тебя, Алексей Прохорыч, — довольно бойко ответил Александр, и в темноте нельзя было видеть, как он покраснел при этом, — толпа оттерла... Потом искал я, искал тебя по всей Венеции.

— Искал! Видно, хорошо искал!.. Кабы не эта баба, ведь я пропал бы совсем средь немцев.

— Эх, Алексей Прохорыч, зачем тебе было пропадать, сел бы в гондолу — и прямо тебя домой бы доставили, ведь тут всякий перевозчик теперь нас знает... У бабы-то, видно, весело.

— Ну, ну, — строго перебил Алексей Прохорович, — какое там веселье... чуть силком не поволокли меня к ней эти ее богомерзкие обезьяны.

— Это царского посла-то силком?.. А вот у нас Иван Иваныч осатанел совсем... кричит, бранится... дескать, нешто подобает послу царскому неведомо где ночи напролет прогуливать...

— Ну, ну! — ворчал Чемоданов. И тоже за

темнотою нельзя было разглядеть, как сильно краснел он.

«Послу царскому... неведомо где ночи напролет прогуливать!» — повторялось в его мыслях. «Вот то-то и беда, что ведомо где... ему неведомо, а мне так ведомо... Посол царский... шесть десятков лет скоро стукнет... Нет, довольно, будет! Скорее царское дело справить — и в обратный путь... домой, на Москву-матушку... А немок этих, дьяволиц пучеглазых, — провал возьми!..»

## X

Вернувшись домой, Алексей Прохорович никому не сказал слова, а завидя Посникова, который все еще не ложился и поджидал его, очевидно, со злостным намерением, поспешно ушел к себе и заперся на ключ. Он тотчас же разделся, против своего обычая, без помощи слуги и лег спать.

Рассвет уже приближался, а потому можно было полагать, что посол, спавший всегда крепко, а уж особливо после пирушки, встанет поздно, гораздо позднее обыкновенного. Поэтому и истомившиеся ожиданием и бес-

сонной ночью посольские люди улеглись, надеясь наверстать потерянное.

Скоро все в палаццо покоилось мертвым сном. Взошло солнце, по каналам рассеялся туман, накопившийся за ночь. Мало-помалу начиналось движение и заметно увеличивалось. Вот раздался дальний мерный благовест; ему отозвался другой, на противоположном конце города. Прошло, однако, всего не более трех часов с тех пор, как вернулся Алексей Прохорович от синьоры Лауры.

Вдруг дверь его опочивальни с шумом растворилась, и на пороге появился он сам, совсем одетый, в посольском кафтане и с шапкой в руках. Он остановился и увидел почти у себя под нотами двух слуг, безмятежно спавших на полу.

— Эй вы, вставать! — крикнул он и подтолкнул одного из них ногою.

Но они продолжали храпеть. Долго пришлось ему их расталкивать, пока наконец они не поднялись на ноги, протирая кулаками глаза, отчаянно зевая и все еще не видя, кто перед ними, и ровно ничего не понимая. В конце концов грозный голос Алексея Прохо-

ровича привел их в чувство.

— Ишь разоспались! — кричал он. — Живо! Поворачивайтесь! Бегите к Ивану Иванычу да к Александру Микитичу, скажите, что я уж собрался к обедне... в греческой церкви уж ударили... Ну, живо!

Слуги кинулись будить Посникова и Александра и, в свою очередь, долго не могли их добудиться. Когда Посников наконец понял, в чем дело, то стал даже трястись от злости.

— Ишь ведь старый греховодник!.. К обедне! Словно путевый! — громко бранился он, не стесняясь присутствием слуг.

Между тем Чемоданов поднял на ноги все посольство, кричал и волновался, и кончилось тем, что через четверть часа все были готовы, гондолы поданы й «московиты» отправились к обедне в греческую церковь.

Несмотря на помятое лицо и заметно опухшие и покрасневшие глаза, кажется, никогда еще в жизни Алексей Прохорович не имел такого важного и степенного вида. Он глядел на всех, даже на Александра, даже на Посникова, строго и неприступно. Посников задыхался от злобы, совершенно бессильный, так как об-

становка не позволяла ему разразиться негодующими речами.

Алексей Прохорович отстоял обедню, усердно молился, клал земные поклоны. По окончании службы он с благодарностью принял просфору, поднесенную ему священником, благоговейно переломил ее, съел малый кусочек, остальное сложил в платок и торжественно вышел из церкви.

На возвратном пути, так как уже встречались гондолы с замаскированными мужчинами и женщинами, Чемоданов время от времени выражал свое негодование.

— Однако басурманы эти как есть погибший народ, — говорил он, собственно ни к кому не обращаясь, — ну погуляй, потешься день, другой, неделю... отчего ж и не погулять, коли таков обычай... А ведь это что ж такое! Ведь они, дьяволы, меры никакой не знают, ведь этому ведьминскому шабашу у них конца нет!

— Что это ты, батюшка Алексей Прохорыч, немцев ныне порицать стал... кажись, их гульба и тебе по нраву пришлась, — не утерпев, прошипел Посников, почти с ненави-

стью глядя на посла.

Но Чемоданов только повел на него одним глазом.

— Погуляй день, другой, — повторил он, — отчего не погулять, не посмотреть на разные занятные действа, погуляй, да и остановись вовремя, о душе подумай, Богу помолись, попостись хорошенько... А это что ж — грех большой, незамолимый! Темный здесь люд, совсем темный... и наставить их на путь, видно, некому.

— Вот тебя бы к ним в наставники! — шепнул Посников, но так тихо, что только сидевший рядом с ним Александр расслышал этот шепот.

По возвращении домой Алексей Прохорович приказал сбирать обед, но за обедом от рыбы и пирогов с весьма вкусной рыбьей начинкой отказался, поел только овощей, закусил ломтем хлеба и выпил воды, прибавив к ней малость вина легкого.

«Спохватился, да увидим — надолго ли!» — подумал про себя Посников и тоже не стал есть рыбы.

После обеда явился Вимина с предложени-

ем показать посольству некоторые достопримечательности города, которых «московиты» еще не видели.

— Спроси его, — приказал Чемоданов Александру, — есть ли у них, окромя уже показанных нам, святыни?

— Святынь, говорит Вимина, много, — отвечал Александр, — есть в церквах нетленные мощи угодников.

— Спроси — каких угодников мощи?

Собрав все сведения и убедясь, что святыни венецейские, по большей части, — истинные святыни, Алексей Прохорович в сопровождении Вимины и своей свиты отправился по церквам, поклонялся мощам, интересовался всем, что видел, и то и дело повторял Александру, чтобы он не забыл чего и как есть обо всем записал в дневник путешествия.

Прощаясь с Виминой, он выразил ему свое большое удовольствие по случаю виденного в этот день и спросил: не известно ли ему, скоро ли дук назначит царским послам новую аудиенцию?

Вимина ответил:

— Аудиенция, насколько мне известно, на-

значается через два дня, и, полагаю, сегодня же вы получите приглашение. Все окончилось бы очень скоро и к общему удовольствию, если бы вы сказали мне, чего именно угодно вашему государю. Зная его желания, дук обсудил бы их в совете и на аудиенции передал бы вам уже решительный ответ. Уверяю вас, что так всегда делается с послами всех государств и не только в Венеции, но и повсюду.

Когда Александр перевел эти слова, Чемоданов ударил кулаком себе о колено и с нескрываемым раздражением воскликнул:

— Да скажи ты этому пролазу, чтоб он оставил свое плутовство и за старое не принимался! Ведь уж было ему говорено, что нас не надуешь и что мы такого глупства не сделаем: всякому не станем объявлять о таких предметах, ведать которые надлежит дуку. Так вот и скажи ему прямо, без обиняков: ешь, мол, немец, пирог с грибами, а язык держи за зубами!

У Александра не хватало, конечно, искусства перевести Вимине этот совет Алексея Прохоровича, но он все же с достаточной яс-

ностью и твердостью объяснил ему, что лучше и не задавать послам подобных вопросов, так как они все равно никому ничего не скажут.

— Однако войдите в положение дожа и членов совета! — начинал горячиться Вимина. — Они заранее хотят знать цель вашего посольства единственно для того, чтобы вас же избавить от неловкости в том случае, если республика не может исполнить желания вашего государя. Разве приятно будет вам получить официальный отказ?

Александр перевел это слово в слово. Алексей Прохорович на минуту задумался и даже глаза выпучил, что он обыкновенно делал, когда бывал поставлен неожиданно в тупик. Но недоумение его было непродолжительно.

— Пустое! — воскликнул он. — Первым делом, отказ — всегда отказ, как ни поверни его, а вторым делом, спроси-ка ты немца, почему ж это он в голове держит, что дук откажет великому государю?

— Я ничего не знаю, — ответил Вимина, — но предупреждаю вас, что если вы будете просить денег, то это вряд ли понравится дожу. В

таком случае ожидайте неблагоприятного ответа.

Чемоданов переглянулся с Посниковым и затем сказал Александру:

— Смотри, брат, не проговорись и спроси его: откуда это он взял, что мы будем просить денег?

— Он говорит, что это ему самому так показалось.

— Ну и ладно, пускай себе остается при своем, а мы тоже при своем останемся.

Опять ни с чем пришлось отъехать Вимине от упрямых «московитов».

## XI

Действительно, через два дня происходила аудиенция у дожа. На этот раз царское посольство уже не испытывало никакого смущения, и величина гигантского зала казалась не столь чудесной. Алексей Прохорович почтительно, в пояс поклонился дожу и членам совета. Дож обратился к послам и сказал, что он с почтением и радостью прочел письмо московского государя, царя Алексея Михайловича, переведенное для него на язык итальянский, что из письма этого он узнал о посольстве в Венецию именитых людей, которых он с удовольствием перед собой видит, и что он ожидает услышать от них, в чем состоит поручение, данное им царем к Венецианской республике.

Чемоданов приосанился и начал говорить об отношениях Русского государства к Польше, о многих великих победах, одержанных русскими войсками, о взятии многих польских городов.

Дож отвечал, что все это ему известно, что, кроме того, он знает, с какою любовью, почи-

танием и надеждой относятся к Московии христианские народы, находящиеся в пределах Балканского полуострова и страдающие от турок. Поэтому-то он и обращается к могучему царю Московии в надежде, что он поможет Венецианской республике в борьбе с неверными и пошлет против них полчища казаков.

— Великий государь всегда о том тщание имеет, чтобы православное христианство из басурманских рук высвободилось, — отвечал Алексей Прохорович, — только теперь его царскому величеству начать этого дела нельзя, потому что он пошел на неприятеля своего, а как с Божиею помощью с неприятелем управится, то заключит договор с вами, как стоять на общего христианского неприятеля.

На это дож сказал о своем желании, чтобы его уведомили, когда будет окончена польская война.

— Скажи ему, что против такого его желания великий государь ничего иметь не может и что мы обещаем уведомить его немедленно вслед за окончанием войны, — приказал Чемоданов Александру.

— Эй, пора ведь и к большему делу приступать, — обратился он к Посникову, — а жутко!.. Ну, как и впрямь откажет?

— Что ж ты тут поделаешь! — ответил Посников. — С нас за тот отказ взыскать не могут, мы тут непричинны, а за чем посланы, то дело и надо справить.

— Вестимо так!

Но все же Алексей Прохорович никак не мог решиться. Он навел речь о разрыве Польши со Швецией, об отношениях России к Швеции, о худых действиях короля Густава и о всех его великих неправдах. Наконец он собрался с духом и заключил таким образом:

— И, видя таковые неправды короля шведского, его царское величество злого его начинания терпеть не станет, — так вашему княжеству и честным владетелям (он и Посников низко поклонились при этом дожу и членам совета) к царскому величеству любовь свою и доброхотство показать, прислать на помощь ратным людям взаймы золотых или ефимков, сколько можно, и прислать бы поскорее.

У Александра голос дрожал, когда он переводил слова эти. Он ясно видел на лице дожа

неудовольствие.

— Мы сейчас не можем дать вам никакого ответа, — холодно ответил дож, — все сказанное вами будет записано, обсуждено, и тогда вы получите ответ наш...

На этом и кончилась аудиенция. Хотя они и не получили еще отказа, но уже по многим неуловимым признакам каждый из них чувствовал, что ничего хорошего нельзя предвидеть.

— Только как же это? Неужто дук осмелится огорчить и обидеть великого государя отказом? — спрашивал Алексей Прохорович Посникова.

— А мы-то нечто не отказали ему? — ответил Иван Иванович. — Он казаков на турок просит, а мы: постой, мол, подожди, дай войну кончить...

Чемоданов совсем повесил голову.

Через два дня явился Вимина, и из первых же слов его оказалось, что Посников прав: выходило, коли как следует раскусить слова эти, что дук и его советники не понимают, каким образом царь просит денег поскорее, а помощь свою в борьбе против Турции отклады-

вает.

— За то ли государь ваш просит у республики денег, что хочет помочь ей в войне с турками? — прямо спросил наконец Вимина.

Алексей Прохорович так весь и вспыхнул и, строго глядя на Вимину, проговорил в волнении:

— Ты говоришь непристойные слова, простые! Великий государь наш, если изволит послать рать свою на турка, то пошлет для избавления христиан, а не из-за денег. По чьему указу говоришь ты эти бездельные слова: приказал тебе это князь или владетели?

Александр, сам взволнованный и негодующий, перевел эти слова, нисколько не смягчая их тона. Вимина растерялся и, помолчав немного, ответил:

— Я это сказал от себя.

— Ну так впредь ни от себя, да и ни от кого таких непристойных слов не говори, не то мы с тобой вовсе говорить не станем да и на порог тебя к себе не пустим! — произнес Алексей Прохорович и величественно вышел, даже не кивнув головой Вимине.

## XII

— Говори, говори мне все, ничего не скрывай от меня, мой дорогой Александр!.. Разве ты можешь, разве смеешь что-нибудь от меня скрыть? Какая у тебя неприятность?.. Что случилось?.. Отчего у тебя сегодня такое печальное лицо, отчего ты так побледнел и прекрасные глаза твои будто в тумане?

Ее глаза не были в тумане — они сияли, как два маленьких солнца, и в то же время в них скрывалась неизведанная, таинственная глубина моря. Она не побледнела — на щеках ее горел румянец страсти. Лицо ее не стало печальным, даже несмотря на тревогу, вызванную смутившим ее унылым видом дорогого ей северного варвара.

— Александр! Ты молчишь... ты не хочешь быть откровенным со мною!

— Что же мне сказать тебе, сердце мое, Анжиолетта! — воскликнул он, и в голосе его прозвучала искренняя тоска. — Со мной не случилось ничего дурного... Все благополучно... С тех пор как по твоим стараниям сбиры схватили Нино, а этот убийца, которого я

сбросил с моста, утонул, меня никто не преследует... Правда, эти последние дни мне приходится много работать, писать, но я привык к этой работе, и только мысли о тебе мешают моему труду... Все благополучно.

— Отчего же ты бледен, отчего ты грустен?

— Мы были вчера на аудиенции у дожа... Еще одна прощальная аудиенция... еще неделя, полторы — и мы уезжаем...

— Куда, куда вы уезжаете?

Она глядела с таким изумлением, она не понимала.

— Как куда?.. Домой, в Москву возвращаемся... Я должен навсегда покинуть Венецию, навсегда разлучиться с тобою... И ты хочешь, чтобы я был весел?

Она взяла его за руки, склонила к нему свое прелестное лицо — и вдруг засмеялась.

— Какой вздор! Ты шутишь!.. Разве ты можешь уехать?

— Разве я могу остаться? Если бы это было возможно, я не задумался бы ни на минуту... Я всю ночь не спал сегодня и все думал, все думал... Слушай, дож просит, чтобы наш царь известил его, когда будет у нас окончена вой-

на с Польшей. Когда мы вернемся в Москву — я буду всех умолять, я сделаю все, чтобы с известием об окончании войны послали меня. Мне кажется... я надеюсь, что это удастся... Кого же пошлют? Я знаю и латинский, а теперь и ваш язык, путешествие мне не новость. Венеция знакома, даже сам дож меня теперь знает... Конечно, пошлют меня, это почти наверное... и вот, может быть, меньше, чем через год, не больше, чем через полтора года, снова увижусь с тобою!.. Видишь, я солгал, говоря, что навсегда разлучаюсь с тобой... Мы увидимся... Но год! Целый год!

— Кто товорит о годе? Молчи, не смей так шутить! Не смей так шутить! — повторяла она, зажимая ему рот маленькой, надушенной, сверкавшей бриллиантами рукою. — Не год, не полгода, не месяц, не неделя! Я не могу прожить без тебя и дня, а ты говоришь о каком-то годе! Ты говоришь об отъезде... куда? В Москву ужасную, на край света, к белым медведям? Да ведь если ты уедешь отсюда — ты сто раз утонешь, морские разбойники тысячу раз убьют тебя... а там, там или медведь тебя растерзает, или какой-нибудь злой «бояр»

оклевещет тебя перед твоим царем и тебя посадят в тюрьму, тебя казнят! Как же ты вернешься?.. А я, ведь я каждый час, каждую минуту буду думать, что тебя, может быть, уже нет на свете!.. Разве так можно жить? И разве я могу так прожить не только год, но один месяц? Я зачахну и умру в две недели... Сам видишь, какие глупые ты придумал шутки! Что я тебе сделала злого, что ты со мной так шутишь?

На ее чудных глазах блеснули слезы.

Но что же мог он сказать ей, чем мог ее успокоить? Хоть он и сам с каждым днем становился все более и более безумным от страсти к ней, но все же твердо знал, что возвращение его в Москву вместе с посольством неизбежно. Как это будет, как переживет он этот ужасный, с такой злобной быстротой надвигающийся день, он не знал. От полного отчаяния его спасали только мечты о возможности возвращения, и он жил этой надеждой со вчерашнего дня. А до вчерашнего дня, до аудиенции у дожа, он жил только настоящим и даже совсем не думал об отъезде, забыл о нем и вспомнил только, когда Алексей Прохо-

рович, садясь в гондолу на Пьяцетте, воскликнул:

— Ну, как бы там ни было, ладно либо худо, а теперича скоро и восвояси!..

— Нет, ты никуда не уедешь, ты останешься со мною! — сказала Анжиолетта, внезапно успокоившись.

В ее голосе была твердая решимость, уверенность.

— Да, ты останешься со мною, — продолжала она, — твои старики уедут, и все московиты уедут с ними, а ты — пропадешь. Тебя будут искать и нигде не найдут... я хорошо тебя спрячу!.. Поищут, поищут — и уедут в Москву, скажут царю, что Александр утонул в Венеции. Ты умер... тебя нет на свете... А здесь... здесь явится другой Александр, не московит, а итальянец или испанец... Этой большой, широкой бороды не будет...

Она гладила его бороду и показывала, улыбаясь ему и сияя на него глазами, что она сделает с его бородою.

— Это странной прически тоже не будет, — продолжала она, проводя рукой по его густым, остриженным в кружок волосам, —

вместо этого кафтана, этих высоких сапог ты будешь ходить в самом модном платье... и ты так изменишься, что никто тебя и не узнает... ты сам себя не узнаешь... Пройдет немного времени... мы уедем... а потом... потом я вернусь уже с моим милым мужем... О, я сумею устроить это!.. И я, и этот палаццо, и все, что у меня есть, все мои богатства — все это будет твоим... навсегда! Согласен?.. Ведь да? Ведь ты меня любишь... ты не можешь отказаться! Да? Говори!

Он побледнел как полотно.

— Анжиолетта, — сказал он, — видит Бог, что я готов сейчас же отдать за тебя жизнь, но то, что ты говоришь, невозможно. И мне обидно, что ты почитаешь меня способным на это.

— Что ты сказал? — прошептала она едва внятно и в свою очередь бледнея.

## XIII

Чувство, влекшее их друг к другу, было одинаково. Их захватила стихийная сила страсти и грубо овладела ими. Оба они поддались этой силе без борьбы — и слепо повиноваться ее требованиям являлось для них теперь высшим счастьем, высшим смыслом жизни.

Таким образом, они, казалось, не могли не понимать друг друга. Так оно и было до этой минуты. После того как открылись козни Нино и Анжиолетта вернула Александру все свое доверие, между ними не осталось никаких недоразумений, и они стали жить одним общим порывом, уносившим их в тот мир поэтического опьянения, где высший эгоизм представляется высшей любовью, где грубая чувственность смело обманывает своей маскарадной красотою.

Но вот Александр, несмотря на всю страсть, томление, на весь ужас предстоявшей разлуки, не мог не только одобрить план Анжиолетты, но даже глубоко им оскорбился. Она же, в свою очередь, почувствовала себя

тяжко оскорбленной тем, что он отвергает ее предложение. Она так хорошо придумала; она отдает ему всю свою жизнь, все свое богатство, хочет смело преодолеть все препятствия, победить противодействие родственников, с презрением бросить вызов общественному мнению — а он отказывается! Значит, он ее не любит!..

Чувство капризной, избалованной, привыкшей жить только для себя женщины было оскорблено не на шутку. Вместе с этим ей искренне казалось, что все жертвы только с ее стороны. Каких жертв она от него требует — этого она понять не могла, потому что далекая варварская Московия представлялась ей чем-то таким, от чего избавиться — счастье, а люди, которых он должен там навсегда покинуть, — почти даже и не люди.

Если бы он сразу, как она того ожидала, восторженно принял бы ее предложение, очень может быть, что она скоро увидела бы такие стороны своего слишком поспешно созданного плана, которых сразу не разглядела; может быть, она должна была бы сознаться, что некоторые из препятствий ей, пожалуй,

не преодолеть. Но его отказ лишил ее всякой способности здраво рассуждать. Ей нужно было теперь заставить его согласиться — ничего другого она не знала и знать не хотела.

И вот она пустила в ход всю свою силу, всю свою прелесть, кокетство, все красноречие страстной, капризной женщины, решившейся добиться своего, чего бы это ни стоило.

Бедный Александр, всегда смелый и решительный, совсем спасовал перед таким неожиданным натиском, перед врагом, силы которого заключались в улыбках и слезах, в гневе и поцелуях, в страстной мольбе и проклятиях, в неотразимой прелести.

Исполнить ее желание, навсегда остаться с нею — какое это было бы счастье! Жить без нее — да разве это возможно?.. Но вместе со всем этим он чувствовал, как все в нем возмущалось и негодовало от одной мысли ей повиноваться.

— У меня отец и мать — разве я могу, разве смею заставить их оплакивать мою смерть, когда я жив?.. Такой обман — тяжкий грех и злодейство, — говорил он.

— А разве не тяжкий грех и не злодейство

оставить меня и уморить с печали? — спрашивала она, глядя прямо ему в глаза и обдавая его огнем своего взгляда.

И он чувствовал, что оставить ее и уморить с печали — самое бесчеловечное преступление.

— У меня тоже ведь и отец и мать, и я готова ради тебя забыть их, — продолжала она, — во всем мире для меня ты один, и кроме тебя никого нет и быть не может... Вот как я люблю тебя, и, если тебе кроме меня кого-нибудь надо, значит, ты не любишь меня, значит, ты жестоко обманул меня!..

— Но как назвать меня, какой предать казни, если я откажусь от родины, для которой должен работать, для которой моя жизнь может быть полезной! — почти бессознательно шептал он, чувствуя, как что-то будто сосет его сердце, чувствуя какой-то невыносимый стыд и все же не отрываясь глядя на нее и сжимая ее руки.

— О, безумный! Да разве Венеция, прекрасная Венеция не лучше твоей Московии?.. Да разве я... я, отдающая тебе всю мою жизнь, не лучше твоей родины, где людей едят белые

медведи, где глаза лопаются от холода?!

— Молчи, Анжиолетта! Ты не знаешь, что говоришь... Если бы у нас и лопались глаза от холода, если бы Венеция была в тысячу раз прекрасней... что ж из этого?.. Я говорю о своей родине...

Перед ним, вытесняя одно другое, проносились впечатления детства и юности... Звонили московские колокола, слышалась русская песня, чувствовалась близость матери... Вот будто въявь мелькнул уголок покойчика, где в серебряных ризах сияют образа, озаряемые тихим светом лампадок... вот проскрипели полозья быстро несущихся санок, и пахнуло морозным паром... вот ударило прямо в лицо сладким духом распустившихся веток черемухи и сирени...

— Безумный, жестокий! — слышалось ему среди всего этого. — Я жертвую для него всем, я все забываю, для меня существует только он...

— Анжиолетта, — перебил он ее, — не мучь ты меня, ради Бога!..

Но она продолжала его мучить. Она вконец его истомила, и он ушел от нее с затума-

ненной головою, с отравленным сердцем. Эта отрава начинала действовать все сильнее и сильнее, и то, что казалось ему невозможным, безумным, преступным, мало-помалу принимало совсем иной вид — улыбалось, манило, сулило блаженство и счастье.

Сам не зная как, он уже мечтал о плане Анжиолетты, он уже представлял себе, как скроется в палаццо Капелло, как переменит лицо и наряд и потом... потом превратится в синьора. Ему уже грезились сцены этой будущей блаженной жизни с Анжиолеттой, среди чудной итальянской природы, которая так хороша и теперь, в зимнее время, а летом, долгим, безоблачным, непохожим на короткое русское лето, — должна быть совсем волшебна...

В этих мечтах он провел всю ночь, все утро, весь день, а когда вечером пришел к Анжиолетте, она сразу, едва взглянув на него, увидела, что победила, что он забыл для нее и отца, и мать, и родину, забыл все, — и останется, чтобы исполнять всякий каприз ее скучающего воображения.

— Ты едешь? Когда ты едешь? — спросила она с торжествующей улыбкой.

Его сердце, его разум хотели возмутиться и не могли.

— Что хочешь, то и делай со мною, — я никуда от тебя не уйду и не уеду! — прошептал он, простирая к ней руки.

## XIV

Между тем решающий день быстро приближался. Алексей Прохорович, переломив себя и отказавшись от всяких соблазнов, торопил Вимину, требуя ответа дожа и объявляя, что им попусту ждать нечего, что надо спешить с отъездом, так как морем они ехать не хотят, а на сухом пути, ввиду войны, могут быть всякие задержки на русских границах.

— И что это за повадка такая! — толковал он. — Дело простое и ясное: либо да, либо нет, а томить понапрасну добрый людей к чему же?

Наконец Вимина приехал и сказал, что ответ готов и что члены совета вручат его послу царя московского.

— Как так члены совета?.. Почему ж не дук? Дук должен великому государю ответ передать мне из рук в руки, — воскликнул Че-

моданов.

— Дож не может этого сделать, так как нездоров, — отвечал Вимина.

Но посол и слышать ничего не хотел.

— Пустое, пустое, — повторял он, — да и что ж это дук у вас какой лядащий! С виду, кажись, ничего себе, жидок малость — это точно, а все ж бодрость в нем есть... Не вертись, немец, нас не проведешь! Уж как там его дуковой княжеской милости угодно, притворство в нем, либо и взаправду немощь какая проявилась, а грамоту он мне из рук в руки передай. Ему я царскую грамоту отдал, к нему послан, от него и ответ приму. Отпустить он нас должен с честью, и пока мы его не увидим и с ним не простимся, уехать не можем. Скажи ты ему, немец, что слово мое твердо и никакого ущерба чести великого государя я терпеть не стану.

Пометался, пометался Вимина, поломался, поломался дук, а все же пришлось уступить. Как сказал Алексей Прохорович, так и ни с места.

— К членам совета не пойду, ответа от них не приму, дука мне подать — вот и все тут.

Принял дож московитов в торжественной прощальной аудиенции и даже в платье парадное вырядился, а когда передавал свою ответную грамоту, то на печать указал и объяснил:

— Печать золотая. Всем прочим государям, королям и иным королевской крови князьям грамоты серебряной печатью запечатываю, а его царскому величеству золотую приложил в знак особливого почитания.

Золотая печать и таковые дуковые слова послам пришлись по нраву, и они в ответ отвесили пренизкие поклоны. Все было бы хорошо, да дук хоть хитрил, хоть и прикидывался всячески, а все же в выдаче казны — золотых и ефимков — наотрез отказал.

— Много дать, — сказал он, — республика венецейская ведет прежестокую войну с турками, и от этой многолетней и тяжкой войны казна ее истощилась, так что ссудить денег великому государю никоим образом невозможно.

Помялись послы на месте, вздохнули, переглянулись между собою.

— Ну, что ж, — не без печали вымолвил

Алексей Прохорович, — так и доложим великому государю... На нет — и суда нет!

Откланялись, поблагодарили за ласковый прием и поехали к себе собираться в путь-дорогу.

— Как гора с плеч, — говорил, отдуваясь, Чемоданов, — по крайности все как след окончено, и дело свое мы справили по совести, честь русскую сохранили, в грязь лицом не ударили!

— Гм!.. гм!.. — вдруг прокряхтел Посников, да так многозначительно, что Алексей Прохорович вспыхнул и негодующе повел на него одним глазом.

— Ты это что ж? Ты это к чему кряхтишь-то?

— А там вот... ни к чему... першит что-то в горле, батюшка Алексей Прохорович, — ответил Посников.

А потом не удержался и прибавил:

— Так, так... в грязь лицом не ударили... держали себя с достоинством, как подобает нашему посольскому званию, от басурманских мерзостей отворачивались, пуще ж того — за немецкими бабами не бегали и тем се-

бя не срамили...

Чемоданов похолодел даже.

— Слушай, Иван, — тихо, внушительно произнес он, — ежели ты еще раз такое слово скажешь, то вот провалиться мне на сем месте, ежели я тебе ребра не переломаю!

Посников позеленел и замолчал. Он пошел к себе с тем, чтобы укладываться; но едва успел он разложить вещи и раскрыть сундуки свои, как ему доложили, что пришел и его спрашивает монах здешний, стриженый да бритый, а с ним и поляк Таборовский, переводчик.

Этого переводчика Таборовского Посников уже знал, так как он во Флоренции пристал к посольству и даже был принят в помощь Александру. Но в Венеции, на следующий же день по приезде, поляк что-то не совсем почтительно сказал Алексею Прохоровичу, получил за это от посла подзатыльник и, обидясь, скрылся.

— Что еще там им надо, еретикам поганым? — пробурчал Посников, но все же пришедших принял. Стриженый да бритый монах оказался не кто иной, как Панчетти.

— Я пришел сообщить вам дело большой для вас важности, — через поляка переводчика, кое-как изъяснявшегося по-русски, начал он объяснять Посникову. — Ведь вы завтра собираетесь уезжать из Венеции в Московию?

— Да, собираемся.

— А ваш молодой товарищ и переводчик, господин Александр, остается здесь.

— Ну, что за вздор!.. Как может он оставаться... он едет вместе с нами.

— Его уж нет, он скрылся и не вернется к вам, он скрывается у одной молодой и прекрасной синьоры...

Посников даже подскочил на месте, разобрав это.

— Теперь еще рано, но если придет ночь и он не вернется, — продолжал Панчетти, — если завтра утром его не будет и вы увидите, что я говорю вам правду, то вы найдете его там, куда вот этот синьор проведет вас.

Он указал на Таборовского, который от себя уже прибавил:

— Да, я проведу вас, но за хлопоты в таком важном деле вы мне дадите два червонца.

— Разбойник! — воскликнул Посников. —

Два червонца!.. Да весь-то ты и двух алтын не стоишь!..

Поляк не стал обижаться.

— Если дадите два червонца — я проведу, а то и уезжайте себе с Богом без пана Залесского... На всякий случай я поутру приду...

Он поклонился, поклонился за ним и Панчетти, и они ушли.

## XV

На следующий день, уже перед закатом солнца, Панчетти громко стучался в запертую дверь гостиной синьоры Анжиолетты. Наконец дверь отворилась, его впустили, и он увидел перед собою синьору, рассерженную и негодующую.

— Вы, кажется, с ума сошли, Панчетти, — не дав ему произнести ни звука, начала она, — по какому праву вы так стучитесь?.. Ведь я сказала вам еще утром, чтобы вы не входили ко мне сегодня... Неужели я не могу быть свободной в своем доме? Или случилось что-нибудь важное? В таком случае говорите скорее.

— С этого вопроса вам следовало бы на-

чать, синьора, — тоном тихого упрека произнес Панчетти, — конечно, случилось, если я решаюсь вас беспокоить и являться, несмотря на ваше запрещение. Здесь московитские послы... и они требуют выдачи синьора Александра.

Анжиолетта ничуть не испугалась и только рассердилась еще больше.

— Требуют выдачи?.. Вот вздор!.. И кто же это им сказал, что он здесь? Вы, что ли?

— Нет, я не говорил, конечно, да и не умею объясняться с ними, а что у них есть еще другой переводчик — я узнал только сейчас, когда он заговорил со мною... Не знаю — кто мог им сказать, но они уверены, что он здесь, и требуют, чтобы я их провел к нему.

— Так и проведите их к нему, синьор Панчетти, — спокойно сказала она.

— Где же он? В какой части палаццо? Я не знаю.

— Его в моем палаццо нет, и где он — я тоже не знаю... Неужели вы думаете, что я стану прятать у себя кого-нибудь? Скажите этим людям, чтобы они сейчас же уходили и не смели меня беспокоить. Я их не знаю и знать

не хочу.

— Подумайте, синьора, ведь я говорю единственно из преданности вам, из желания избавить вас от очень больших неприятностей, быть может, от серьезной беды. Это не простые люди... ведь это послы иностранного государства, с которым республика находится в дружбе. Дож никак не может оставить их жалобу без последствий... Если они не уведут с собою синьора Александра, то немедля отправятся к дожу с жалобой, и он поневоле должен будет приказать сделать строгий обыск в палаццо Капелло. Подумайте же, какое это произведет на всех впечатление! У вас, синьора, столько завистниц, у вас столько врагов... что сделают с вашей репутацией!

— О моей репутации я вовсе не прошу заботиться — это уж мое дело, — сказала Анжиолетта все с тем же спокойствием, — что же касается обыска: неужели вы не могли догадаться, что мысль о нем должна была прийти мне в голову!.. Пусть перероют весь палаццо — и все же не найдут того, кого ищут... и дож должен будет предо мною извиняться.

— Так где же он, где?

— Я сама этого не знаю, а если бы и знала, то, конечно, не сказала бы ни вам, ни дожу, никому на свете.

Панчетти отлично видел, что она знает, где скрывается Александр, но еще лучше понимал, что она этого ему не скажет.

— Это последнее ваше слово, синьора?

— Да, синьор, а потому, пожалуйста, меня не задерживайте и не тревожьте всяким вздором. Скажите этим варварам, что я советую им успокоиться и не требовать осмотра всего палаццо, потому что они никого здесь не найдут и я буду на них жаловаться. Разве Анжиолетта Капелло должна выносить такой оскорбление?

Она повернулась, твердой, спокойной поступью прошла в соседнюю комнату и заперла за собою на ключ дверь.

Панчетти сильно задумался. Он видел, что его расчет оказывался неверным. Он мог выдать Александра послам только в том случае, если бы сам знал, где именно он находится, а знать это мог только в случае полного к нему доверия синьоры. Между тем она вовремя догадалась, очевидно, на основании действий

Нино, что и Панчетти, тайно в нее влюбленному, не следует доверяться. Он, конечно, не способен поступить, как поступил Нино, он не подговорит «браво» убить Александра, но придумает что-нибудь другое, менее для него ответственное, даже совсем не ответственное — и все же достигающее цели.

Делать нечего, пришлось аббату идти к послам и объяснить им, что беглеца найти трудно, что неизвестно — где он находится.

— Как же ты, еретик, говорил, что он здесь? — завопил Чемоданов.

— Может быть, и здесь, да если не выходит и его не выдают, так нечего делать.

— Обыскать надо, вот что! — решил Посников. Поляк перевел это аббату.

— Об обыске нечего и думать, — сказал Панчетти и передал в точности слова синьоры Капелло, объяснив, что она одна из знатнейших патрицианок и с нею надо обращаться осторожно.

Послы из себя вышли.

— К дуку, к дуку... прошение!.. требование! — задыхался Чемоданов.

— А что, коли он и впрямь того? — вдруг

проговорил Посников.

— Чего того?

— А того, что, продав душу свою дьяволу и увлекаемый врагом рода человеческого, взял да и утопился!

— Ну, что ты, что ты!.. Ведь вот же еретик как по книге все рассказал...

— Да ведь он говорил, что малый-то здесь, а теперь, сам видишь, виляет: может, говорит, и здесь, а может, и нет его, и не ведаю, говорит, где он... Да ты на рожу-то его взгляни... у него и рожа другая... и сдается мне... чур меня! Чур! Наше место свято!

— Что тебе сдается, Иван Иваныч? — тревожно и растерянно спросил Чемоданов.

— А то, что этот еретик... кто его знает... а по роже-то... может, это и есть сам дьявол!

Алексей Прохорович перекрестился и невольно отступил от Панчетти.

— Так чего ж мы стоим тут... Чего ждем? — крикнул он и поспешил к выходу. — Домой скорей, там рассудим, как теперича быть нам.

Когда гондола отчалила, он обратился к Посникову:

— Да прочти ты мне толком цидулу-то...

Как он пишет?

Посников вынул из кармана небольшой лист бумаги, сложенный в виде письма. Это письмо в посольство утром принес какой-то мальчишка, принес, подал и убежал. В письме на имя Посникова значилось:

«Не ищите меня, не найдете — вода в венецейских каналах глубокая, и кто попал в нее — не выплывет. Без меня поедете, другого переводчика, хоть поляка нашего, возьмите — его найти легко. Помолитесь обо мне грешном. Александр Залесский».

Прочли, перечли и опять прочли они теперь эту цидулу.

— Вот грех! Вот грех! — повторял Чемоданов.

«А кто тому греху первая причина, кто совратил парнишку своим примером?» — думал Посников, но громко своей мысли не высказал.

Однако Алексей Прохорович прочел ее в глазах его и уж не покраснел, а побледнел, а в сердце ему будто ножом кто ударил.

— Вестимо, утоп! — между тем мрачно говорил Посников. — Вот до какого греха, вот до

какой беды дожили!.. И как же нам быть теперь... как на Москву показаться?.. Ведь царь-то... ведь он, батюшка наш, наказал нам хранить да беречь его... А что ж ты тут поделаешь... как убережешь, коли дьявол в дело впутался и образ бабий, прельстительный, на себя принял... Эх, Алексей Прохорыч!

— Ты это что... а? Что это ты?

— Эх, говорю, Алексей Прохорыч... эхе-хе-хе! пропала парнишкина душа, задаром пропала — и мы к тому ж в ответе.

— Да не говори ты, молчи! — отчаянно закричал Чемоданов, сжимая кулаки. — Молчи, аспид, и так ведь тошно!

## XVI

Александр слышал весь разговор Анжиолетты с аббатом, так как был рядом в комнате, за спущенной дверной занавесью. Поддавшийся страсти и отуманенный ею, он уж не оглядывался, не колебался и с полным спокойствием совершал то, что за сутки считал грехом и преступлением.

Спокойствие это было какое-то странное, будто человек действовал не добровольно, не сознательно, а как заведенная машина. Анжиолетта сказала ему, что надо послать «московитам» такую записку, прочтя которую они подумали бы, что он утопился, и он тотчас же исполнил это. Теперь она приказывала ему стоять за занавесью и не шевелиться, и он стоял как окаменелый, без малейшего движения, почти остановив дыхание.

Однако в глубине его сердца шла какая-то тайная работа. Ему становилось все тоскливее. Будто камень лег на грудь — и давил. Но он еще не сознавал своей тоски, не спрашивал себя — почему это, когда он соединен навсегда с тою, которую любит больше всего на

свете, он испытывает не радость, не счастье, а давящую, все усиливающуюся тяжесть.

Анжиолетта вошла, заперла за собою дверь, прислушалась и, услыша, что Панчетти ушел, подняла скрывавшую Александра занавесь.

— Ты слышал?

— Да, я все слышал, — без малейшего проявления какого-либо чувства, произнес Александр.

— О, этот Панчетти! Он хитер, но я его хитрее, — говорила Анжиолетта, — я уверена, что это он дал знать твоим старикам, что ты здесь... Я думаю, что теперь, вот в эту самую минуту, он уговаривает их немедленно принести жалобу дожу и требовать обыска в моем палаццо... Очень может быть, что «московиты» и добьются обыска... Если бы это было при покойном доже — я ни минуты не стала бы тревожиться, но теперь... Дож втайне ненавидит всю мою семью и будет рад под благовидным предлогом нанести нам оскорбление... Да, обыск возможен, но нам все же нечего бояться. Я знаю одну тайну этого старого палаццо, которой никто не знает, кроме

владельца. Когда мой несчастный муж отправлялся в Турцию, где так ужасно умер, он передал мне эту тайну... Теперь, мой дорогой, ты скоро станешь владельцем палаццо Капелло, потому что муж мой тоже перед своим отъездом подарил мне его... ты станешь владельцем — и я могу доверить тебе эту тайну... Пойдем!

Она взяла его за руку, провела через несколько комнат и, остановись перед стеной, между двумя большими окнами, сказала:

— Осмотри хорошенько эту стену — не найдешь ли в ней чего-нибудь странного, подозрительного?

Он тотчас же приступил к осмотру с той же машинальностью, которая не покидала его. Но как он ни оглядывал эту наружную стену между окнами — ничего не мог в ней заметить.

— Ты видишь, — наконец прервала молчание Анжиолетта, — это наружная стена, в ней ничего нет, да и быть не может... Если даже станут искать какого-нибудь тайного помещения, куда я могла бы тебя спрятать, — его

будут искать где угодно, только не здесь... какой же тут может оыть тайный ход, где же тут след двери? А вот... смотри.

Не трогаясь с места, она сделала ногою несколько движений, сильно надавливая на мозаичный пол, — и вдруг все пространство стены между окнами от полу и аршина на четыре в вышину медленно и бесшумно стало опускаться куда-то вниз.

Александр невольно вздрогнул и отскочил — он никогда не видал ничего подобного.

Стена все опускалась и образовала довольно объемистое, темное пространство.

— Иди за мною! — сказала Анжиолетта и, смело перешагнув остаток опустившейся стены, оказалась в этом темном пространстве.

Александр, не рассуждая и как бы во сне, тоже перешагнул и очутился рядом с нею. Но что же дальше? Если стена снова поднимется, — оба они окажутся замуравленными между камней, почти даже не имея возможности шевельнуться.

И вот только что эта мысль пришла ему в голову, как стена действительно стала подниматься. Еще несколько мгновений — и они в

полном мраке, со всех сторон холодный камень. Если бы не теплое дыхание Анжиолетты, если бы не ощущение ее присутствия, Александру, может быть, стало бы очень жутко. Теперь же он только вышел из своего равнодушия и ничего не понимал, ждал — что будет дальше.

— Ох, что я сделала, что я сделала! — расслышал он отчаянный шепот Анжиолетты. — Я забыла оставить открытой пружину — и теперь мы погибли! Никакая сила не спасет нас! Мы умрем здесь голодной смертью... вот так... стоя, мы можем только обняться перед смертью!..

Александр вздрогнул и почувствовал, как ледяной холод пробежал по всем его членам. Он понял сразу всю безысходность положения. Смерть! Это смерть! Он уже видел ее приближение, тогда, во время бури, на корабле... Но тогда была надежда... а теперь... теперь ничто и никто спасти не может!..

«Не ищите меня, не найдете — вода в венецейских каналах глубокая, и кто попал в нее — не выплывет» — вспомнились ему его слова в записке, посланной им Посни-кову по

желанию Анжиолетты.

Холодно и ужасно в мутной воде венецейских каналов, а здесь, в этой каменной могиле, пожалуй, еще холоднее, еще ужаснее! Когда он писал эти обманные слова — мысль о смерти и не приходила ему в голову — он думал о жизни, о наслаждении. «Не ищите — не найдете!» — вот и накликал, вот никто и никогда не найдет его!.. Вот и наказание за обман, за грех, за совершенное им тяжкое преступление!..

Анжиолетта рыдает, шепчет прерывающимся голосом:

— Что же нам делать? Пойми — ведь это смерть... ведь никакого спасения!.. Мы можем стучать о камни, пока не отшибем себе руки, — и никто нас не услышит... мы можем кричать, пока не надорвется грудь, — и крик наш будет замирать в эти камнях... Да, если бы кто и услышал стук и крики, разве можно понять, откуда идут они!.. Я заперла дверь на ключ, до завтра никто не посмеет войти... Потом, может быть, вечером, решатся и выломают дверь, обойдут все эти комнаты, меня нигде нет... и уйдут... станут везде искать ме-

ня — и не найдут... Вся Венеция будет говорить о том, что синьора Капелло исчезла... Потом все забудут... Потом пройдет много лет, много, много лет, может быть, целые века пройдут, — и когда сломают эту стену, узнают ее тайну... и найдут нас...

Она рыдала и в глубоком, холодном мраке прижималась к Александру.

— Да скажи же мне хоть что-нибудь! — шептала она.

— Если смерть пришла — значит умирать надо, — наконец выговорил Александр, — мы заслужили эту смерть.

## XVII

Вдруг она засмеялась.

— Александр, мой милый, мой дорогой, да ведь я шучу... я только хотела попугать тебя... Мы вовсе не заслужили смерти, мы заслужили жизнь, радость, счастье!

Он ничего не понял, он не успел еще обрадоваться, прийти в себя от неожиданности, когда Анжиолетта дернула возле себя за какую-то пружину, и они стали опускаться. Показался слабый свет, проникавший в очень маленькие, сделанные в стене отверстия. Они опускались все ниже и ниже и наконец очутились в довольно обширном помещении.

Здесь было почти совсем темно, но Анжиолетта зажгла огонь, и вот свет двух восковых свечей позволил Александру оглядеться. Он в очень богато убранной комнате. Пол, стены, даже потолок — все увешано коврами. Великолепные зеркала уничтожают мрачность этой подземной комнаты.

Анжиолетта сейчас же стала приводить все в порядок.

— Я давно не была здесь, — говорила

она, — тут пыльно и холодно... да что же делать!.. Но прежде всего скажи: ты на меня не сердишься за мою глупую шутку?..

Она подошла к нему, положила ему свои руки на плечи и глядела ему в глаза и улыбалась. Разве мог он на нее сердиться!

— Да, конечно, надо быть осторожным... Когда они уедут, можно будет действовать смелее... пока же тебе придется посидеть здесь. Здесь-то уж тебя никто не отыщет, и я не боюсь никакого обыска — пусть хоть все сбиры Венеции три дня обыскивают палаццо!.. Теперь я поднимусь, принесу тебе ужин, вино и теплые одеяла для ночи... Только долго с тобой не останусь сетодня... Я проведу вечер у себя в гостиной, даже призову Панчетти и заставлю его читать мне. Пусть приходят твои старики со сбирами, пусть приходит сам дож и с ним вся Венеция.

Она стала на маленькую железную платформу, на которой они сюда спустились, прижала в стене большую круглую пуговицу и стала медленно подниматься к потолку, посылая Александру воздушные поцелуи. По всему видно, что она отлично знакома со

всем этим хитрым механизмом и что нередко сюда спускалась и отсюда поднималась.

Ее нет, в потолке, где она скрылась, только широкое отверстие, откуда брезжит слабый свет. Александр один, среди глубокой тишины, не нарушаемой никаким звуком. Он упал на низенький мягкий диван и погрузился в полное бездумье, почти в забытье, пока она не спустилась к нему. Она приготовила ему постель, поставила на стол ужин и крепко обняла его.

— Прощай, прощай, не смею оставаться здесь с тобою ни одной лишней минуты — мало ли что может там случиться. Может быть, уж и теперь стучат в мою дверь... что делать! Потерпим два дня, а потом — вся жизнь перед нами!.. Но что же с тобой? Отчего... отчего ты так холодно меня целуешь?

— Спеши, спеши... ведь ты сама говоришь: мало ли что там может случиться...

Она исчезла — и он опять один. Он не дотронулся до ужина, лег, закутался теплым одеялом и хотел заснуть. Он чувствовал себя утомленным, и тяжесть с каждой минутой все больше и больше начинала давить его

сердце.

Сон не приходил, мысли метались во все стороны, ни на чем не останавливаясь. Становилось невыносимо тяжело, тоска так и томила.

И стало ему казаться, что все это с ним оттого, что он позабыл что-то. Стоит ему только вспомнить это позабытое — и тоска пройдет, станет легко на сердце. Но он никак не может вспомнить. Вот как будто что-то подходит — еще немного, еще одно усилие — и оно вспомнится... А между тем нет — не вспоминается, никак не вспоминается — да и только!..

Наконец он уснул. Ему приснилось, будто он один, в каменном гробу, который со всех сторон плотно его облегает. Страшно холодно среди этих камней, и душно, и тяжко. Ужас охватывает его, он задыхается — и не может шевельнуться. Вдруг откуда-то издали доносится тихий звон. Звон этот все ближе, все яснее. Он узнает его — это звонят на Москве колокола кремлевские.

Небывалая сила наполнила его, он рванулся, рассыпались вокруг него камни, поднялся он и видит: светло... он в церкви, сияют и теп-

лятся восковые свечи и лампады... Кто же это?.. Кто это склонился в молитве перед образом Спаса?... И отчего так вдруг замерло и забилось его сердце?.. Он спешит к образу Спаса и падает на колени... и видит — рядом с ним...

«Настя!» — радостным кликом вырывается из груди его. Она повернулась к нему... Это она, она! Ему светло, ему чудно, всю его душу наполняет невыразимое счастье, такое блаженство, какое только во сне может пригрезиться человеку...

Он проснулся. Тоски нет, тяжесть спала... Он вспомнил... «Настя! Настя!» — услышали безмолвные, холодные, увешанные коврами стены венецианского подземелья.

# XVIII

Царское посольство в полном своем составе, с громадными тюками товаров и всякой поклажи медленно подвигается на север. И вместе с «московитами», будто сопровождая их, стремится к тому же северу благоухающая весна. Чудное время и чудная природа, поражающая разнообразием своих картин, причудливой пестротою своих красок. Какие теплые, сияющие, смеющиеся дни, какие волшебные, манящие ночи!..

На севере еще снег лежит, оттуда еще морозы трескучие уходить не хотят, до весны еще там далеко, и только солнце мало-помалу замешкиваться на небе начинает, а здесь уж в густой зелени все деревья, и цветут невиданные цветы, и распевают неслыханные птицы. Чудное время, чудный край!..

Ну как тут не поддаться очарованию, как не продлить остановок, как не насладиться всеми этими новыми впечатлениями, которые уж не повторятся в жизни! А между тем «московиты» спешат все вперед да вперед, останавливаются только по необходимости.

Алексей Прохорович то и дело всех торопит, и кричит, и жалуется на каждую остановку. И все посольские люди, от первого до последнего, понимают его нетерпение и разделяют его чувства.

«Чего ж тут и впрямь прохлаждаться-то! Дело сделано, пройдены всякие мытарства, а теперь скорее бы домой... Дай-то, Господи, благополучно добраться!» — вот общая мысль, и страстное желание попасть поскорее в русские пределы так велико, тоска по родному дому так неотвязна, что где уж тут наслаждаться диковинками заморскими. Самые блистательные вешние дни, самые душистые южные ночи проходят незамеченными для «северных варваров», мечтающих о белом снеге, крепком морозе да горячих лежанках.

— Ишь ты, время-то как идет!.. Святая скоро! — говорит со вздохом Алексей Прохорович. — Вот... и Рождества Христова не видели, да и Пасху не придется увидеть... целый год из жизни вон!.. Ну уж не приведи Господи еще такого года!..

И все посольские люди, от первого до по-

следнего, готовы из глубины души повторять за своим набольшим: «Не приведи Господи еще такого года!»

Готов был повторять это и Александр. Как Александр? Да разве он возвращается в Москву вместе с посольством? Конечно, а то как же иначе? «Быль молодцу не укор» — и уж особенно не укор, если эта быль является в образе такой прелестной соблазнительной женщины, как синьора Анжиолетта Капелло. Разумеется, Иван Иванович Посников имел все основания глубоко возмущаться и порицать Александра. Сам почтенный, серьезный дьяк никогда не увлекся бы никакой синьорой, во-первых, потому, что даже и в юные годы сердце его всегда очень спокойно билось, а красота для него казалась совершенно излишней роскошью; во-вторых, и самое главное, потому, что никакая синьора ни за что не увлеклась бы им и не стала бы увлекать его. Добродетель, когда она является победительницей в человеке, сердце которого от юности «мнози борят страсти», — есть истинная добродетель, но мы знаем обоего пола особ, носящихся со своею добродетелью, но в действитель-

ности не побежденных только потому, что никто и никогда не хотел с ними бороться.

Соблазн, представший пред учеником андреевских монахов в образе венецианской красавицы, был так велик, а сердце горячего, полного жизни юноши — такой горючий материал, что в подобных обстоятельствах оно непременно должно было вспыхнуть. Оно и вспыхнуло жарким пламенем, но так как в нем таилось зерно иного, глубокого и животворного чувства, зерно крепкое, подобное алмазу и никакого огня не боящееся, то огонь страсти и не мог его уничтожить. Пришла минута — и позабытое имя зазвучало в сердце. А раз оно зазвучало среди такого пламени — это был клич победы.

Когда утром Анжиолетта сошла в подземелье, Александр уже оказался совсем иным человеком. Туман страсти, опутавший его, рассеялся. Бессильный и безвольный еще несколько часов перед тем, теперь он владел собою, к нему вернулись его твердость, решительность и смелость.

Он вовсе не возненавидел Анжиолетту, страстное чувство влекло его к ней по-преж-

нему, и ее присутствие наполняло его трепетом. Ему было тяжело расставаться с нею, и как он знал теперь — расставаться навсегда. Но то, на что он было решился, казалось ему таким позором и ужасом, что он был готов на все, лишь бы избавиться от этого ужаса и позора.

Надо скорее бежать отсюда, бежать, пока еще не поздно. Но ведь она не выпустит! Да, он отлично понимал, что стоит ему сказать ей правду — и она силой удержит его. Поэтому, так как иначе было нельзя, он, с присущей ему смелостью, решился обмануть ее... И он обманул, обманул так ловко, будто учился этому искусству у Нино или Панчетти.

Он весь был полон теперь только одним — чувством самосохранения; это была отчаянная самозащита, борьба не на живот, а на смерть, и среди такой борьбы не оставалось места ни жалости, ни уступкам. Он стал жесток и беспощаден, потому что инстинктом чувствовал, что стоит ему подумать лишь на мгновение о своей жалости, стоит на миг один пожалеть ее, прелестную свою тюремщицу, — и он погиб, погиб безвозвратно.

Поэтому он не рассуждал, а действовал с силой проснувшейся воли, подавил в себе страстное влечение к Анжиолетте, глядел на нее как на злейшего своего врага, которого всеми средствами, не разбирая, каковы эти средства, необходимо победить, этим спасти себя. Он встретил Анжиолетту так нежно, что, конечно, ей и в голову не могло прийти заподозрить его в каком-нибудь коварстве. Когда он объявил ей, что всю ночь не мог заснуть, потому что это подземелье его душит, она ему поверила и согласилась с ним, что здесь вовсе не весело. Но ведь благоразумие требует остаться здесь еще хоть сутки.

— Конечно, — сказал он, — только дай мне взглянуть на свет и подышать воздухом. Эта удивительная машина так устроена, что при первой опасности можно в одну минуту сюда спуститься. Ведь вот теперь, когда ты здесь, потайная дверь там открыта, могут вломиться в комнату, увидеть эту потайную дверь — и тогда поймут, куда ты меня скрыла.

— Ничего не поймут и ничего не увидят, так как дверца закрыта и мы оба не существуем в палаццо, — ответила Анжиолетта.

— Хорошо, однако, если предположить, что в комнату наверху теперь ворвались... и вот ты подымаешься отсюда и на глазах у всех вдруг выйдешь из стены?

— Конечно, если сломают дверь, войдут в комнату и если я вдруг выйду из стены — наша тайна будет открыта.

— Вот видишь! Так не лучше ли не рисковать. Поднимемся же вместе, и я останусь в запертой комнате наверху, куда ты можешь приходить ко мне без всякого страха... Если будет что-нибудь подозрительное — я сейчас в стену — и кончено!

Конечно, он был прав, и ей нечем было возразить ему. Она привела в действие хитрый механизм, и через минуту, выйдя из стены, он взглянул в высокие, залитые солнцем окна, увидел воду и небо. Самое трудное препятствие было побеждено. Если б почему-либо Анжиолетта не согласилась с ним, если б нашла, что ему необходимо оставаться в подземелье, — что бы он сделал? Ведь он не имел никакого понятия о том, как следует управляться с тайным механизмом подъемной машины, как, поднявшись наверх, заставить от-

крыться потайную дверь, без помощи Анжиолетты он никогда не смог бы выбраться отсюда. Она была полной распорядительницей его жизни.

Но вот он почти на свободе, и ощущение свободы наполнило его еще большей силой, чем в тот вечер, когда он избавился от нанятого Нино убийцы и вырвался из темных венецианских закоулков, куда его заманили.

В одно мгновение он разглядел ключ в запертой двери, и Анжиолетта не успела оглянуться, как он уже был у этой двери, отпер ее и быстро шел направляясь в знакомую ему гостиную синьоры.

— Безумный! Что ты делаешь? Куда идешь, — воскликнула, ровно ничего не понимая, Анжиолетта и побежала за ним.

Но он уже в гостиной, и, когда она догнала его, он повернул ключ в замке и дверь, за которой была его полная свобода, отворилась.

— Александр... куда ты? Да ведь тут... сейчас, ты можешь кого-нибудь встретить... тебя увидят... Панчетти...

Она схватила его за руку, силясь заставить его вернуться и запереть за ним дверь.

Он быстрым движением освободился, ступил шаг назад и оказался за дверью гостиной. На ее лице изобразилось изумление, испуг — и вдруг глаза ее блеснули гневом. Она начала догадываться.

— Что ж... ты, кажется, совсем уйти хочешь? Ты бежишь? — задыхаясь, прошептала она.

Его глаза невольно опустились перед нею, но все же он собрал всю свою силу и ответил:

— Да, я ухожу, Анжиолетта... Прости меня и... прощай... Я не могу остаться... не удерживай меня... я не останусь...

— Трус! Жалкий трус! — воскликнула она, все же хватаясь за него обеими руками.

— Называй меня как хочешь... только пусти меня... Я все равно не останусь...

Ее руки опустились, все ее прелестное лицо исказилось до неузнаваемости, глаза злобно горели.

— О, я не стану вас силой удерживать, синьор, — произнесла она каким-то не своим, свистящим голосом, — бегите, да скорее! Вы оскверняете стены этого благородного дома! Вы обманщик, низкий трус... и я благодарю

небо, что вовремя поняла вас... Ведь я считала вас за человека, а вы — вы дикарь, неотесанный варвар, зверь — и только!..

Она злобно и не совсем естественно захохотала.

Эти последние слова ее, этот ее хохот окончательно спасли его. Если бы вместо грубой брани и оскорблений она заплакала, если бы стала с любовью умолять его остаться, если бы обожгла его своим молящим взглядом, — очень может быть, что в последнюю минуту он потерял бы всю свою решимость и силу. Но теперь перед ним была не она, он взглянул, увидел какое-то новое существо, увидел своего врага — и со всех ног бросился через ряд парадных комнат к выходу из палаццо.

— Синьор, синьор... остановитесь!

Кто-то схватил его за плечо. Это был Панчетти.

— Не спешите так... ваши еще не уехали... поспеете! — говорил аббат, не выпуская его и стараясь остановить. — Да и подумайте... Нельзя же вам так выбегать из палаццо... без шляпы...

Александр очнулся и понял, что аббат

прав: куда же бежать без шапки!

— Постойте минутку — скажите мне, где вы оставили вашу шляпу?

Тут только Александр вспомнил, что шапка у него в кармане кафтана, что она была с ним и в подземелье. Он вынул ее и надел.

— Ну вот, так хорошо! — сказал Панчетти, весело и лукаво сверкнув глазами. — Прощайте, синьор форестьер, желаю вас счастливого пути...

— И вам, и вам тоже! — сам не понимая, что говорит, крикнул Александр, еще быстрее устремляясь к выходу.

Панчетти поглядел ему вослед, затем подошел к окну, увидел, как Александр сбежал со ступеней, как сел в гондолу и отплыл.

«О, глупый белый медведь! — весело думал он. — О, бедная синьора! О, идиот Нино!.. Бедная, бедная синьора! Какое поражение!.. А ведь мы самолюбивы, мы горды... ох, как горды! Да, впрочем, ни одна женщина в мире, будь она не красавицей синьорой, а хоть самой плохонькой кухаркой, не умеющей даже сварить макароны, никогда не в силах простить такого позорного бегства... Пойти к ней,

это было бы глупо... до завтра не покажусь, а завтра с утра начну утешать ее... О, милый белый медведь! О, дорогой мой Нино... как я вам благодарен!..»

## XIX

Александр благополучно доехал домой, и так как все посольские люди были заняты упаковкой тюков, то его заметили только итальянцы-служители, которые даже и не знали об его исчезновении и о переполохе, произведенном этим обстоятельством в московитском посольстве. Таким образом, они не обратили на него никакого внимания.

Он пробрался в свою комнату и увидел в ней большой беспорядок. Почти все его вещи были свалены на пол, да так и валялись. Он тотчас же принялся их укладывать, и эта работа, говорящая ему о возвращении в Москву, подействовала на него самым успокоительным образом. Он окончательно очнулся, и ему показалось даже, что все последнее время, с самого приезда в Венецию или, вернее, с первого посещения им палаццо Капелло, он был «не в себе», а теперь вот пришел в себя, и

все вокруг него стало совсем иначе.

Ему вспоминалась эта ночь, проведенная в холодном и сыром подземелье, вспомнилось дышащее гневом и злобой лицо Анжиолетты, ее брань, ее хохот — и он не нашел в себе прежнего страстного к ней чувства. Даже самая красота ее, сразу так его поразившая, но к которой он уже присмотрелся, не смущала его больше: перед ним теперь носилось иное, далекое видение и казалось ему несравненно привлекательнее.

«А ведь это она меня приворожила! — вдруг пришло ему на мысль. — Вестимо приворожила, зельем тайным, любовным опоила!.. Ну да теперь, слава Тебе, Господи, зелье-то, видно, силу потеряло... теперь меня к ней не потянет на погибель!..»

Пришла эта мысль — и Александр жадно за нее ухватился и очень легко и быстро уверил себя, что это так, что иначе и быть даже не может. Как было ему не ухватиться за такую счастливую мысль, как было не утвердить себя в ней — ведь если Анжиолетта его зачаровала, опоила зельем (а что такие любовные зелья здесь есть — он отлично знал,

так как они открыто продавались на площади Святого Марка), значит, он сам ни в чем не виноват и совесть его может быть спокойна. Некому было доказать ему, что из всех его венецианских деяний это обвинение Анжиолетты и сваливание всей вины на приворотное зелье — во всяком случае самое худшее.

Как бы то ни было — порыв грубой страсти, очевидно, прошел, вина с себя снята и совесть успокоена. А вслед за этим Александр превратился в спокойного и ловкого малого, каким бывал всегда в затруднительных обстоятельствах. Когда дверь его комнаты отворилась и он увидел входившего Посникова, то был уже во всеоружии.

Посников сразу даже не поверил глазам своим.

— Батюшки-светы! Да, никак, это ты, пострел Алексашка? — закричал он.

— Я-то я, кому ж иному и быть-то! — весело ответил Александр. — Только чего ж это ты, Иван Иваныч, лаяться-то вздумал? Какой я тебе пострел Алексашка?

— А то как же мне величать тебя прикажешь? — раздраженно и в то же время с яв-

ным злорадством перебил его Посников. — Пострел ты и есть! Хуже того — изменник ты, беглец поганый!

Александр, сидевший на полу на корточках и перевязывавший тюк с вещами, поднялся и подошел к нему, глядя в упор.

— Однако, — сказал он спокойно, но внушительно, — ты язык-то свой попридержи, я тебе не холоп и бранить себя такими словами, будь ты не токмо что дьякон, а хоть бы и боярин, не дозволю. Ты какое слово сказал? Ты сказал: изменник! В чем же моя измена? Докажи, а доказать не можешь, так не смей меня порочить... Я такой же изменник, как и ты.

— Ах ты... — начал было Посников, но тотчас же замолчал и попятился.

Однако он не намерен был еще сдаваться.

— Пока ты себя вел изрядно, я и обращение с тобою имел, — уже гораздо тише говорил он, — но ты, как попал к этим немцам венецейским, так с пути и сбился... Нешто не видел я, как ты неведомо где по целым дням да ночам пропадаешь? Я все молчал, все ждал, авось ты за ум возьмешься. А тут

вдруг — на-поди! — нам ехать пора, а он у дьяволицы какой-то скрывается, а сам цидулу нам посылает: «потопился, мол, без меня уезжайте!» Да понимаешь ли ты, что такое наделал?!

В это время Чемоданов проходил по соседней комнате и, заслыша голоса, отворил двери. Увидя Александра, он разинул рот да вдруг как кинется на него с кулаками. Но Александр нисколько не растерялся. Он ловко отскочил в сторону и крикнул Чемоданову:

— Алексей Прохорыч, рукам воли не давай... бить тебе меня не показано, и я не потерплю того — сам дам сдачу... так ладно ли оно будет?

В голосе Александра слышалась такая решимость, и последствия могущей произойти драки были настолько нежелательны, что руки Алексея Прохоровича сами собою опустились. Но язык его зато не скупился на бранные выражения по адресу юноши.

— Ты бы хоть на минутку замолчал, Алексей Прохорыч! — наконец перекричал его Посников. — Дай ты мне сказать слово... я тебе изъясню...

— Ну что ты мне изъяснить можешь! Цидуля-то твоя, грамотка-то твоя обманная... при мне ведь она! Да я тебя... да вот вернемся... так ты у меня...

— Опоили меня, батюшка Алексей Прохорыч, опоили «хари» венецианские карнавальные, и сам я не ведаю, что в той моей грамотке написано! — внезапно решившись, солгал Александр самым возмутительным образом, не чувствуя никакого угрызения совести за ложь эту.

И Чемоданов и Посников вдруг как-то стихли и стали внимательны.

— Сам не ведаешь... опоили... — бормотал Чемоданов, — «хари» венецейские... какие ж такие «хари»?

— А вот те самые, что и тебя, батюшка Алексей Прохорыч, опаивали, с которыми ты всю ночь пропировал, от которых я на заре увозил-то тебя... те самые! — наивнейшим образом, глядя на Чемоданова, объяснил Александр.

Алексей Прохорович громко плюнул:

— Тьфу ты!..

Он смутился, совсем смутился и хоть не

глядел на Посникова, но чувствовал на себе ядовитый и злорадный взгляд его.

— Да как же ты, мальчишка... как же ты смел... поднять такую... да что же ты... хвастаешься, что ль, тем, что тебя басурманы опоили?..

— Не хвастаюсь я... самому стыдно вспомнить... да что ж тут поделаешь?.. Они, эти «хари» карнавальные, может, у них зелье какое... приворотное, и коли уж тебя...

— Молчи ты! — проревел Алексей Прохорович и вышел, стукнув дверью.

В сущности, ведь беда прошла — и он был доволен: Александр вернулся вовремя и бежать, по-видимому, не собирается.

«Напрасно погорячился... погорячился — и нарвался: „те самые, вишь ты, что и тебя опоили“... „коли уж тебя“... ах ты аспид! А тот-то... ровно змей... так и жалит, без слов жалит», — тревожно думалось Алексею Прохоровичу.

Александр между тем, переменив тон и сделавшись таким ласковым, задабривал Посникова.

— Ну, не серчай, прости ты меня, Иван

Иваныч, — говорил он, — нешто я сам не чувствую вины своей. Знаю, что напугал вас... и вот, как только от опоя отрезвился, так сейчас же и домой... смерть боялся — а ну как вы без меня-то уехали...

— Боялся... боялся... — раздумчиво и с недоверием твердил Посников, — а как же этот... монах-то немецкий, бритый... как же он говорил, что ты у бабы скрываешься и остаться здесь навсегда хочешь?

— Не знаю, какой такой монах и что такое он говорил, — хоть и не глядя в глаза Посникову, но все же без запинки ответил Александр, — только ведь, кабы я где скрывался да хотел тут остаться... так вы и уехали бы, я бы и остался... я же перед тобою. Где ж правда-то? Сам посуди! Слава тебе, Господи! — из глубины души воскликнул Александр.

# XX

И вот царское посольство держит путь в пределы Московского государства, и, как уже сказано, весна сопровождает московитов, развертывая перед ними свои чудные картины. О море Чемоданов и Посников и слышать не хотят — пусть лучше всякие неудобства и трудности, лишь бы не бури, лишь бы не встречи с морскими разбойниками.

Из Венеции поехали прямо в Триент, через Тревизу и Бассано. Благополучно добрались до границы Венецианской республики; но тут произошла остановка и немалая даже неприятность. Стражи пограничные требовали с посольства уплаты пошлин за провозимые товары. Послы из себя вышли.

— Какие такие пошлины? Это еще что за новость? — в один голос кричали Чемоданов и Посников и решили, что не станут платить ни одной копейки.

— Да как же не платить, — объяснял Александр, — когда здесь закон такой. Вон стражники говорят, что коли не заплатим по положению, то нас через границу не пропустят и

будут держать, доколе не заплатим.

— Это нас-то не пустят через границу? Это великого государя посольство-то задерживать станут!.. Да ты не моги нам таких срамных речей и переводить-то и сам их не слушай! — горячился Чемоданов. — Какие такие пошлины? Это кабы мы ихние товары везли — ну, тогда другой разговор, так и опять-таки царское посольство без пошлин пропустить следует; а то — на-поди! Свое добро везем, а с нас за это шкуру драть хотят! Да ведь это хуже морских разбойников!

Но как ни горячились послы, как ни было в них возмущено чувство справедливости и собственного достоинства, а когда пограничные стражники, число которых было весьма значительно, продержали путников целые сутки и, по-видимому, решились-таки не пропускать через границу, — пришлось уплатить все, что требовали. С Чемодановым чуть удар не сделался, и если бы итальянцы могли понять те пожелания, которые он им высказал на прощанье, — они бы изумились богатству русского языка и русской разгоряченной фантазии. Если бы эти пожелания могли осуще-

ствиться, то вся Венецианская республика одновременно и провалилась бы в тартарары, и испытала бы участь Содома и Гоморры, и унесло бы ее туда, куда ворон и костей не заносил, и жарилась бы она на сковородке у дьявола, и случилось бы с ней такое, чего никогда ни с кем не случалось и о чем не повествуется ни в одном из сказаний Востока и Запада.

Только в Триенте несколько успокоилось взволнованное чувство послов московских, потому что епископ приготовил им весьма торжественный прием. Он выслал им навстречу красивые экипажи и верховых лошадей, поместил их в прекрасном доме и задал им такое угощение, что Алексей Прохорович чуть было не запамятовал, что теперь пост великий.

Попировав и ласково простясь с любезным епископом, посольство село в лодки и поплыло по рекам до Боцено, где опять пришлось нанимать повозки. Но за повозки приходилось платить очень дорого, а потому часть посольских людей шла пешком, и, таким образом, путешествие происходило крайне мед-

ленно. Кое-как добрались до Инсбрука и там узнали от наместника важные вести из России. Оказалось, что заключен мир со шведами, а государь Алексей Михайлович находится с войском на польской границе. Наместник был так же любезен и ласков, как и епископ Триентский, и пожелал выразить свое уважение царскому посольству всякими празднествами и увеселениями. Но послы наотрез от всего этого отказались, объявив, что теперь на Руси страстная неделя и что не время плоть свою тешить, а следует грехи замаливать.

Апрель уже был на исходе, когда посольство достигло Амстердама, поразившего русских людей своими каналами, обсаженными прекрасными деревьями, бесчисленными мостами, большими гаванями, где стояло столько кораблей, что и счесть их было невозможно.

— Навидались мы всяких диковинок, — говорили послы, — а уж чистоты такой нигде не видывали, да и как такая чистота может держаться, и зачем она надобна — понять дело трудно!

Отдохнув в Амстердаме, послы наняли за сто десять рублей большой корабль до Архангельска, так как дальнейшее путешествие по суше, ввиду польской войны, оказывалось невозможным. Опять горе, опять море! Но голландские купцы уверили, что в это время года бури бояться нечего, а о пиратах здесь и слуху нет. Поневоле пришлось забраться на корабль и вверить себя судьбе. Только и поддерживало сознание, что каждый день пути приближает к русским пределам.

А весна давно уж перегнала путников. Настало лето со своими короткими светлыми ночами. Море оказалось благоприятным, посольские люди отдыхали от утомительного странствования по суше, и с каждым днем общее настроение москвичей все улучшалось и улучшалось. Июнь приближался к концу — еще два дня, и они достигнут устья Двины.

Алексей Прохорович прохаживался по палубе с веселым лицом, ни на кого не кричал и не сердился. Подошел к нему Александр и завел беседу о том, о сем, главное же, что вот, мол, потерпеть еще немного — и окончены все мытарства.

— Да, братец, авось с Божию помощью доберемся! — вздохнув всею грудью, сказал Чемоданов. — Шутка сказать, больше года плутаем, да и ворочаемся-то с пустыми руками.

— Что делать? Не ты тому причиной, батюшка Алексей Прохорович, — не без заискивания перебил его Александр, — я свидетель, сколько ты потрудился и как важно вел посольское дело.

— Да, послужил, как мог.

— То-то и я говорю... а вот какие новости нас на Москве ждут... Все ли там в добром здоровье...

— Бог не без милости.

— А что я скажу тебе, батюшка Алексей Прохорович, — вдруг дрогнувшим голосом произнес Александр, — как выехали мы... нелюб я тебе был... ну а теперь, неужто на милость не склонилось твое сердце?

Чемоданов насупил брови и одним глазом взглянул на молодого переводчика.

— Ты это о чем же?

— Да все о том же, родимый.

— Ну, так ты с этим разговором от меня отойди подальше. Не бывать тому. Слышал?

У Александра во рту вдруг стало совсем сухо, но он все же спросил:

— А почему же?

— А вот хоть бы потому... Венецию-то забыл, что ли?

Александр оживился.

— Зачем забыть, все помню!.. все наши карнавальные действия... как я на заре тебя от синьоры Лауры вел, помню даже Ливорно... жену дохтура... и перстенек твой помню, Алексей Прохорыч... все помню!

— Отойди от меня! — краснея и топнув ногой, крикнул Чемоданов.

Александр отошел, но вид его показывал, что он не оплакивает поражение, а, напротив, празднует победу. Он чувствовал, что в конце концов Алексей Прохорович сдастся. Синьора Лаура, и жена дохтура ливонского, и перстенек погибший сослужат добрую службу.

# XXI

Мы в царском терему, в покоях великой государыни, царицы Марьи Ильинишны. Покои эти многочисленны, но не обширны — все бы они уместились в одну из зал палаццо какого-нибудь богатого венецианского патриция. Потолки низенькие, окошечки маленькие, а печи и лежанки большие, изразцовые, все в затейных узорах. С непривычки душно в этих своеобразно красивых покойчиках, и приезжему из-за моря человеку, конечно, должно странным казаться — зачем это люди, большую часть года проводящие в четырех стенах, помещают себя в такие клеточки. Если в долгие холодные месяцы нельзя пользоваться воздухом и приходится запираться да топить печи, — так жилье-то хоть себе надо устраивать обширнее, да выше, да светлее. Добро бы нужда, невозможность, но ведь о нужде и невозможности нельзя же говорить во дворце царей московских.

Все это так, но велика сила привычки, отцовского и дедовского обычая, — и если до сих пор западные европейцы никак не могут,

вечно страдая в холодные зимы, додуматься до наших печей и двойных рам, то нечего удивляться, если царица Марья Ильинишна отлично себя чувствовала в своих маленьких, душных покойчиках и решительно противилась введению каких-либо новшеств в исконный строй своей теремной жизни.

Все эти новшества, стремление к заморским обычаям, к изменению или забвению своих, от дедов заповеданных, — все это казалось царице Марье Ильинишне греховным, и, замечая подобную греховность в своем супруге, она сильно смущалась. Она даже пробовала в первое время смело высказываться перед царем и убеждать его отречься от всякой иноземщины, бежать от греха и соблазна. Но царь, любящий и ласковый, часто готовый поступиться многим, лишь бы угодить своей доброй хозяюшке, в этом остался непреклонен, на первый раз отшутился, на второй отмолчался, а на третий вспыхнул как порох.

— Чего ж это ты ко мне пристала, Марья? — крикнул он. — Отвяжись и впредь, слышь ты, не серди меня... не твоего ума это дело!.. Я тебе в твоих теремных распорядках

не мешаю, не мешай и ты мне!

Марья Ильинишна пробовала было возразить, уверить, что ведь она не в противность ему говорит, а о его же душе помышляя. Но он так грозно взглянул на нее, что она увидела перед собою не доброго супруга, каким он всегда был с нею, а разгневанного, грозного царя. Слова замерли у нее на губах, и с тех пор она возвышать голоса не решалась и только, указывая о новшествах, горячо молилась: «Не введи его во искушение, но избави его от лукавого!»

Чем более склонности проявлял царь вместе со своими приближенными к нововведениям, тем сильнее держалась царица за старые порядки жизни. В охранении этих порядков она видела прямую свою обязанность и неуклонно ее исполняла.

Марья Ильинишна родилась и выросла в небогатом дворянском доме и была образцом хорошей русской женщины XVII века со всеми ее достоинствами и недостатками. Положительных достоинств в ней было много, что же касается недостатков, то они, по тому времени, представлялись опять-таки чуть ли не

в числе первейших достоинств.

Прежде всего царица была прекрасной хозяйкой, хозяйство оказалось ее призванием. Если бы судьба и ловкая, бесчеловечная интрига боярина Морозова, погубившего первую царскую невесту, Ефимию Всеволодскую, не возвели ее, из бедного дома Ильи Милославского, на вершину почестей, если бы она сочеталась браком не с царем, а с заурядным дворянином, — дом этого дворянина превратился бы под ее управлением в образец всякого порядка, добро в нем приумножалось бы с каждым годом, и стал бы он воистину «полной чашей». Судьба сделала ее царицей, поставила во главе громадного хозяйства, и содержание, смысл и цель ее жизни нисколько не изменились, они стали только обширнее, труднее, мучительнее.

Царица недоедала и недосыпала в своих вечных хозяйских заботах, и заботам этим суждено было, более чем каким-либо другим причинам, сократить век ее. Она доходила до всего, знала всякую мелочь, во всем принимала живое участие.

Когда новая женщина или девица поступа-

ла в царицын штат, Марья Ильинишна тотчас же узнавала всю ее подноготную и затем ничего уж не забывала. «Матушка-царица» становилась сразу «судьбою» и играла первейшую роль во всех как крупных, так и мелких обстоятельствах жизни теремной жилицы.

Из этого редко выходило что-либо дурное, редко приходилось жаловаться на «судьбу», так как царица, олицетворявшая ее, была добра и милостива. Глубоко благочестивая и строго нравственная, Марья Ильинишна оказывалась беспощадной, если узнавала о чем-либо непотребном, происходившем в тереме. Суд ее в таких случаях был скор и суров. Но устроить, хорошенько все обдумав, брак какой-нибудь теремной жилицы — это царица очень любила: и разрешит, и о приданом не позабудет, и благословит, и потом не оставит своими милостями.

Настя Чемоданова, по вступлении своем в царицын штат, сразу же пришлась по нраву Марье Ильинишне. Расспросив ее по своему обычаю обо всем и выслушав ее бесхитростные и прямые ответы, царица решила, что

девка добрая и проступок ее, по ее юности и глупости детской, извинить можно. План царя выдать Настю за Александра Залесского и устроить примирение враждующих стариков тоже весьма нравился царице.

Уже полтора года жила Настя в царском тереме и во все это время ничем не навлекла на себя гнева хозяйского. Напротив того — царица была до крайности довольна ею и даже просто ее полюбила.

— Добрая девка, тихая, послушная, а уж мастерица какая — на все руки! Золото, а не девка! — говорила про нее Марья Ильинишна и другим своим боярышням в пример ее ставила.

Действительно, Настя оказалась на всякие рукоделия большой искусницей; какое кружево вязала, как шелками да золотом вышивала — загляденье! И прилежна была: сядет за работу да и сидит час, другой и третий... Глаза пристально, не отрываясь глядят на пяльцы, рука ходит сама собою, мерным монотонным движением продергивает шелковую или золотую нитку, а мысли... где они? Далеко где-то.

И хорошо под эту тихую, однообразную работу гулять мыслям...

Едва начнет она работу — мигом встрепенутся мысли — и улетят туда, за моря, в далекие неведомые страны, где находится ее милый и откуда не доносится о нем ни одной весточки. Летят мысли, залетают в то самое тридесятое царство, где небо сходится с землею, и стучатся, и просятся, и вопрошают неведомый мрак: где он? Где он? Но мрак неизвестности безответен.

Только бывает и так: вдруг, будто сквозь рассеявшийся туман, мелькает милый образ — и все яснеет, все яснеет. Глядят на нее его ясные очи, чувствует она его дыхание на щеке своей, слышит его голос, повторяющий одно и то же: «Настя, моя Настя!».

И сердце ее, замирая от тоски, шлет ему один и тот же вопрос: «Милый, да когда же ты возвратишься?»

## XXII

— Настя? А, Настя?.. Настасья Лексевна? Да неужто, матушка, не слышишь?

Это царская постельница теребит за рукав задумавшуюся девушку, искусные пальцы которой выводят по алому атласу крестики да звездочки хитрого узора.

Настя встрепенулась, крылатые мысли сразу слетелись из страны чужедальней — и замерли.

— Что это ты, девка? Работаешь, так уж ничего не видишь и не слышишь, ровно сонная... Заработалась совсем, одурманило тебя от работы, не подневольная та работа, не урок срочный тебе задан... Складывай-ка ты свое рукоделье да ступай к царице, она тебя звать приказала.

Настя сложила пяльцы, прикрыла их шелковым платочком, оправилась и побежала к царице. Она застала Марью Ильинишну одну, отдыхавшую после целого утра всяких хозяйственных хлопот.

Поклонилась Настя низким поклоном и почтительно спросила:

— Что, государыня наша милостивая, приказать изволишь?

— Ничего я тебе не прикажу, — отвечала царица и улыбнулась.

У Насти екнуло сердце. Недаром эта улыбка! И она вопросительно, сама не зная отчего, краснея как маков цвет, глядела прямо в прекрасные карие глаза царицы.

— У меня для тебя есть новость, — помолчав, сказала Марья Ильинишна, — и новость та хорошая: отец твой на Москву вернулся.

Настя не удержалась и громко, радостно вскрикнула.

— Да, вернулся, ныне утром, мне это государь сказал... значит, теперь и твоему житью здесь у меня конец наступает. Отец, чай, захочет тебя к себе взять, так ты будь готова.

Настя совсем растерялась и стояла, не зная, что ей сказать, как быть.

— Что это ты? — все с той же улыбкой спросила царица. — Али отцу не рада, али домой не хочешь?

— Рада я, государыня, рада... как же мне не радоваться.

Но это было все же не то.

— Договаривай, Настя, спроси меня, коли спросить что хочешь. Я тебе отвечу.

Но у Насти сил не хватило — она только все больше и больше краснела. Ее смущение понравилось Марье Ильинишне.

— Баловница ты — вот что! — весело сказала она. — Ну да, Бог с тобою, слушай: суженый твой вернулся жив и невредим. Поладил он со стариком твоим либо нет — я того не знаю. Но что мной тебе обещано, то и будет сделано. Совсем я тебя еще не отпускаю, а соберись ты и тотчас же поезжай повидаться с отцом, побудь дома часа два времени — и возвращайся. Колымага тебя ждать будет. Сама увидишь, каков отец... так, стороною, попытай его, послушай, что он говорить станет, а как вернешься, приходи ко мне... тогда видно будет, и мы обсудим. С матерью твоей, как уезжала она, я уже обо всем переговорила, она противиться не станет, а только, дело понятно, против мужниной воли не пойдет.

Настя поблагодарила царицу, как умела, и с замирающим сердцем поехала домой.

Она была очень рада свидеться с отцом, которого любила сильно, но к этой радости

теперь примешивался такой страх, такая неизвестность. Однако, когда она увидела толстую бородатую отцовскую фигуру, все забылось, и с громким криком кинулась она ему на шею, прижалась к нему, целовала его и не могла нацеловаться.

— Дочка... Настюшка... голубка моя! — повторял, весь сияя и в то же время с навертывающимися на глаза слезами, Алексей Прохорович. — Да постой ты, погоди... дай взглянуть-то на тебя!.. Ничего себе девка, поправилась... не изморили тебя в царском терему... выросла... ей-ей, выросла!

И он гладил ей голову, и любовно глядел на нее, и прижимал ее к своему сердцу. Это был самый счастливый день в его жизни, и никогда не думал он даже, что бывает на свете такое счастье. Он дома, у себя, со своими! Он ощущает присутствие жены, дочери. Ему казалось странным, как это он мог так долго жить без них.

Но первая радость прошла, и Алексей Прохорович остановил порыв своей нежности, превратился в прежнего, всегдашнего Алексея Прохоровича. Настя засыпала его вопро-

сами, мать вторила ей. Сначала он отвечал неохотно, немногословно, но вдруг разговорился, увлекся воспоминаниями и стал рассказывать разные эпизоды из своего путешествия.

Хорошо, что ни Посникова, ни Александра тут не было, а то они с удивлением услышали бы о таких вещах, о которых до сих пор не знали. Особенно интересной и ужасной вышла у Алексея Прохоровича битва с морскими разбойниками.

— Они это за нами, — рассказывал он, увлекаясь больше и больше и глубоко веря в то, что рассказывает, — мы от них, а они за нами... вдруг подводный камень... корабль наш так и сел на него. Они на нас наскочили и давай стрелять.

— Ай, страсти какие! — воскликнула Чемоданова, закрывая лицо руками.

— Да, мать моя, страсти немалые, хорошо, что вас, баб, с нами не было.

— Так как же вы-то, батюшка? — робко спрашивала Настя.

— А так же вот, дочка, они стреляют, и мы стреляем, они за сабли, и мы за сабли... вот

этой самой рукою я шестерых разбойников уложил… с маху!.. И не пикнули!

Настя вздрогнула, а мать даже отскочила в ужасе и глядела на мужнину руку, будто на ней была кровь шестерых разбойников. По счастью, Алексей Прохорович от сцен ужасных перешел к описанию природы и стал рассказывать о том, что в тех странах немецких зимы совсем нет и круглый год зеленые деревья, а на тех деревьях растут золотые яблоки.

— А вот ты бы, батюшка, нам с матушкой хоть по одному такому яблочку привез! — заметила Настя.

— Глупа ты, — ответил отец, — они хоть и золотые, а все ж таки портятся, и никак их довезти невозможно.

— А вот, батюшка Алексей Прохорыч, — заговорила жена, — намедни Макарьевна, странница, приходила и Господом Богом клялась, что в тех самых немецких странах водятся люди с песьими головами. Видал ты тех людей?

— Как же, пришлось сию погань видеть! — ответил Алексей Прохорович.

— И что ж, батюшка, точно, песьи головы?

— Ну да, песьи, вот ни дать ни взять, как у нашего Шарика.

— И лают?

— Вестимо лают.

— Как Шарик?

— Не совсем так... лают-то они лают... только по-немецкому. Да я, матушка, и не того еще навидался... в Венеции-то, в том самом граде, что дьявольскою силою на воде стоит и не тонет... я там и чертей видел... такие хари, что как вспомню, ажно мерзко станет!

Чемоданова содрогнулась, плюнула и перекрестилась. Настя во все глаза глядела на отца. Если бы кто другой стал такое рассказывать — она бы не поверила, но отцу она не смела не верить; она вся ушла в рассказ его и вдруг, сама не зная каким образом, громко сказала:

— Люди с песьими головами... черти... так, значит, и Алексаша всего этого навидался!

Сказала да и ужаснулась, как такое могло громко сказаться. Но слова не вернуть — и отец его расслышал. Он вдруг нахмурился.

— Это что ж такое, Настасья? — мрачно выговорил он. — Никак, ты за старое...

Это старое в миг один нахлынуло на него, поднялась в сердце вражда к старику Залесскому, и сам Александр представился не таким, каким он теперь знал его, а прежним мальчишкой, осрамившим его, нанесшим ему кровную, несмываемую обиду.

— Настасья! — крикнул он. — Чтоб я не слыхал больше этого имени... Не то худо будет!

Он поднялся с лавки и по своему обыкновению вышел, хлопнув дверью.

Настя отчаянно взглянула на мать и, рыдая, упала головой ей на колени.

# XXIII

Когда Александр ясным, свежим осенним утром подъезжал к родительскому дому, его охватили чувства радости и в то же время беспокойства. Ведь вот во все эти долгие месяцы скитаний по белому свету он так редко вспоминал и отца и мать, так редко, что можно было подумать, будто он совсем их не любит, будто они совсем и не нужны ему. Но теперь, когда через несколько минут он должен был их увидеть, его сердце готово было выпрыгнуть от радости.

«Здоровы ли они, все ли там по-прежнему? — приходило на мысль и тотчас же дополнялось мучительным предположением: — А вдруг... вдруг без меня что-нибудь случилось неладное... вдруг мать... или отец...» — И радость быстро сменялась мучительным беспокойством.

Вот он видит крышу родного дома, из трубы, как и всегда в этот час утра, поднимается дым.

«Это она там... присматривает за стряпнёю... готовятся пироги... с кашей и луком, а

то с говяжьей начинкою и с яйцами... пироги подовые... во рту тают!..»

Он уже чувствовал во рту вкус этих любимых подовых пирогов, которыми он с детства объедался и никак не мог объесться.

Он у ворот, стучит... калитка отворяется, собаки заливаются громким лаем, но вдруг стихают; они узнали хозяина и радостно визжат, кидаясь к нему, прыгая на него, стараясь лизнуть ему руки.

— Батюшки-светы! Лександр Микитич!.. Соколик... Это Аким, старый верный Аким.

— Все ли... все ли у нас в добром здоровье? — спрашивает Александр с упавшим сердцем и дрожью в голосе.

— Все, касатик, все, батюшка!..

Он вырывается от собак и, никого и ничего не видя, бежит в дом и кричит:

— Батюшка! Матушка! Где вы? Я вернулся!

— Где? Что? — И мать, рыдая, трепеща и безумствуя от восторга, душит его в объятиях, и целует, и мочит слезами, и крестит, и причитает.

Ему хорошо, ему отрадно, он готов пить эти соленые материнские слезы — так они

ему милы, сладки и дороги.

— Мать, да что ты, али рехнулась, али белены объелась... да отпусти ты его... не души... дай взглянуть на него и поздороваться по-человечески!

Это говорит отец, но в его голосе нет раздражения, а одна только радость.

Наконец Антонида Галактионовна на мгновение отпустила сына, и он очутился в могучих объятиях отца и почувствовал его крепкое троекратное лобзание. Он прижал к губам мясистую, покрытую волосами отцовскую руку, а затем тот трижды перекрестил его и, отстраняя от себя, промолвил:

— Покажись-ка!..

— Ишь как оброс... почернел!.. Видно, не больно сладко жилось... не на матушкиных перинах валялся! — продолжал Никита Матвеевич. В глазах у него была ласка, какой Александр никогда не знавал прежде.

— Санюшка, ангел ты мой Господний! Да полно, ты ли это? Глазам своим не верю! — между тем снова кинулась на него Антонида Галактионовна. — Ведь я по тебе все глаза выплакала, все сердце иссушила... живым тебя

никак не чаяла видеть... и сны мне все снились такие нехорошие... то вижу, будто ты по морю плывешь один в лодочке и поешь такову жалобну песенку, то будто вернулся ты от басурманов, ан гляжу я, а у тебя-то хвост вырос, так из-под кафтана-то и мотается... Да ведь и не раз я такой поганый сон видела, и ужас на меня напал, и тошно так мне стало... Позвала я Ульянку-странницу, что сны разгадывать мастерица... рассказала ей мой сон про хвост-то, а она мне — ни слова, только поглядела на меня этак жалостливо и рукой махнула: лучше, мол, и не спрашивай.

— Ну, чего ты про хвосты врешь... нашла тоже время! — крикнул Никита Матвеевич. — Ты бы лучше о том подумала: ведь Лексашка-то, чай, проголодался... да и меня что-то как будто на пирог позывает.

— И то, и то! — заторопилась Антонида Галактионовна. — Глупая я, глупая! Мигом велю на стол собрать... и пироги, поди, уж готовы!

— Матушка! Какие у нас ныне пироги-то? Подовые? С начинкою? — не утерпев, спросил Александр.

— Подовые, Санюшка, подовые, алмазный

мой!..

Как одно мгновение пролетел для Александра час, быстро пробежал и другой. Подовые пироги были такие, что мать три раза подкладывала и могла бы подложить и в четвертый, да отец пристыдил:

— Что это, Лексашка, никак, тебя полтора года голодом морили?

Пробовали было Залесские расспрашивать сына о том, о другом, только он отвечал совсем не так, как им, видно, хотелось. Антонида Галактионовна приготовилась наслушаться всяких ужасов, а, по словам Александра, выходило, что за морем никаких ужасов и в заводе нету — правда, была одна буря на море, только обошлась благополучно. Никита Матвеевич тоже ожидал чего-то и ловил каждое сыновнее слово. Наконец не выдержал, сам спросил:

— Ну, а тот-то?..

— Ты это о ком, батюшка?

У Залесского ноздри раздвинулись.

— О ком?.. Ну об этом...

— Об Алексее Прохорыче, что ли?

— Какой он тебе Алексей Прохорыч... С че-

го это ты его величаешь?.. Ну да... чай, он тебя, аспид, поедом ел?

— Нет, батюшка, грех будет пожаловаться... В первое время точно, косился он на меня, только потом обошлось, и никакой обиды я от него не видал, окромя ласки... Грех пожаловаться.

— Гм! — мрачно промычал Никита Матвеевич, и видно было, что ему гораздо приятнее было бы узнать, что Чемоданов за все время долгого пути всячески мучил его сына.

После обеда, когда старик по обычаю пошел вздремнуть, Александр обежал весь дом, потом кинулся в сад и, даже не ощущая тяжести, произведенной непомерным количеством съеденных пирогов, устремился по знакомым дорожкам. Ничто без него не изменилось. Вот он и у забора, в кустах, у проломанной доски. Она забита.

— Настя! — крикнул он, но никто не откликнулся.

А тут вдруг мать — видно, за ним по пятам гналась. Благо, не услышала его крика. Заговорила она о том, о другом и свернула на Матюшкиных.

— Ждут ведь они тебя, Санюшка! — объявила она. Но он не испугался.

— Пускай себе ждут, — спокойно ответил он матери, — долго им ждать придется!

Антонида Галактионовна растерялась.

— Да как же так, Санюшка?.. Неужто у нас опять пойдет беда за бедою?..

— Зачем беда за бедою?.. От бед Господь избавит... А теперь что ж нам заранее толковать-то!..

— Так ты бы хоть прилег отдохнуть с дороги, мой ненаглядный, — грустно сказала мать, — я вот за батюшкой, за попом Саввой послала... Как отец выйдет, мы молебен отслужим, возблагодарим Господа за твое возвращение.

# XXIV

Видя Россию, со всех сторон окруженную врагами, конца борьбы с которыми не предвиделось, зная, что и внутри государства далеко не все благополучно, что того и жди начнутся в том или другом из городов русских новые «гили», наконец, помышляя о ежегодно увеличивавшемся истощении казны государственной и тщетно изыскивая способы для ее пополнения, царь Алексей Михайлович не мог почесть себя счастливым. С того самого времени, как почти ребенком сел он на престол отца своего, не было ни одного года, провожая который он мог сказать: «Хороший был год, спокойный, мирный, благополучный!» Все года оказывались тревожными годами, и будущее представлялось далеко не в розовом цвете.

Будь у царя иной характер, он извелся бы, измучился, и, естественно, сам изводясь и мучаясь, других бы изводил и мучил. Но недаром Алексей Михайлович носил наименование «тишайшего», недаром называли его «благочестивейшим». Великое терпение раз-

вил он в себе, и глубокая его вера в милосердие Божие давала ему возможность спокойно взирать на всякие земные превратности, не падать духом во дни неудач и несчастий. При этом он умел, утомясь от дел и забот государственных, отдыхать в делах и заботах своей частной жизни. Такая смена деятельности и впечатлений при неизменно умеренном и воздержанном образе жизни подкрепляла его силы.

С большим интересом узнал царь о возвращении посольства из Венеции. Призвав Чемоданова, Посникова и Александра, он долго и подробно расспрашивал их о путешествии, попечалился, что дело, за которым он посылал их, не удалось; но успокоился, выслушав объяснения послов о том, в каком великом почтении находится у всех народов российское государство.

Дневником путешествия царь остался очень доволен и оставил его у себя для того, чтобы внимательно прочесть на досуге.

Сказав свое царское спасибо послам, Алексей Михайлович остановил ласковый взгляд на Александре.

— Радуюсь, — сказал он ему, — что ручательство, за тебя мне данное Федором Михайловичем, оправдалось. Вижу, что ты был исправен и объем сего писания твоего указывает, что ты не терял даром времени... А, впрочем, — прибавил царь с едва заметной улыбкой, — может, я поторопился похвалить тебя... может, за тобой есть провинности?.. Доволен ли ты им? — спросил он, обращаясь к Чемоданову.

Алексей Прохорович, не ожидавший этого вопроса, взглянул на Александра и вдруг ответил:

— Что ж, я ничего... я доволен... Коли ты, ваше царское величество, спрашивать изволишь, так должон я ответ держать по совести... Изрядно он обязанность свою правил, и мне на него не жаловаться!

— А ты? И у тебя нет на него жалобы? — обратился царь к Посникову.

Иван Иванович хотел было что-то сказать, да, видно, побоялся, что не воздержится и скажет что-нибудь такое, за что не только Александр, но и Чемоданов на всю жизнь окажутся его злейшими вратами. Поэтому он не ска-

зал ни слова, а только поклонился, благодарствуя царя этим поклоном за внимание и в то же время как бы подтверждая благоприятный отзыв старшего посла.

— Значит, моя похвала тебе у места, — сказал царь, снова взглянув на Александра, — теперь ты достаточно приобвык и, надеюсь, не без пользы станешь служить нам и посольском приказе.

Александр благодарил доброго царя за его милости и чувствовал, что милости эти только что начинаются, что царь не забыл о судьбе его.

Так оно и было. Отпустив всех, Алексей Михайлович удержал Чемоданова и, когда они остались вдвоем, заговорил с ним об его дочке. Не успел посол вдоволь накланяться и наблагодарствоваться, как уж понял, в чем дело.

«Ишь ты! — пронеслось в его мыслях. — И царь за него! Парень-то не промах... ловко обделал дело... ну, что теперь... как быть мне?..»

Между тем царь говорил:

— Мне ведомо, что у тебя нелады и вражда с отцом его... все мне ведомо... Но ведь

вражда — дело греховное. На детях помиритесь, и Господь благословит ваши семьи. Что он малый добрый и с головой — ты сам с этим согласен. Времени у тебя было довольно узнать его...

Алексей Прохорович стоял молча и, сам того не замечая, громко сопел, ибо этим сопением выражались одолевавшие его самые противоречивые чувствования. Царь пристально глядел на него.

— Я тебя не хочу неволить, — сказал он ему, — ты отец, и власть твоя отеческая при тебе... Я только совет подаю тебе добрый, а ты поступай как ведаешь... Коли сказать что желаешь, — говори смело.

Царь глядел так ласково и так «просто», что вся робость Чемоданова исчезла. Он почесал у себя в затылке и заговорил:

— Истинное ты слово молвил, ваше царское величество, вражда — дело греховное, да только и так бывает, что не хотелось бы враждовать, а никак нельзя иначе... Самый этот Лександр, он хоть и обидчик, он хоть и озорник, но не в нем дело... я ему простил, и как вы наказывать мне изволили перед отъ-

ездом нашим в немецкие и иные страны, я его оберегал, и обиды он от меня не видел... Только как же это такое будет... после всего-то... как могу я поклониться Миките Залесскому? Воля твоя, государь, а мне Микитке Залесскому не кланяться!

Алексей Михайлович укоризненно покачал головою.

— Вот то-то вы все... гордость в вас сидит не по званию... Себя-то вы не по росту высоко ставите, а заповеди-то Господни забываете! Мне, вишь, Микитке Залесскому не кланяться! А Микитка Залесский, поди, то же самое про Алешку Чемоданова скажет! До старости дожили, а судите как малые дети, что в камешки на улице играли да сварку затеяли... Ну и не кланяйся... и он тебе не поклонится... а коли вы оба старую свою дурь и вражду из сердца вон вырвете, то и без поклонов у вас дело сделается. Даю я тебе две недели сроку, и через две недели ты приходи ко мне и скажи мне свое решение: желаешь ли на своем поставить али доброго совета послушаться. Покамест же — прощай.

С этим словом царь ушел из палаты, а Че-

моданов остался с понурой головою и недоумением во взгляде.

## XXV

Прошла неделя, в течение которой, по-видимому, не случилось ничего особенного в семьях Чемодановых и Залесских, а между тем эта неделя была полна значения для дальнейшей судьбы их.

Настя перебралась от царицы в дом родительский, очевидно, совсем успокоенная. Она вернулась к обычному своему образу жизни, помогала матери в хлопотах домашних, занималась всяким рукоделием и только время от времени жаловалась то матери, то старой своей мамке.

Александр почти весь день проводил в приказе, а то с Федором Михайловичем Ртищевым, которому подробно передавал впечатления своего путешествия. Тот слушал его внимательно, с интересом, обо все расспрашивал.

— Дорого бы я дал, чтобы так проехаться, — говорил он, — да мне о том и помыслить невозможно.

— А почему бы? — спрашивал Александр.

— Где уж! Дома непочатый угол работы всякой, и нельзя покинуть эту черную работу... Каждому свое: один путь расчищает, а другой по тому пути катается... Да я не сетую, а вот что ты в юные годы столь великое путешествие совершил — это тебе на всю жизнь в большую пользу будет. Чувствуешь ли ты это?

— Еще бы не чувствовал, Федор Михайлыч! Да вот как я скажу тебе: то я сидел у окошечка малого и глядел в проулочек узенький, а то вдруг на Ивана Великого, под самую маковку взобрался и во все стороны на много верст увидел. И еще скажу тебе: читать о чем-либо в книге или со слов чужих, о чем думать — не то, совсем не то, как ежели ты эту самую вещь увидишь своими глазами...

— Вот то-то оно и есть! — невольно вздыхал Ртищев.

Александр все меры употреблял, чтобы обо всем рассказывать Федору Михайловичу вразумительно, образно, и из его живых рассказов Ртищев узнал немало для себя нового и достойного внимания.

Несмотря на занятия и эти горячие беседы с самым близким и любимым человеком, Александр все же находил, подобно Насте, что время слишком медленно тянется, и считал часы и дни, а возвращаясь домой, зорко следил за отцом.

Он знал, что царь призывал к себе Никиту Матвеевича, но что там было — того не знал, так как отец молчал упорно. О Матюшкиных никакого разговора пока не начиналось.

Дни продолжали стоять свежие и ясные. В саду собирали последние яблоки и рыли в огороде. Никита Матвеевич выходил глядеть на эти работы, а потом долго бродил по саду, погруженный в никому не ведомые думы. Во время одной из таких прогулок он вдруг услышал как бы стук топора. Прислушался — точно: стучит топор в стороне соседского сада.

Пошел он в ту сторону, заглянул за кусты и видит: ломают забор, отделявший его владения о владений вражеских. Так как забор это был воздвигнут в первый период вражды Чемодановым, то разрушение его, хоть с неведомой еще целью, не могло почесться каким-ли-

бо нарушением прав Никиты Матвеевича. Поэтому у него не было никакого предлога рассердиться. Но он почувствовал большое любопытство, пробрался сквозь кусты и увидел работника, сидевшего на заборе и его рубившего.

— Ты это что ж такое делаешь? — строго, но в то же время спокойно спросил Залесский.

Работник снял шапку и почтительно ответил:

— А вот, батюшка, по приказу господскому забор ломаю.

— Зачем же ты его ломаешь?

— Да как бы это сказать... одно точно... стоял себе забор забором, ну, вестимо, от дел обветшал малость, только все же еще сколько бы времени продержался. А как вернулся из-за моря Лексей-то Прохорыч да пришел сюда, так и говорит: плох, мол, забор, сломать его надо... Ну, дело хозяйское, дело господское, плох так плох, по мне что приказано рубить — я и рублю...

— Что ж... новый забор он ставить будет?

— Про то, батюшка, я ничего не ведаю...

Коли прикажут новый забор ставить, я и стану ставить, потому что — я плотник.

Отошел Никита Матвеевич и задумался. А потом под вечер, как смеркаться стало, опять пошел в сад да к забору. Видит: добрых сажен пять не то шесть разобрано, видит: соседский сад, когда-то столь знакомый, по осеннему времени облетел, осыпался, сквозит весь и в глубине его, в окошках чемодановского дома, огоньки светятся.

Странное ощущение охватило Никиту Матвеевича: ему вдруг показалось, будто вместе с этим разобранным забором рушилась и еще какая-то преграда, будто между его домом и домом соседа мост перекинулся и можно пройти по этому мосту. Глядел он на огоньки, мигавшие в чемоданов-ских окошечках, и вспоминал устройство этого дома — где какой покойчик и что в тех покойчиках есть.

«Да, поди, чай, ныне у них совсем не так, чай, многое изменилось!» — подумал он, и в первый раз после долгих лет при мысли о Чемодановых никакой злобы не поднималось в его сердце.

Впрочем, он этого сам не заметил.

На следующее утро, будто что притянуло его, оказался он опять у сломанного забора. Стоит да смотрит. И вот слышит он — кто-то идет по ту сторону. Да, идет, приближается, шуршат опавшие листья под тяжелыми шагами.

Уйти!.. Он уже и двинулся, да остановился, только уж не смотрит, будто ничего даже и не слышит. Подошел к забору, оперся на торчащую из земли доску и не шевелится.

Кто-то близко — и вот остановился... слышно даже, как дышит. Никита Матвеевич все не глядит, но уже наверное знает, кто это в нескольких шагах от него. Так проходит минута, другая и третья в глубоком молчании. Только слышно, как ветер шелестит сухими листьями. Ворона грузно поднялась с ветки, шарахнула крылом и каркнула.

И опять тихо.

Никита Матвеевич повел одним глазом и видит его, своего старинного друга-приятеля, своего ворога. Чемоданов тоже повел одним глазом — и эти два глаза встретились. Тогда, будто по команде, соседи повернули головы и

после десяти лет в первый раз прямо взглянули друг на друга.

## XXVI

С этого мгновения все чувства и мысли двух почтенных соседей совершенно отождествились. Никита Матвеевич и Алексей Прохорович сразу потеряли все свои особенности и превратились как бы в одного человека. На первом плане стала забота — как бы не сказать или не сделать чего-нибудь такого, чего не сказал и не сделал «он».

Задача оказывалась крайне затруднительной, ибо неизбежно кто-нибудь из них должен же был принять на себя почин первого движения и первого слова. Поэтому они очень долго оставались неподвижными и молча глядели друг на друга.

Наконец у Чемоданова запершило в горле, и он произнес:

— Гм!

— Гм! — было ему ответом со стороны Никиты Матвеевича.

Он кашлянул и повторил свое «гм!».

— Гм! Гм! Кх... кх!.. — совсем закашлялся

Никита Матвеевич, и в то же время правая рука его стала медленно приподниматься, как бы с целью снять шапку.

То же самое движение сделал и Алексей Прохорович, и вот две правые руки тихонько поднимались все выше и выше, одновременно взялись за шапки и сняли их.

— Здра...

— Здра...

— Здравствуй, Алексей Прохорыч!

— Здравствуй, Микита Матвеевич!

Это было произнесено разом, как по команде, и оба почувствовали, что самое трудное сделано, и на сердце легче стало.

— В добром ли здоровье, соседушка? — опять принял на себя почин Алексей Прохорович.

— Спасибо, как тебя, соседушка, Бог милует?

— Живем помаленьку.

— Что это ты забор-то ломать вздумал? Никак, новый ставить хочешь?..

— Ломаю я его потому, вишь ты, подгнивать он стал что-то. Меня-то вот, почитай, целых полтора года не было, в басурманских

странах важную службу царскую справлял, так без хозяина-то, сам знаешь, упущение всякое... И забор тоже этот самый...

Передернуло было Никиту Матвеевича, как услышал он про «важную службу царскую», да по счастью подумалось ему, что от такой службы, сопряженной с необходимостью покидать дом и ехать неведомо к каким нехристям, сам он бежал бы хоть в преисподнюю, и эта мысль его успокоила.

— Да, ведомо мне все это... И про службу твою ведомо, Алексей Прохорыч, — спокойно сказал он, — ведь ты с моим парнишкой ездил-то.

— Как же, как же... Славный у тебя парнишка, Микита Матвеевич! — совсем добродушно воскликнул Чемоданов, вдруг вспоминая приятнейшие минуты своего путешествия, в которых немалую роль играл Александр.

— А у тебя, слыхал я, девица возросла преизрядная, — ответил, широко улыбаясь, Залесский.

Доска затрещала под его ногою, и он ступил шаг по направлению к соседу. Ступил на

шаг вперед и Чемоданов. Еще раз, и другой, и третий ступили они — и очутились вплотную друг против друга. Шагать уж было некуда, а потом они побрались за шапки и троекратно звучно облобызались.

— Эх брат! — сказал Чемоданов.

— Да, брат! — ответил Залесский.

В этих, по-видимому, неопределенных восклицаниях заключался для них самый ясный смысл, и двумя словами было сказано очень много.

Мелькнуло было перед ними слабое воспоминание о черной курице, которая около десяти лет тому назад, на этом самом месте, была причиной их ссоры, но черная курица тотчас же забылась. Вместо нее стало вспоминаться старое хорошее время, когда этого высокого, разрушаемого теперь забора еще не было, когда два сада разделялись только ветхой, местами совсем повалившейся оградой, когда друзья и соседи частенько перелезали сквозь эту ограду, навещая друг друга и долгие тихие часы проводя в благодушной беседе.

— А ведь шибко постарел ты за эти го-

ды! — говорил Чемоданов. — Ишь, седой совсем становишься!

— Да и ты не молодеешь, Алексеей Прохорыч, только раздаешься во все стороны... Чай, ты ныне, как стоишь, сразу не скажешь: есть ли у тебя ноги и что на тех ногах надето!

И оба рассмеялись этой незатейливой шутке. Засмеялись, а потом и вздохнули.

— Вот то-то, брат! — раздумчиво произнес Алексей Прохорович. — Кажись, вчерась оно было, как мы с тобой здесь этак-то беседовали, ан сколько лет ушло... Мы постарели, дети выросли. Вот она, жизнь наша, бежит ровно вода из решета — не удержись. Да и кто знает, сколько еще той воды осталось... Может, и оглянуться не успеем, ан уж и нет ее — вся вытекла. А мы тут враждуем, когда о душе надо думать!

— Так, брат, так! — со вздохсм сказал Никита Матвеевич и, помолчав немного, прибавил:

— Ну, а теперича мы что ж... К великому государю, значит, завтра пойдем с тобою?

Чемоданов поднял брови и с изумлением взглянул на соседа.

— К великому государю?.. Так, значит, он и тебя призывал, и с тобой толковал об этом?

— А то как же? Мирись, говорит... Я ему, как же так мириться, мне мириться невозможно. А он мне: «Бог, говорит, поможет». Вот и сталось по его царскому слову... И говорит он еще: «как говорит, помиритесь — тотчас же ко мне ступайте, вместе, чтоб я своими глазами видел ваш мир»...

— Так вот оно что-о! — протянул Чемоданов. — Ну, если так, нечего нам с тобой и делать, Микита Матвеич... Против царской воли не пойдешь... Видно, так суждено...

— Видно так суждено, Алексей Прохорыч!.. Отдаешь что ль за моего парня свою дочку?

— А вот ты научи меня, как не отдать, коли царь приказывает?..

— Нешто он приказывает!.. Он, вишь ты, говорит: я, говорит, против родительской власти не могу, я вас не неволю, а только совет подаю добрый...

— Да ладно, что уж тут! Видно, судьба такова. Пойдем завтра к царю... А ныне-то... вечер-то длинный... надо нам с тобой по чарочке пройтись, чтобы, значит, мир наш и свой-

ство были добры да крепки.

— Верно твое слово, Алексей Прохорыч, идем ко мне, у меня, брат, осталась та самая романея... помнишь, чай... и она, видно, за десять лет-то постарела, только стала от того не хуже, а много лучше.

— Вот, это ты совсем не так говоришь! — воскликнул Чемоданов. — Сам посуди: мне ли к тебе ныне идти, тебе ли ко мне: я твоего Лексашу вдоль и поперек знаю, полтора года с ним возжался, а ты мою дочку и не видал ни разу... А ну, завтра царь тебя про нее спросит? Что ты ему ответишь? Да так оно и по всему подобает... прежде чем сватов засылать, сам разгляди ее... Я, брат, товар продаю хороший... взгляни на товар мой... А уж какая у меня романея! Да что романея, я, друже, таких напитков заморских из неметчины вывез, что уму помрачение.

Говоря это, он так причмокнул языком, что у Никпты Матвеича слюнки иютекли.

— Ладно, уж, к тебе, так к тебе... Идем что ли! — решил он, окончателыю убежденны. — И вот, я тебя еще про неметчину порасспросить бы хотел... Лексаша-то, как вернулся,

болтал там, да что он, молокосос, смыслит.... Тобя бы послушать...

— Что ж я не прочь, — оживился Алексей Прохорович, — твой парнишка, хоть и смышлен он, да где же ему... он многаго и не видел... Я тебе, брат, такое разскажу, такое...

Соседя, как во время оно, двинулись по направлению чемодановскаго дома.

## XXVII

Александр сидел утром у себя и читал, когда послышался стук в дверь, которую он имел обычай запирать на задвижку.

— Кто там? — спросил он.

— Санюшка, дитятко, опомнись! — послышался голос матери.

Он отворил дверь и впустил Антониду Галактионовну. Ея нарумяненное и набеленное лицо носило все признаки крайнего изумления. В манере, с которой она вошла к сыну, была какая-то таинственность. Она присела на кровать Александра и, приложив палец к губам, многозначительно произнесла:

— Шш!

— Что такое, матушка?

— А такое, дитятко, что и ума приложить не могу... Хоть убей меня на сем месте, — ничегошеньки-то я не понимаю!.. Чудеса у нас в доме творятся.

Адександр, хорошо зная, что мать сразу, без предисловий, никогда ничего не скажет, и что спрашивать ее — значит, только удлинять эти предисловия, — терпеливо ждал.

— В среду-то, когда он нарядный-то кафтан надевал, как полагаешь — где он был? — торжественно спросила Антонида Галактионовна.

— Не знаю я

— А я так вот знаю... У царя он был, Санюшка, у царя он был, родименький! Как вернулся тогда, скинул кафтан, и — ни слова. Где, мол, был, Никита Матвеич, спрашиваю. А он мне; «отвяжись, дура!» — и только. И все молчал...

Она передохнула и продолжала:

— Это одно, а вот и другое: вчерась вечером в сад вышел, жду я час — нет его... смерклось совсем, работников спрашиваю: видели Микиту Матвеича? Видели, говорят, как по саду ходил, а потом и не видали. Сама пошла,

весь сад обошла — нет его. Страх меня взял, да потом и думаю: может он как неприметно в ворота ушел. Опять жду, сторожу наказала от ворот ни на шаг. А сама, будто тянет меня что — нет-нет, да в сад-то и выгляну. Ночь совсем... темень — хоть глаз выколи, и вот, как выглянула-то я последний раз — слышу будто кто-то по саду к дому пробирается. Я так и замерла, двинуться не могу, крикнуть хотела — и голосу нет. А он идет себе и бормочет что-то. Тут я и разслышала, что это Микита Матвеич, окликнула его, он и отозвался. Вошел в дом, красный такой, а сам усмехается.

— Где же это он был? — с невольно забившимся сердцем спросил Александр.

— Вот и я тоже об этом ему сказала... где, мол, был? А он мне... Ох, Санюшка, наказал он мне крепко-накрепко до поры до времени тебе не сказывать; да не могу я вытерпеть... Как спросила я его, а он мне и отвечает: «а я, вот, говорит, сына женить надумал, так невесту его глядеть ходил». Что ты, говорю, опомнись, батюшка!.. Вижу я — хлебнул он порядком и винный дух от него идет по всей горнице. А он как засмеется. «Правду, сказываю, говорит:

навесту Лексашке смотрел, хороша невеста». Да, ведь, ты ее, Матюшкину дочку, не раз уж видал, не больно-то, мол, хороша она. «Какая там, говорнт, Матюшкина дочка, ея Лексашкиной невестой не бывать. Невеста ему — Настя, Чемодановых, Алексея Прохорыча дочка. Мы, говорит, это дело, когда еще, лет двенадцать тому назад, порешили, ну, вот, я и посмотрел Настю. Девица перворазрядная, у царицы в большой милости, одна дочка у Алексея Прохоровича, а достатки у него не малые. Только ежели ты об этом хоть одно слово шепнешь Александру до поры до времени — убью!» Ну, я дальше уж ж не слушала, потому — от пьянаго человека какого толку добиться можяо... Только он, ложась спать, приказал разбудить себя пораньше. Разбудила я его. Богу помолился, закусил, да и говорит: «подавай нарядный кафтан». Почто он тебе? спрашиваю. «А я, говорит, с Алексеем Прохорычем к царю собираюсь». Так я и ахнула; всю ночь спал и все ж не проспался, как хмельным лег, так хмельным и встал. Оделся, а, уходя, опять вчерашнее: «ежели, говорит, ты хоть слово одно Лександру — убью!» Гля-

жу я, гляжу — он, во всем наряде-то, прямо в сад. Хоть и страх меня разбирал, а все ж таки не утерпела: как вышел он — я за нии, кусточками пробираюсь. И что ж бы ты думал: прямехонько он к Чемдановскому забору... я за ним... гляжу, забор-то повален, он перешагнул в соседский сад, да и был таков... Что ж это такое делается у нас, Санюшка? Скажи мне:- рехнулась я, что ли, навождение дьявольское это на меня, чудится мне... Ох, пропала моя головушка!

Антонида Галактионовна схватилась за голову и заунывным голосом начала причитания над собою.

— Матушка, успокойся! — радостно сказал Александр:- какое там навождение, какое там чудится! Ничего тебе не чудится, а все так и есть, как говорил тебе батюшка, и у царя он был, и к Алексею Прохорычу вчерась ходил смотреть мою невесту ненаглядную, Настю мою милую...

Антонида Галактионовна опять схватилась за голову.

— Мутится! Мутится... Чудится! — завопила она. — И ты тоже!.. Ахти мне!..

— Вот что ты мне скажи, матушка, давно это было? Давно ты из саду вернулась?

— Ох, сейчас только, прямо к тебе... Ох, мутится... Совсем помутилась!..

Александр безжалостно оставил мать с ея мутящейся головою и кинулся из покойчика. Забыв надеть шапку и не соображая, что на нем легкий домашний кафтан, а на дворе свежо и ветрено, он выбежал в сад и как стрела помчался к чемодановскому забору. Смотрит — часть забора сломана. Подбежал и остановился, а сердце так и колотится.

«Придет, безпременно придет, — решает он, — как отцы уедут царю, так и придет она. Никто, ничто ее не удержит!»

И она пришла. Он издали, еще не видя и не слыша, ее почуял. И она знала, что он ждет ее. Они кинулись в объятия друг к другу, и целовались, и смеялись, и молчали, и говорили, и не могли наглядеться друг на друга. Передавать их бессвязный, влюбленный шепот — нечего, ибо всякий легко его себе может представить, а кто не представит — для того он совсем не интересен.

Одно только следует заметить: у Алек-

сандра не оказалось ни стыда, ни совести — он целовал и ласкал Настю так, будто кроме нее никого не целовал в жизни. И среди этих поцелуев ни сердце, ни память не подсказали ему имени далекой венецианской красавицы Анжиолетты Капелло.

## XXVIII

Через месяц была их свадьба. Чемодановы и Залесские не ударили лицом в грязь и задали пир на всю Москву. Гостей было много, и духота в маленьких покойчиках стояла как в натопленной бане. Но никто не замечал ее. Все пили, ели и старались перекричать друг друга. Чемоданов улучил удобную минуту, взял за плечо Александра и отвел его в угол.

— Ну, брат, — сказал он, — добился ты своего, перехитрил меня, заставил отдать за тебя Настю... Только ты смотри, ухо востро держи... и знай, роли ты передо мной в чем провинишься, — у меня на тебя плетка есть, особая, заморская.

— Какая же такая плетка? — весело спросил новобрачный.

— А такая вот, венецейская, синьорой она прозывается, на канале живет... в большом палацце...

Бессовестный Александр и тут не смутился.

— Эх, батюшка, — ответил он, — не тебе бы товорить, не мне бы слушать. А как станут меня про твой перстенек многоценный спрашивать, что прикажешь отвечать-то? Да синьоры венецейские тебе, я так полагаю, более, нежели мне, ведомы... Пойдем-ка лучше к Посникову Ивану Иванычу, будем его ублажать да умасливать, ведь у него-то на обоих нас плетки здоровые, и человек он для нас с тобою опасный.

— Разбойник ты, Лексашка, пират ты морской! — краснея, воскликнул Алексей Прохорович. — А насчет Ивашки Посникова — это ты верно. Пойдем к нему.

Искали они, искали Ивана Ивановича, да так и не нашли. Дело в том, что думный дьяк не воздержался, чрезмерно хлебнул чего-то заморского и завалился за лавку. Только на следующее утро удалось его вытрезвить.

1880